

---

---

ААРОН ШТЕЙНБЕРГ

ДНЕВНИКИ  
(1909–1971)

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

---

---

## Исследования по истории русской мысли

---

С Е Р И Я

ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО ИСТОРИИ  
РУССКОЙ МЫСЛИ

*Под общей редакцией М. А. Колерова*

---

Т О М   Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й

---

Арон Штейнберг

# ДНЕВНИКИ

(1909–1971)

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

*Составление, подготовка текста  
и комментарии Н. Портновой*

---

Модест Колеров  
Москва 2017

УДК 1(091)(470) «19»+821.161.1.09  
ББК 87.3(2)61+83.3(2=411.2)6-444.4  
Ш 88

**Аарон Штейнберг**

Ш 88 Дневники (1909–1971). Ф. М. Достоевский / Составление, подготовка текста и комментарии Нелли Портновой. М.: Модест Колеров, 2017 (Исследования по истории русской мысли. Т. 19). 384 с.

ISBN 978-5-905040-23-8

УДК 1(091)(470) «19»+821.161.1.09  
ББК 87.3(2)61+83.3(2=411.2)6-444.4

© Н. Портнова, составление, подготовка текста и комментарии, 2017  
© М. А. Колеров, составление серии, 2017.  
© С. В. Митурич, С. Д. Зиновьев, оформление серии, 1998



А. Штейнберг, 1953  
Central Archives for the History of the Jewish People. P. 159. Box VII



---

## СОДЕРЖАНИЕ

От составителя .....	9
<i>Нелли Портнова. «У меня была идея...»</i> .....	11
I. Дневники (1909–1971).....	39
II. Достоевский в Лондоне (1931) .....	201
III. Достоевский (1966). <i>Перевод с английского К. Рашкиной</i> .....	273
IV. А. З. Штейнберг в Пушкинском клубе Лондона (1953–1962) .....	369





---

## От составителя

С наследием философа, писателя и общественного деятеля Аарона Захаровича Штейнберга (1891–1975) читатели знакомятся постепенно. Мемуарная литература XIX века пополнилась его талантливыми мемуарами, изданными дважды: в 1991 г. («Друзья моих ранних лет») и в 2009 г. («Литературный архипелаг»); в 2011 г. опубликованы в переводе на русский язык «Философские сочинения А. З. Штейнберга», в 2014 г. вышли в свет сохранившиеся в архиве литературные сочинения («Проза философа»).

В данном сборнике философ представлен двумя разными, но тесно связанными между собой гранями его наследия: дневниками, которые до сих пор печатались в отрывках, и в дополнение к уже известным произведениям — двумя малоизвестными современному читателю текстами: пьесой «Достоевский в Лондоне», изданной однажды в Берлине, переводом монографии «Dostoevsky» (1966). В заключении впервые публикуются конспекты лекций А. Штейнберга, прочитанных в Пушкинском клубе Лондона.

Дневники с некоторыми сокращениями печатаются по оригиналам Архива: Vox VIII. Для передачи иврита и иди-

ша используется латинская транслитерация. Повесть «Достоевский в Лондоне», изданная по дореформенной орфографии, публикуется по новому стилю.

Приношу сердечную благодарность: моим коллегам Валентине Брио и Владимиру Хазану, историку Дану Харуву, филологам Нине Стависской и Сьюзи Хазан, работникам Архива Вениамину Лукину, Александру Вальдману, Марии Гробман, Ольге Шраберман, Иосифу Гельдстону, идишистам Моше Лемстеру и Дов-Бер Керлеру, переводчицам Катерине Рашкиной и Майе Улановской — за неоценимую помощь в подготовке этой книги.

*Список сокращений:*

- САНЖР — The Central Archives for the History of the Jewish People. Jerusalem. A. Steinberg's Collection. P/159.
- К.Р. — Катерина Рашкина,
- ЛА — Литературный Архипелаг. Вступительная статья, составление и комментарии: Н. Портнова, В. Хазан. М., 2009.
- ПСС — *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений в 30 томах. Л, 1973–1985.
- ФС — *Штейнберг А. З.* Философские сочинения. СПб., 2011.
- ПФ — *Штейнберг Аарон.* Проза философа / Сост., вступ. статья и комм. Н. Портновой. München, 2014.
- ПСФК — переписка с Семеном и Фанни Каплан. Вох. XVI–XIV.

---

**Нелли Портнова**

**«У меня была идея...»**

## 1. Ответственность выбора

Семейное воспитание братьев Ицхака и Аарона Штейнбергов, национальное и общее одновременно, было построено согласно «литовской версии» еврейской жизни<sup>1</sup>. Оно приживало понимание неповторимости каждой личности, ее ответственность перед собой. «Очень хочу писать, записывать, не давать чувствам и мыслям проходить бесследно в мире вещественном...» (*Дневник. 23.X.1949*). Неповторимость касалась и восприятия времени: Аарон был пунктуален в каждой записи: адрес, № телефона, дата и точное время. Имя и фамилия, предваряющие запись, понимались столь же серьезно: связь человека с семьей и родом: «Чтобы не выродиться, надо сознательно и неуклонно оберегать свою родовитость»

---

<sup>1</sup> «Литва была собственной версией еврейской жизни и еврейской философии». В основании этого варианта были идеи, что «человек — венец творения» и «действия человека оказывают большое влияние на все творение» (М. Менес. Тора в Литве в XIX веке. *Lite (Lithuania)* Vol. I. N. Y.1951. S. 483).

(26.VI.1969). В то же время в юности Штейнберг сочинял собственную неповторимость: писывался аббревиатурой МА, что означало: Марк Аврелин, слегка измененное имя римского воина-философа Марка Аврелия.

Ответственность перед своим выбором определила необычность дневников Штейнберга. Они были непрерывной автореминисценцией, параллелью жизни, в отличие от разнообразных эго-текстов современников: от «Метафизических дневников» Г.-О. Марселя, от сокровенных записей обэриута Якова Друскина, уберегавших таким образом свои мысли от абсурда жизни, от дневников философов А. Ф. Лосева и М. Мамардашвили, доверявших бумаге лишь спонтанные мысли, а философские обобщения предназначавшие публике.

Гимназические годы выпали на революцию 1905 г., с ее бурей событий и новых идей. Как можно было совместить погромы и социализм, монархизм и марксизм?<sup>2</sup> Впоследствии Штейнберг записал, что при такой путанице он вынужден был раздвоиться на «деятеля» и «наблюдателя»: один участвовал в гимназических протестах и городских демонстрациях, второй — анализировал первого. «Реальная революционная стихия отступила как бы за окраину моего сознания, и место ее заняла философия» (ПФ. 224–232).

Став студентом Гейдельбергского университета (1908–1913), он слушал лекции профессоров-неокантианцев и упорно изучал классическое наследие. Цели, которые ставил перед собой юноша, были максималистские: стать не профессором философии, а мыслителем, спасителем человечества. Для этого следовало посвятить себя целиком «любимейшей Даме Философии». В дневниках начал-

---

<sup>2</sup> Так, идея революционного террора, который допускался в кружке братьев «Единение», не сочеталась с иудаизмом, как его толковал домашний учитель братьев Штейнбергов талмудист Залман Барух Рабинков. См. его сочинение «Индивидуум и общество в иудаизме» (издано по-немецки: Берлин, 1924). См. также: Н. Портнова. «Господин Рабинков» // Лехаим. 2010. № 1.

ся диалог с самим собой. «Я много занимаюсь собой. Эта тетрадка живой пример тому... Только что перечитывал эту тетрадку. Невольно заключаешь: это писано для кого-то! Да, это — так! Это писано для... меня самого» (24.III.1909<sup>3</sup>). Дневник — «лоция путешествия», которое можно перечитывать и проверять, правильно ли он плывет?

Но дебютами Штейнберга в университетские годы были работы, далекие от «чистой философии»: статьи и рецензии, обзоры журналов и пр. Впоследствии он не забывал упомянуть о своих ранних публикациях, но в те годы он писал в дневнике о них с пренебрежением, как он второстепенном и отвлекающим от главной цели<sup>4</sup>. Отвлекающим могло стать и стихотворство<sup>5</sup>; с помощью В. Брюсова оно было отодвинуто на задний план. При этом Штейнберг знал, что поэзия не противостоит философии, наоборот, может ей способствовать. «Недаром ведь истинный философ всегда поэт и истинный поэт всегда философ!» (24.II.1909)<sup>6</sup>. Штейнберг не только логически и рационально изучал философские си-

<sup>3</sup> Такое же осознание необходимости внутреннего диалога мы видим в дневнике Ф. Кафки: «Наконец-то после пяти месяцев жизни, в течение которых я не смог написать ничего такого, чем был бы доволен, и которые никто и ничто не в силах мне возместить, хотя все обязанности бы это сделать, я надумал снова поговорить с самим собой» (1910), но писатель далек от цели построения себя, потому его дневник можно принять за полноценную автобиографическую прозу (*Франц Кафка. Америка. Процесс. Из дневников. М., 1991. С.431*).

<sup>4</sup> То было типичным поведением. Друг и соратник его по Петрограду И. Геллер, касаясь в своей книге безбрачия Канта и отношения его к «толпе», заметил, что для создания новой философии требовалось сделать так, чтобы «жизнь возможно меньше вторгалась в ход работы мысли... сохранить связь с миром, при полном внутренней свободе от него» (*J. Heller. Kants Persönlichkeit und Leben; Versuch einer Charakteristik. Berlin. 1924. S. 62*).

<sup>5</sup> «Увлечение поэзией мешало занятиям в университете: (ЛА. 33).

<sup>6</sup> Так же думал и Достоевский: «Философию не надо полагать простой математической задачей... философия есть та же поэзия, только высший градус ее!» (ПСС. 28. I.54).

стемы, но переживал их. «Читаю Schelling'a и чувствую себя в родной стихии» (1910). Или: «Мне близки люди чистой воли, и я искренне люблю в эти дни Фихте» (1915).

С этой особенностью личности были связаны поиски своего пути в неокантианстве и «встреча» с Достоевским. Штейнберга привлекали не общие проблемы: познания, этики, эстетики, но тайны сознания отдельного человека: «в оранжерее моего сознания», «мое ясное и безгрешное сознание», «непрерывность и плоскость сознания», — повторяет он в записях дневника. Он следит за процессом развития мысли, например: «В сознании все равноправно и что мысли эти относятся реально к бытию, не удивительней, чем то, что зеленое относится реально к сукну и etc. Надо углубить! Не солнце золотое, не море — серебро, а золото — как солнце и серебро, как пена». Сознание должно быть свободно, то есть открыто сознанию других, в том числе, отраженному в мире литературы. На первом месте — Достоевский. «Читаю романы Достоевского: невольно слезы навертываются на глаза: несчастные герои, несчастный автор!» (14.VIII.1909). Так русский писатель становился соучастником авторефлексии.

## 2. Война и философия

Во время I мировой войны интернированный в германскую деревню Раппенау (1914–1918) и оторванный от научно-университетского мира Штейнберг чувствовал себя пленником. Как и Достоевский, использовавший сибирскую каторгу для познания жизни народа, он много думал о грянувшей трагедии. Штейнберг считал, что война изменила «человеческий фундаментальный статус», уничтожила гуманистические ценности XIX века, а природа превратилась в «мертворожденную натуру»<sup>7</sup> Дневники стали фи-

<sup>7</sup> В своих настроениях он был не одинок. Молодой ученый медиевист Н. П. Оттокар, возвратившись из Италии, «был убежден, что не только

лософско-медитативными и многоплановыми<sup>8</sup>. В них появляются записи об историческом времени, о товарищах, таких разных и интересных. Постепенно приходит мысль, что философией можно заниматься не только в одиночку, но и в группе единомышленников.

Достоевский становится этической меркой. «Две странички Достоевского — и все делается ничтожным. Беспредельная скорбь, беспредельное страдание. Нельзя говорить: да минует меня чаша сия: ее нужно испить до конца» (26.VIII.1916). Наряду с газетами и военными сводками, каждый день — «роман Достоевского, который невозможно же не перечитать» (21.II.1916). Штейнберг теперь убежден, что именно Достоевский «владеет тайной жизни, избражая мир, в котором человек несет свою мысль о нем» (29.II.1916). Многие философы нового времени искали такое мировосприятие — отсутствие противопоставление субъекта и объекта — Штейнберг увидел его у Достоевском. Об этом думали и писали В. Соловьев, Л. Шестов, В. Розанов, Н. Бердяев. Штейнберг представил Достоевского целостной философией, объяснявшей всё: «Эстетический пантеизм и религиозное проникновение в природную жизнь («все одна тайна» — Достоевский, Подросток) — это две стороны одного и того же: целостного восприятия жизни, где нет двух действий: я и мир. Где мир сверхличен, где личность сверхмирна... Он «прописал» себя по этому адресу: «Итак, «я не неокантианец», потому что принадлежу к школе Достоевского, проникающего» в природную жизнь и устанавливающего основной закон постижения истины — диалог: я и мир» (5.II.1917). Молодо-

---

Россия, но и вся Европа, начав войну, подписала себе смертный приговор, приговор своему господству в мире и приговор своей культуре, которой предстоял упадок, чьей бы победой война ни кончилась (В. Вейдле. Воспоминания // Диаспора. III. Париж; СПб, 2002. С. 11).

<sup>8</sup> Около двух лет Штейнберг писал дневник нерегулярно, пытался вести два дневника, единство было восстановлено в середине 1916 г.



му философу все еще хочется создать собственную систему, но она не получается. В Раппенау пройден второй участок пути: в общих чертах представлен собственный путь в неокантианстве — персонализм.

До войны Штейнберг приезжал в Москву дважды в год; после заключения Брестского мира он вернулся на родину, поселившись в Петрограде. Начался следующий период жизни (1918—1922): иная среда, образ жизни и другие цели.

### 3. Остров свободы

А. Штейнберг примкнул к кружку «скифов», поддерживавший левых эсеров (во главе которых стоял его брат Ицхак); стал соучредителем и ученым секретарем своеобразной «республики философов» — Вольфила, в которой участвовали А. Блок, А. Белый, В. Иванов-Разумник... Он составлял программы ассоциации, вел семинар, читал лекции. Общественно-этическая программа Иванова-Разумника, символистские идеи, концепция русского социализма, «всеединства» и народности — в таком многоцветном содружестве Штейнберг был принят как посланник немецкой школы, «свой философ». В работе с тянущейся к знаниям массовой аудиторией (он преподавал также в Еврейском университете, Обществе Просвещения евреев (ОПЕ) и т.д.) он продолжал расти сам. Максимальная, в разных сферах, занятость создавала такую внутреннюю наполненность, что исповедь на бумаге была излишней, дневников в эти годы Штейнберг не писал. Достигнутое ранее системное понимание мира выливалось в публичных выступлениях: о К. Лаврове, А. Герцене, А. Блоке.

Деятельность Вольфила и работа в ней Штейнберга подробно освещена в литературе<sup>9</sup>. Остановимся на одном со-

<sup>9</sup> Белоус В. Г. Вольфила [Петроградская Вольная Философская Ассоциация] 1919—1924. В 2-х кн. М., 2005. С.200.

бытии, придавшем ускорение его движению в философии. Мало кто из участников и гостей Вольфилы остался в стороне от 100-летия Достоевского, отмечавшегося в октябре 1921 г. Доклады были из разных областей культуры: литературы, религии, эстетики, социологии, философии<sup>10</sup>, и «литературные» темы отличались широтой. Достоевского сравнивали с Н. Лесковым, К. Леонтьевым, Данте, А. Блоком<sup>11</sup>.

Штейнберг носил в себе свой образ Достоевского. В письме Фанни Каплан он вспоминал: «Летом 1920 г. я стоял с тобой в пятницу под вечер на берегу Невы в ожидании парома для переправы на Охтинскую сторону. Промелькнуло в разговоре имя Достоевского. Я сказал: я в Карренау выдумал “целую теорию, что у Достоевского люди не люди, а живые «идеи». Я мог бы об этом целую книгу написать...”. Ты: “Так напишите, а то Вы останетесь при Вашей идее”. Подошел паром, беседа оборвалась. Но когда мы чествовали Достоевского в 1921 г. и Разумник предложил мне активно участвовать, я вспомнил наш предохтенский разговор и сказал, что я взялся бы за “философию” Достоевского и прибавил — дословно: “Я мог был целую книгу об этом написать”. — “Книгу, — сказал Разумник, — это потом, а теперь давайте доклад”» (ПСФК. 12.VI.1973).

На воскресных заседаниях 16 и 23 октября Штейнберг представил писателя «национальным философом России». Это означало не наличие идей (о чем много писали В. Соловьев, В. Иванов, Е. Трубецкой), а их системность — в сознании героев (семья Карамазовых, «их кровная связь — непременная связь идей»), в отношении автора и героев (идея Кириллова — идея автора), в самобытности мира вообще. До-

<sup>10</sup> Там же. Кн. I. С.503.

<sup>11</sup> И в эмигрантской литературе «частность» взгляда осталась, хотя и на другом уровне. Так, Н. Бердяев и Ф. Степун назвали свои работы одинаково: «Самосознание Достоевского», В. Зеньковский — «Проблема красоты в мирозерцании Достоевского», Б. Вышеславцев — «Русская стихия у Достоевского», С. Франк — «Достоевский и кризис гуманизма» и т.д.

кладчик показал в Достоевском формулирование национальной философии русского народа, всякого народа: «когда, обладая философией, которая «проявляясь в языке, религии, искусстве, общественности и быте», осознает себя органическим единством. По Достоевскому, русская мысль уже дошла до такого этапа «мысли о себе и самосознания»<sup>12</sup>. Превратив Россию из факта в «проблему общечеловеческой мысли», писатель тем самым, считал Штейнберг, сделал неотложной выработку самосознания каждым человеком. Нужно «сконструировать свое сознание так, чтобы можно было жить, чтобы мир мог существовать», «мир идей мы совсем даже не знаем, не учитываем его связи...»<sup>13</sup> — задача крайне актуальная для русской интеллигенции вообще и времени, когда вольфицы надеялись перевести политическую революцию в духовную. Выработав еще ранее свое понимание исторического (доклад «Время и пространство в философии истории»)<sup>14</sup>, теперь Штейнберг дополнил его ролью идеи в жизни личности. «Вы видите, Достоевский учит нас видеть» (ФС. 478).

Обсуждение доклада было трудным (ФС. 457–580): большинство слушателей не готовы были видеть в Достоевском философа и необычной была манера докладчика, не строго-научная и не субъективно-описательная. Но все оказались втянутыми в «коллективное философствование», которое было важным моментом поисков истины в последних романах Достоевского. «Достоевский был наказан тем, что захотел создать систему, захотел понять все в единстве. Это была моя мысль, моя попытка представить Достоевско-

<sup>12</sup> Белоус В. Г. А. З. Штейнберг и Вольфила: ФС. С.715–716.

<sup>13</sup> Ф. Степун уточнял, для кого нужна духовная свобода в России: «Россия, которая после падения большевиков начнет духовно воскресать к новой жизни, будет в своей массе, вероятно, мало чувствительна к свободе. Но для ее творческой элиты, на которую мы только и можем рассчитывать, свобода будет, бесспорно, верховною ценностью» (Ф. Степун. Чаемая Россия // Новый Град. 1936. № 11).

<sup>14</sup> Белоус В. Г. Вольфила, или кризис культуры в зеркале общественного самосознания. СПб., 2007. С.319.

го как единое целое в художественных его произведениях и политико-публицистических. Эта попытка была не напрасной» (ЛА. 89–90).

В конце 1922 г., когда Вольфила практически закончила свое существование, Штейнбергу удалось выехать из Петрограда, соединиться с «грандиозным исходом интеллигенции»<sup>15</sup>. Большинство направлялось в Берлин.

#### 4. О том же — в эмиграции

В мегаполисе эмиграции легко было растеряться. «Ничего не понимаю и надо начинать всё с самого начала» (ЛА. 17). Для подготовки к новой жизни Штейнберг отправился в тихий Гейдельберг. Здесь возобновилась «старая привычка» — писание дневника. Снова необходима рефлексия, себе объявлен судебный процесс — с защитником и обвинителем... Свободно льющиеся фразы, неспешная обдумывание.

В самом Берлине, с его свободой, некоторые бывшие вольфильцы мечтали воссоздать философскую ассоциацию<sup>16</sup>. В некотором роде Штейнбергу удалось продолжить идеи сообщества путем издания переработанного доклада 1921 г. в книгу с измененным названием: «Система свободы Достоевского» («Скифы», 1923). Книга более академична по композиции, она следовала за метафизикой писателя и в то же время близка его собственным исканиям<sup>17</sup>. Смотри на Россию извне, Штейнберг не только призывал, но предупреждал: «Режим террора, провозглашающий про-

<sup>15</sup> Дубнов С. М. Книга жизни. Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. СПб., 1998. С.460.

<sup>16</sup> См.: Обатнина Е. Р., Белоус В. Г. Берлинская Вольфила (1921–1922). Хроника // Вопросы философии. 1997. № 7. С. 141–155.

<sup>17</sup> В том же 1923 г. Штейнберг написал на эту тему повесть «История одного открытия», герой которой — «человек идеи», посвятил свою жизнь поискам самого себя: ПФ. 30–55.

извол эмпирического законодательства абсолютным законом объективного исторического становления, не может не кончиться самоумерщвлением». Целое общественное течение, писал Штейнберг, «должно кончиться самоубийством, когда его идеология абсолютизируется...» (ФС. 138).

В Берлине произошло расширение круга работы; Штейнберг сблизился с деятелями русско-еврейской культуры: философами, критиками, историками, писателями, с немецкими евреями. Но оставался при этом верным «русской национальной идее»<sup>18</sup> — она была метафизическим понятием, которое позволяло утвердить своеобразие каждого народа как элемента целого, человечества. Об этом свидетельствовал и эпиграф к книге, которым послужил афоризм А. Белого: «Из книги Бытия я скоро узнал об Адаме, О Еве, о земле и о небе, о древней змее, о добре и о зле»<sup>19</sup>. Истину философ продолжал искать через русскую литературу и, прежде всего, Достоевского<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> «Идея же эта заключает в себе такую великую у нас силу, что, конечно, повлияет на всю дальнейшую историю нашу, а так как она совсем особливая и как ни у кого, то история наша не может быть похожею на историю других европейских народов»: ПСС. 26. 22.

<sup>19</sup> В России 1920-х гг., в обстановке осуждения «буржуазного» и «реакционного» писателя, появилось несколько серьезных работ: Л. Гроссмана, Ю. Тынянова, В. Вересаева, но они не касались общих вопросов. С «Системой» сопоставима только одна книга конца 1920-х гг. — монография М. М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» (1929), убедительно развивавшая тему диалога в направлении эстетики слова. Бахтин, несомненно, знал о работе предшественника, но не упомянул его в предисловии. А. Штейнберг, читавший новое издание 1963 г. (в списке книг, предстоящих прочтению, оно было первым), но не оставил об этом никаких замечаний. Молчал он и во время регулярной переписки с Ф. Каплан, пока она не спросила прямо. Он ответил: «я был первым...» (ПСФК).

<sup>20</sup> Конечно, не он один. В вышедшей в том же году монографии Н. Бердяева «Миросозерцание Достоевского» автор показывал, что Достоевский — его «духовная родина» благодаря идее свободы. В отличие от Штейнберга, он старался указать, как ее достичь: религией, идеями социализма, богочеловека и России.

Книга была прочитана интеллигенцией, во всяком случае, эмигрантской. Признанием этого факта служили рекомендации европейских философов Л. Карсавина, Л. Шестова, К. Ясперса и Достоевиста К. Нотзеля, — для переиздания ее на немецком языке<sup>21</sup>. Друг Штейнберга Семен Каплан писал ему из Парижа 30 декабря 1936 г.: «Очень рад, что Достоевский наконец-то вышел. Нужно думать, что книга именно теперь будет читаться, когда вопрос о свободе поставлен историей всерьез, а не в игрушечной плоскости социалистического идеализма или идеализма XIX века» (ЛСФК). Через много лет «Система свободы» была названа «самым глубоким исследованием о Достоевском в русской эмиграции»<sup>22</sup>.

## 5. Дневники: работа и самосознание

А. Штейнберг был загружен самой разнообразной работой: переводы, редактирование Еврейской энциклопедии, статьи, журналистика, выступления и доклады, как о еврейской, так и о культуре вообще. Время переполнялось также ежедневным общением, предусмотренным и по случаю, посещением театров и выставок. Дневники 6 и 7 (6-й испорчен) совершенно иные: автор спешит, торопясь не забыть всех участников эмигрантской жизни, записать в дневник хотя бы их инициалы. Даже о таких исторических событиях, как Гегелевский съезд 1931 г., о работе в кружках Л. Карсавина, С. Дубнова, в редакции Идишской энциклопедии (что названо позже межвоенным «еврейским ренессансом»), записывается бегло. Перечни имен, ему давно знакомых или близких, перемежаются намеками. То и дело входит в круг несчастная А. Л. (Александра Ла-

<sup>21</sup> А. Steinberg. Die idee der Freiheit. Ein Dostoyewskij-Buch. Luzern. 1936.

<sup>22</sup> Русские эмигранты о Достоевском / Вступ. статья и примечания С. Б. Белова. СПб., 1994. С.10.

заревна Векслер, безответно влюбленная в него); появляется Эсфирь (Эльяшева-Гурвич), рядом с ней или отдельно — ее будущий муж Генрих Вайсборт; ежедневно звонит по телефону фольклористка Марта Нотман, устроительница его сотрудничества с немецким еврейством. Ни на миг не исчезает С[оня]: с ней — завтрак, обед, зоопарк, она — помощница в работе. От кого, как не от себя, Штейнберг прячет имя будущей жены?

У философа — собственная мерка времени. В конце каждой записи он ворчит, что оно уходит. Хотелось бы иметь не «мешанину философских пригородов», а «метрополию», то есть, наконец, построить «систему». Написать ее и теперь не удастся, но один из вопросов собственной философской программы представлен широко и для всех. На авансцену вышел Ф. М. Достоевский.

## 6. «Гениальный антисемит»

Страницы одного номера евразийского журнала «Версты» (№ 3. 1928) были посвящены еврейской теме: Лев Карсавин выступил со статьей «Россия и евреи», ему отвечал Аарон Штейнберг. Православный философ, поверивший в евразийскую идею, полагал, что «периферийное» (ассимилированное) еврейство, перейдя в православие, решит тем самым свои проблемы<sup>23</sup>. В коротком «Ответе Карсавину» Штейнберг написал резко и решительно: «Ваша любовь к врагу заходит слишком далеко... Если христианство может мириться с еврейством только на основании таких экспроприаций — давайте лучше по старинке»<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> О евразийстве, которое «не отмежевалось от антисемитизма», см.: ЛА. С. 20, 21.

<sup>24</sup> Там же. С. 329. Оба сохраняли дружбу до конца жизни, а Штейнберг посвятил Л. Карсавину отдельную главу в своих мемуарах.

Ничего удивительного в такой однозначности не было. Когда-то, отправляя письмо В. Брюсову, Штейнберг «подписался не только своей фамилией, но и своим библейским именем, которое в России давали только евреям и донским казакам, — «Аарон», а подавая заявление в ЧК с просьбой разрешить ему поездку за границу для философских занятий, которые невозможно вести в России, добавил: «Кроме того, я придерживаюсь еврейской религиозной традиции, от которой никогда не откажусь»<sup>25</sup>. В его реакции на статью Карсавина, кроме актуальности, был также философский смысл: каждый народ должен соответствовать своему предназначению. Но он не был развернут.

Там же, в парижском журнале, Штейнберг поместил странное эссе «Достоевский и еврейство». Оно поднимало тему на философский уровень, хотя и по «частному» поводу. Но это был Достоевский. С докладом под таким названием Штейнберг выступал четыре года назад, 26 января 1924 г. в берлинском «Союзе русских евреев», в 1926 г. опубликовал его на идише, в 1927 г. — на немецком, в 1940-е гг. на английском и иврите<sup>26</sup>.

Тема антисемитизма уже много лет осмыслялась в русско-еврейской литературе и критике. Андрей Соболев писал о мучительной раздвоенности русского еврея, доходящей до душевной болезни<sup>27</sup>. Позиция поэта и национального деятеля В. Жаботинского была иной: антисемитизм — этический порок, «злоба и глупость», на него не нужно реагировать, сохраняя достоинство. «Мы такие, как есть, для себя хороши, иными не будем и быть не хотим» («Вме-

<sup>25</sup> *Портнова Н.* Философ среди антисемитов // Лехаим. 2013. № 4.

<sup>26</sup> На идише: *Frage Schriftn.* 1926. September; по-немецки: *Der Jude. Judentum und Christentum.* Berlin, 1927; по-русски: *Версты.* 1928. № 3 (последняя публикация: *А. З. Штейнберг.* Философские сочинения. М., 2011. С. 334–353). По-английски: *Dostoevsky and Jews // Problems.* N. Y., 1949. Vol. II. № 1; на иврите: *Dostoevski ve-yehudim // HaBoker.* 29.7.1949.

<sup>27</sup> *Хазан Владимир.* Повесть о том, как все вышло наоборот. Жизнь и творчество Андрея Соболя. СПб., 2015. С.196–214.



сто апологии»). Антисемитская тема у Достоевского всегда вызывала бурную реакцию, чаще всего пафос негодования. Иные критики старались смягчить его выступления против еврейства (он не был одержим ненавистью к евреям, у него были друзья-евреи, он сдавал дачу евреям и т. д.)<sup>28</sup>, назвать их «банальным» русским антисемитизмом<sup>29</sup>; очень редкими были попытки объяснить явление. Вместо возмущения Штейнберг подошел к нему спокойно-философски. Еще раньше он называл его «гениальным антисемитом»<sup>30</sup>.

Следовало, конечно, начать с противоречивости оценок Достоевского, который говорил о еврействе по-разному. «Вопрос этот не в моих размерах», «так сильна еврейская идея в мире», «поднять такой величины вопрос (...) я не в силах» (ПСС. 25. 74, 75), употреблял и такие определения: «великое племя»; «окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди» (ПСС. 25. 81). В последний же период в «Дневнике писателя» и художественной прозе он рассуждал о чуждости и несовместимости двух народов, и именно в той точке, которая казалась ему самой важной. То было понимание национальной идеи, которая для Достоевского была идея мессианская. Именно русский народ, отмеченный «всечеловеческим и истинно христианским духом», соответствует идее избранности<sup>31</sup>. «Заветнейшую мессианскую думу» несут его герои. Шатов в «Бесах» провозглашает: «Истинно великий народ никогда не может примириться с второстепенною ролью в человечестве,

<sup>28</sup> Белов С. Ф. М. Достоевский и евреи // Дети Ра. № 4 (78) (2011); Наседкин Н. «Минус» Достоевского (Ф. М. Достоевский и «еврейский вопрос») // Наш Современник. № 7. 2003; Гроссман Л. П. Приложение. Достоевский и иудаизм // Исповедь одного еврея / Предисловие С. Гуревича. М., 1999. С. 175–190.

<sup>29</sup> Горнфельд А. Г. Достоевский // Еврейская энциклопедия. Т. VII. СПб. Стлб. 310–311.

<sup>30</sup> Черновик доклада «Достоевский и Еврейство». SC. Vox VII.

<sup>31</sup> Похожие мысли высказывал П. А. Флоренский, о чем напомнил Михаил Эйдельштейн. Антисемитизм интеллектуалов // Booknik 1. 07. 2016.

или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою». Но «избранным» может быть только один народа, а другой — все эти «жиды», «жидки» и «жидишки» — лишний. «Хоть и есть, но как будто их нет». «Этнографическая пыль», — говорит Шатов. Писателя, верящего в «право России на Константинополь», на Палестину, которая «уже и сейчас как бы русская земля», терзало, что Россия пока не выполняет своего предназначения.

Итак, с одной стороны, «евреи — народ беспримерный в мире», с другой, — «лишний» — так дополнялся мир Достоевского как мир сплошных противоречий. В нем и народные типы вроде бы соответствуют этому принципу. Исая Фомич («Записки из Мертвого дома») — убогий, коварный, но беспримерно предан своей вере. Русскому человеку бы так! Усугубляя недостатки еврея, писатель одновременно возвышал статус его религиозности, причастности национальной идее. Человек ценится не сам по себе, но как часть общего, которое он представляет.

Провозглашенная таким образом «русская идея», принимаемая ранее ученым секретарем Вольфины, в принципе несовместима с ксенофобией. Теоретически Достоевский был с этим согласен: «сойдемся мы единым духом, в полном братстве на взаимную помощь и на великое дело служения земле нашей...», — писал он (*ПСС. 25. 87*). Но возвращаясь к вражде двух народов, он уверен, что ее виновником является не его народ. Так был построен этот трактат-эссе, уводящий предрассудок гения на задний план, а национальную идею любого народа поднявший до «осмысленного целого» (*12.III.1962*). Тут являлась не только тема исторической избранности, но через нее утверждаемая Штейнбергом еще раз идея единства мира, «гармонического единства множества культурных миров и наций, в которое вписан человек»<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> *Портнова Н.* «Русское колено Израилево» Аарона Штейнберга // *Лехим.* № 4. 2007.

Вместо акцентирования одних и тех эмоций, он напоминал еврейскому народу о его мессианском предназначении. Такой подход к теме был непривычен: «Я не хочу придумывать разные метафорические теории, чтобы все это «осмыслить» и «оправдать» и «понять-простить» — довольно: хочу, пользуясь Вашей терминологией, остаться с историками, а не с философами»<sup>33</sup>, — писал автору евразиец Я. Бромберг. Но в огромном массиве публикаций на эту тему до сих пор на первом месте стоит эссе А. Штейнберга.

## 7. Достоевский как литературный герой

Прошло 3 года. В 1931 г. А. Штейнберг заметил что-то грозное в атмосфере Берлина; «народ тоже уныл»; оба они с Л. Карсавиным ожидали войны (*ЛА. 224*). Во время летнего отдыха от напряженной работы, в Праге, Штейнберг позволил себе писать «для себя». Так появился «Достоевский в Лондоне», с подзаголовком: «повесть в 4 действиях»<sup>34</sup>.

Название вполне подходило к историко-биографическому жанру. Действительно, во время своей первой поездки по Европе, летом 1862 г., Ф. М. Достоевский заезжал на 8 дней в Лондон. Тогда же он посетил 3-ю Всемирную промышленную выставку. Но Полина Сулова не сопровождала его в Лондоне, с Ф. Лассалем он не встречался, так же, как и с К. Марксом. Штейнберг писал не биографию, но сочинял некую параболу современности. Источниками служили не только факты, но осмысление Достоевским своего путешествия в очерках «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1862–1863).

<sup>33</sup> «Я уверовал в Россию...». Письма Я. А. Бромберга А. З. Штейнбергу / Публикация, предисловие и примечания В. Хазана // Архив еврейской истории. Том I. М., 2004. С.346.

<sup>34</sup> В начатом в том же году романе «Во рву гибельном» целые главы написаны в форме диалога: ПФ. 56–144.

Реальный Достоевский, испуганный пороками буржуазного общества Германии и Франции, противопоставлял им общинное сознание русского народа, надеялся на него. В Лондоне всё выглядело грандиознее: «какие широкие подавляющие картины! Даже наружно, какая разница с Парижем! Этот день и ночь суетящийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугузки, проложенные поверх домов (а вскоре и под домами), эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок...!» Определить свое отношение к этому миру, найти ему положительную идею непросто: «Вы почувствуете страшную силу, которая соединила всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в единое стадо, вы сознаете исполинскую мощь, вы чувствуете, что тут уже что-то достигнуто, что тут победа, торжество»<sup>35</sup>.

Герой Штейнберга приезжает в Лондон, не имея ответов, которые от него ждут как от экзотического «русского». Сам он в беседах с Герценом надеется понять, «откуда просветлению прийти», с Запада или с Востока, из России? Должна пройти цепь встреч, столкновений, прежде чем он остановится на чем-то. Достоевский не идеолог, но живой, противоречивый и постоянно ищущий истину человек.

Уже в 1-м действии он подобен той «тайне», которую разгадывает. У него вызывают неприятие не взгляды Ласалея, но его поведение позера (черта, замеченная Достоевским-путешественником у французов<sup>36</sup>); раздражение переходит в ревность (для этого необходима Полина), ревность — в специфическую реакцию: «Дон Жуан пейзажный...». Штейнберг напомнил эту «небольшую» черту писателя, но, подчиненный закону развития, почти сразу он начинает сомневаться в своей правоте.

Беседа с Герценом все время прерывается разными обстоятельствами, так как она лишена остроты и в ней нет ничего личного. У них много общего, но есть и разница. Герцен

<sup>35</sup> Достоевский Ф. М. ПСС. Т.5. С.69.

<sup>36</sup> «Буржуа проеден до конца ногтей красноречием». Там же. С. 89.

по-прежнему верит в русский народ, но живет за границей... Достоевский тоже «хочет верить», но сомневается. «Идея всеединства», может быть, и спасет, считает он, но только если Россия станет Европой. Столкновение с К. Марксом<sup>37</sup>, для которого Выставка — апофеоз, модель будущего мирового хозяйства, тоже не объясняется одним идейным противостоянием. Маркс разделяет человечество на «реальные разновидности», подобно дарвиновским «видам», люди выковываются «в горниле классово-борьбы»... Для Достоевского неприемлем такой взгляд на человека — как на «пустое место». «Разве уживется, разве может ужиться все это несметное множество под одним куполом?» — замечает он при виде толпы посетителей. Автор «Зимних заметок» только сомневался в спасительности технического прогресса — герой «повести» предрекает трансформацию под его влиянием физической и духовной природы человека.

Далее Достоевский как бы случайно «спускается» на «дно», в лондонскую портерную. Картина народной жизни открыта уже до его появления: в народном «сословии» преобладают насилие и неверие: «на дне сидим». Символом бессловесности, неумения выразить свои мысли является немой посетитель, все время что-то мычащий. Бросившись на защиту унижаемой девушки: «стыдно бить ребенка!» — Достоевский слышит в ответ: «Здесь вам не Россия! Англия свободная страна!». Единственный человек с чувствами, рассуждающий с понятием и помнящий о грехе, — разносчик. «Вы какой веры будете?» — «Я — старой, очень старой веры». Этот намек переходит в однозначную фразу главного

<sup>37</sup> Еще в 1924 г. Штейнберг оценил марксистский социализм: «его полную неподготовленность к культурному зодчеству, его искусство разрушать без умения строить» (Культура и революция. ФС. 310), а в 1943 г. подвел итоги: в статье «Образование. Формирование советского гражданина» он писал о стандартизации образования, новом характере человека, сочетающего марксизм и русскость, главенстве идей компартии в образовании Советской России (A. Steinberg. Education and Culture // Our Soviet ally. Essay. L. 1943. P.149–172).

героя: «еврей не может быть без Бога», поднять на него руку «быть может, вдвойне грех, наитягчайший грех. Им завет дан от века». Лассаль к тому времени отказался от дуэли<sup>38</sup>. Впоследствии Штейнберг указал на переменчивость Достоевского как на типичную черту его характера, объясняемую «не поверхностной зыбкостью чувства или мысли, а наоборот — изначальной их многосложностью».

Все проявления личности автор-философ неизменно сводит к ее цельности, соотносит с народом, миром. При первом появлении в доме Герцена Достоевский признается в своей болезни: «я — больной человек, страдающий печенью», но отказывается от лечения. По ходу действия становится понятным, почему: болезнь связывает его с больным обществом, как можно вылечить ее? «Священной болезнью» называется последнее действие: гроза в природе, в России («Россия — ураган, такая сила, которая на пути своем мир опрокинуть может») и припадок Достоевского — единство.

Из всего, что предлагала реальность, неотменной осталась идея «братства», ответственности одного за другого «Я! Я! За все, за все я расплачиваюсь!» — снова проявляется в художественном мышлении автора двойственность конкретного и символического. Персоналист Штейнберг предлагал верить лишь человеку — в принципе, в будущем. «Повесть» заканчивается последней надеждой-воззванием: «Братцы родимые! Ну, чего вы, чего? Что столпились? Что наболело?.. Откликнитесь, родимые!».

Такой была многосложная реплика Штейнберга на идейную ситуацию европейско-русской реальности начала 30-х гг. По возвращении в Берлин он передал рукопись в Литературный салон для обсуждения. Собственное отношение к произведению было неопределенным. «Приятное воспоминание о июльских неделях, когда писал свою «повесть в четырех действиях» «Дост[оевский] в Лонд[оне]»

<sup>38</sup> 12 мая 1925 г. в Союзе русских евреев в Германии А. Штейнберг выступал с докладом «Фердинанд Лассаль» (к столетию со дня рождения).

(30.IX.1931), после чтения и принятия слушателями — более положительным: «Дискуссия. Кое-что в этой вещи есть» (4.X.1931)<sup>39</sup>. Интересная оценка содержалась в письме того же евразийца Якова Бромберга: «Вас, конечно, тянет в страну Достоевского. Это с точки зрения нашей русскости. С точки зрения же еврейскости, я не могу не приветствовать Вашу книгу весьма радостно... Наконец-то Вы выговорили самое главное в комплексе русско-еврейской проблемы (...) Интересно, что Ваша книга — первое драматическое произведение в эмиграции за очень долгое время»<sup>40</sup>. Бромбергу не случайно понравилась еврейская тема, решенная автором оптимистично и гораздо меньше — другие, оставленные в русле неопределенности.

В 1937 г. в публицистическом эссе «О самом главном» Штейнберг страстно реагировал на трагедию немецкого еврейства, предсказывая через нее судьбу всей Европы. В чем же, по его мнению, может быть спасение? Для еврейства — в возвращении к тому национальному единству, которое в классические века его истории создавалось религией, верой, а теперь в процессе ассимиляции исчезло. Автор приводил какие-то отдельные примеры «возрождения», но по тону его обращение звучало таким же отчаянным зовом к «братьям», которым заканчивалась его «повесть» о Достоевском (ПФ. 160–161).

## 8. Философ и просветитель

С 1940-х гг. роль культурного посредничества Штейнберга — главы Департамента культуры Всемирного Еврейского Конгресса и его официального представителя в ЮНЕСКО,

<sup>39</sup> Два действия «повести» были опубликованы в сборнике «Zwischen den Zelten» («Между шатров»): J nge j dische Autoren. Berlin. 1932.

<sup>40</sup> «Я уверовал в Россию...». Письма Я. А. Бромберга А. З. Штейнбергу. С. 363.

выросла. Он посещал далекие общины, выступал на симпозиумах, спасал культуру на идиш и заботился о репарациях<sup>41</sup>. О разносторонности его научной работы свидетельствует состав итогового сборника «История как опыт»<sup>42</sup> (составленного автором), в который вошли некоторые тексты по истории, философии, религии, культуре, литературе, этике, межконфессиональным отношениям, праву, педагогике, психологии.

Так и не опубликовав собственную философскую систему, Штейнберг предстал как последовательный мыслитель экзистенциального направления. Его триада: единство — множество и единство множества — утверждалась и реализовывалась в сочинениях по философии, истории, литературе. И не только: все «нефилософские» занятия Штейнберга были материалом, убеждающим в правоте этого мироощущения.

Дневники продолжались и менялись. Записи последнего десятилетия (особенно после смерти жены в 1966 г.) приняли исповедальный характер и дополнительную емкость. Они превращаются в своеобразное домашнее «издательство», в котором отрабатываются черновики и варианты больших текстов, в том числе, мемуаров. Двойственность: «деятель» — «наблюдатель», исчезла. Штейнберг постоянно проверяет соответствие своей жизни идее. В то же время многоликость жизни распирает пространство записей, последние годы они уже не «умещаются» на одной линии авторефлексии, появляются дополнительные листки и тетрадки. Настоящее обрастает сюжетами из прошлого, вну-

---

<sup>41</sup> Не будучи сионистом, Штейнберг активно участвовал в развитии израильской культуры и очень переживал во время военных вспышек. 5–10 июня 1967 г. (Шестидневная война) в календаре появляются записи: «Война. Кризис — война. Кризис продолжается! Грустные, пустые дни, война и это у самого подножья Синая! Сердце болит».

<sup>42</sup> *History as Experience. Selected Essays and Studies by Aaron Steinberg.* New York, 1983.



три дневника возникают «повести» — своеобразная философская проза.

Как мыслитель-персоналист Штейнберг продолжал формулировать свое понимание сознания, которое состоит из нескольких входящих одна в другую оболочек: «Элемент субстанциональный — еврейское религиозное сознание в оболочке русской стихии, европейской атмосферы, на фоне всемирности и в потоке всечеловеческого движения. Это ядро. Если бы оно разложилось, это был бы и духовный, и физический конец» (июнь 1946). Был ли еще мыслитель в XX веке, особенно еврей по происхождению, кто так плавно и четко смог обойти в своем сознании мучительные противоречия времени, не прячась по углам? Закон единства и многоликости он тоже доказывал на себе, еврейском общественном деятеле и ученом европейского типа. «Вижу, что я уже 30 и более лет тому назад мыслил, чувствовал и, главное, жил в однородной стихии. Это то, что называется «дух времени» и, не отставая от еврейских корней, я — осязательное подтверждение того, что мы — жизненный элемент объединяющегося рода человеческого» (1952).

Как и Достоевский, Штейнберг жил ради поисков истины («тайны»). Чтобы увериться в соответствии своей жизни провозглашаемой философии, в 1960-е годы он начал подводить итоги: писать воспоминания, собирать разбросанные в периодике философские и критические работы, выделять из дневника рассказы о прошлом<sup>43</sup>.

## 9. О Достоевском — в последний раз

С Достоевским А. Штейнберг надолго не расставался. В 1920-е гг. были подняты такие окаменевшие в обществен-

<sup>43</sup> См. ПФ: «Списки». «О Зависти». «Letters to Mrs. S. Steinberg». «Мое грехопадение».

ном сознании понятия и категории, как Братство и Равенство. В 1955 г. в докладе «Братство по Достоевскому»<sup>44</sup> он рассмотрел их в разных контекстах: семьи, общества, национальных отношений, политики. Обновленной и глубокой звучала лекция: «Равенство по Достоевскому». Историческое и политико-этическое понятие обогатилось конфликтностью. «Равенство — не подобие, а «союз неравных и неповторимых в подвиге взаимного понимания и любви». Штейнберг выражался четкими и аксиоматичными тезисами: «Равенство» появляется «после Свободы и Братства», их объединяет «общность восхождений»<sup>45</sup>.

Подверглась переосмыслению и прочитанная в Вольфиле лекция «Пушкин и Достоевский» (26 февраля 1922 г. *ФС. 581–624*). Тогда эти гении противопоставлялись: Пушкин — «примирительный» и гармоничный, Достоевский — «разделяющий» и кризисный. Но еще ранее, в статье «К философии П. Л. Лаврова» (1920) Штейнберг писал: «в лице Пушкина Россия ответила языком не только поэтическим, но и глубоко философским». (*ФС. 219*). В 1962 г., в лекции для Пушкинского Клуба, подготовленной к 125-летию со дня смерти поэта, акцентировались близость и наследование мотивов, переключка героев и сюжетов, общие идеи «всемирности и всечеловечности»: «Пушкин для Достоевского не только первая, но и последняя любовь».

В 1962 г. лондонское издательство «Bowes & Bowes» пригласило Штейнберга участвовать в серии: «Исследования современной европейской литературы и мысли». В январе 1963 г. был подписан договор. «... Я снова заинтересован темой, и доложу Вам, дорогая моя, что бы ни говорил Сеня,

<sup>44</sup> Штейнберг А. Братство (ереси вслух) // Знамя. Двухнедельный журнал науки, искусства и общественной жизни. М., 1922. 13 марта.

<sup>45</sup> Современному автору, не знакомому с Штейнбергом («за два-три тысячелетия не нашлось гуманитария...»), приходится вторить этим идеям: «Люди так же неравны, как неодинаковы их имена» (Александр Воронель. От редактора // Двадцать два. № 174. 2014. С. 147, 148).

тема захватывающая, даже больше, чем сорок лет тому назад», — писал он Ф. Каплан (ПСФК. 10.1.1963).

Сначала нужно было узнать, насколько принята и известна его книга 1923 г. Нашлось лишь одно упоминание — Марком Слонимом — в списке использованной литературы<sup>46</sup>. Косвенное свидетельство было также в последней книге Л. Гроссмана: «указание на Соню Иванову в тонах, близких к моей характеристике ее как «Беатриче» Достоевского»<sup>47</sup>. Позже обнаружились некоторые другие упоминания. Европейское литературоведение значительно продвинулось вперед: обычными в нем стали понятия: «двойничество» Достоевского (П. Бицилли<sup>48</sup>), «беспрерывность процесса достижения» (В. Комарович<sup>49</sup>), «схождение противоположных полюсов» (К. Мочульский<sup>50</sup>). Распространены были также темы цельности Достоевского, единства художественного и философского начал его творчества. «В последние месяцы начитался всякой литературы, появившейся после моей петербургской работы, и многое в ней пересмотрел, но портрет «мыслителя», мне кажется, в основе схвачен правильно. О «человеке» и «художнике» могу сказать многое, что лишь теперь открывается мне в ясной отчетливости» (Ф. Каплан. 1963).

Штейнберг начал писать книгу с учетом лучших работ о Достоевском, вместе с тем он продолжал идеи своей книги, переосмысливая их заново. Фразы, сказанные ранее, закавычивались (как в дневниках), так возникал диалог с самим собой во времени. Например: «11.VI.1963: Должен бы вписать из писем к Н. Н. Стр [ахову] (см. мою стр. от сегодня). Но оставляю до завтра». И в конце: «До завтра! 4.50».

<sup>46</sup> Слоним Марк. Три любви Достоевского. Нью-Йорк, 1953. С.216.

<sup>47</sup> Гроссман Л. Достоевский. М., 1962. С.369.

<sup>48</sup> Бицилли П. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского // O Dostoevskom. Stat'i. Brawn University Press, 1966. P. 15–16.

<sup>49</sup> Komarovich V. L. "Mirovaia garmonia" Dostoevskogo // Ibid. P.135.

<sup>50</sup> Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество // К. Мочульский. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С.446.

Небольшая книжка восстанавливала портрет Достоевского-философа полувековой давности, но полнее и свободнее. К работам типа «жизнь и творчество» Штейнберг относился с иронией, предупреждая, что о личности писателя нельзя говорить отдельно от творчества, а о творчестве можно думать только вместе с личностью. В докладе 1921 г. и книге 1923 г. Штейнберг выявлял «всё» через связи «важного»: «системность» идей, самосознание народа и человека, которое невозможно построить без свободы, специфику философского развития в разных странах и в России. Теперь, отодвинув ряд неактуальных мотивов («конкретный идеализм», Россия и Запад, еврейская тема), он решил описать явление «Достоевский» через личность.

Не случайно целый год он работал над 1-й биографической главой, и она вышла самой развернутой. Разные источники сопоставлялись друг с другом, и лишь тогда вводилось в текст событие или биографическая деталь. «При чтении З. Фрейда о ФМД заглянул в Письма I, с. 333 — очень ценно о «рулетке» и собственном «Игроке» в письме к Н. Н. Страхову из Рима от 18/30 сент. 1863» (26.V.1963). По плану, сохранившемуся в черновиках, видно, как биографические обстоятельства переходят в мироощущение (21.IV.1963). «Что включить в 1 главу. 1. Детство — Не Москва, но СПб. 2. Бедность — нерасчетливость. 3. Щедрость — 4. Азарт. 5. Страстность. 6. Сострадание. 7. Отъединенность. 8. Многосторонность. 9. Сдержанность. 10. Живительность. 11. Бегство в фантазии. 12. Самообольщение. 13. Скромность. 14. Простодушие и т.д. (...)». Последними в плане стояли пункты: «23. Художник» и «24. Мыслитель», но в процессе работы они стали отдельными главами.

Для 2-й главы «Художник» тоже составлен план: «1. Непризнанность: сам виноват. 2. Романы о “невозможности романа”. 3. “Поэт”, но не художник. 4. Задача художника: “реализм”; (его теория); динамика — “текущий момент”. 5. Его темы неодолимы одним искусством. “Художник в науке” и т.д. Видно, что особенности таланта Достоевского

формулируются как парадоксы или антитезы. Если даже на Штейнберга оказал влияние З. Фрейд, который в очерке “Достоевский и отцеубийство” выделил четыре грани: “как писателя, как невротика, как мыслителя-этика и как грешника”<sup>51</sup>, то сам метод их описания был иным. Если З. Фрейд ставит диагноз, то Штейнберг, хоть и предвидит общий вектор движения мысли, но подробности ищет сейчас, в момент писания. «Сюжетом» книги становятся возникающие уходы, отвлечения, полемические повороты. Иногда старые идеи выражаются иначе и освещаются ярче. Так, о системности идей сказано образно: «Многие из его первостепенных персонажей — это ожившие философии, которые научились дышать, двигаться и действовать». Многочисленные цитаты из произведений и переписки писателя, выписки из научной литературы или принятые в литературоведении повторы лексем, например, «индивид»: «человеческая индивидуальность сама для себя мистерия», «...индивидуальность Достоевского заслуживает индивидуального к ней отношения», «своё индивидуальное творческое призвание», «герои предстают перед нами не как индивидуальные личности со своими теориями, а как персонифицированные действующие идеи», «образ Раскольникова раскрывает эгоцентрический индивидуализм» и т. д., — не превращают текст в научное исследование. Штейнберг-автор живет внутри мира Достоевского, родного и понятного ему<sup>52</sup>.

Уже в 3-й главе начинается подведение итогов. Единственным «лекарством», которым располагал Достоевский для излечения России, напоминает Штейнберг, была надежда на «русскую национальную идею». Штейнберг говорит о ней осторожно: ему не хочется сомневаться в пророче-

<sup>51</sup> [http://sbiblio.com/biblio/archive/freid\\_dostoevskiyotceub](http://sbiblio.com/biblio/archive/freid_dostoevskiyotceub).

<sup>52</sup> Подобно В. Розанову, Н. Бердяеву и Л. Шестову, А. Штейнберг относился к Достоевскому как трансдискурсивному автору: <http://eroskosmos.org/dostoevsky-transdiscursive-author/>.

ском даре писателя; если она не оправдалась исторически, то осталась как идея философская, а можно ли в ней сомневаться? Другой вопрос: понимают ли Достоевского после его смерти? В самом общем смысле — да; свершилось «постепенное восхождение» писателя «к вершине человеческого величия». Но и сейчас на родине ситуация с достоевковедением<sup>53</sup> неблагоприятна: множество описательных и социологических работ, хотя есть значительные издательские успехи. 4 февраля 1963 г. Штейнберг записывал: «В Советской России пристально разбирают ФМД как художника, чтобы выключить его «идеологию».

В финале мир мыслей и свободного духа переводится в план личности (чем книга начиналась): «год за годом Достоевскому приходилось бороться с бурным ветром, который в его родной стране бил ему в лицо». А. Штейнберг эмоционален и убедителен. Достоевский для него не «наследие», отсеянное со временем в приемлемые формы. Он написал не научный трактат о гении, но старался передать ощущения человека, живущего теми же идеями: «любое человеческое существо уникально и загадочно», «человек динамически развивается», «каждый человек может подняться над бытием и встретиться с вечностью». Еще раз убеждаемся, что Штейнберг-ученый-философ и частный человек — одно и то же. «За последние недели, когда я подолгу лежал с закрытыми глазами, я много занимался философией индивидуальной истории (...) Она соединяет и она объединяет индивидуальную историю в осмысленное целое» (12.III.1962). «Исследовательский роман» — так можно определить жанр книги<sup>54</sup>. В начале работы над ней Ф. Каплан, помогавшая

<sup>53</sup> А. Штейнберг пользовался данными книги В. Седуро «Достоевскоеведение в СССР» (Мюнхен. 1955). «Главная особенность, — писал автор обзора — уклонение от научности и академизма» (*Жожикашвили С.* Заметки о современном советском достоевковедении // Вопросы литературы. 1997. № 4).

<sup>54</sup> Отсутствие четкого жанра отмечено в рецензиях на «Литературный архипелаг». Одни называют его «психологическим романом» (*Соболев Л.*

литературой, бывшая в курсе всех творческих перипетий старого друга, писала ему: «Куда Вас теперь приведет заново встреча с Д., покажет будущее. Но я верю, что работа над Д[остоевским] Вас приведет к каким-то завершающим идеям для вас самого. Во-2-х, и здесь я возвращаюсь к Розанову и легенде: как ясно, что мысли и образы Д[остоевского] уводят ко всем человеческим горестям, но и радостям тоже. Ибо это все смешано. Как говорит Р[озанов], это мир (т.е. мир Д.), к которому как будто еще не приложены мера и число, или как будто уже смешались в нем все числа и меры... Передала Ваш привет Михаилу Мих[айловичу] Осоргину. Он был очень тронут, просил кланяться и сказал, что ведет с Вами диалог и что все, кто хотят понять Д[остоевского], как-то «сродни» (ПСФК. 28.1.1963).

«Это только справедливо, чтобы твоя книга о Достоевском вошла в русскую литературу о нем», — написала Фанни Каплан в одном из последних писем Штейнбергу. Сам он с грустью расставался со своим героем: «Федор Михайлович уже кивнул мне в знак прощания» (11.II.1966).

Дневники велись по-прежнему, не прерывалась авторефлексия: вспоминать и записывать. Штейнберг не возражал, если его дневник прочтут другие: «...если им, страничкам этим, действительно суждено стать «последними», пусть всякий, кто их после меня прочтет, уразумеет, что я в самом большом отчаянии и в самом отчаянном своем унижении, барахтаясь уже не как сын человеческий, а «как мышь, рожденная в подполье», все еще молился о вере, о надежде и любви» (25-го августа 1969 г. Около 11 веч<ера>). От отчаяния к надежде всегда возвращался Достоевский.

---

russ.ru/pole/Roman-Aarona-SHtejnbega), другие — «задушевными беседами», которые автор ведет с современниками (Гальцева Р. Культурный архипелаг // Новый мир. 2011. № 2).

I

ДНЕВНИКИ





---

## DIARY 1<sup>1</sup>

**14.I.1909.** Вчера написал стихотворение, которое мне нравится. Вот оно: Силуэт. Темен мост. Etc. Подпись: Марк Аврелин. Затем еще стихотворение, написанное около месяца назад на лекции W. Windellbanda<sup>2</sup>: в последнее время написал немало более или менее удачных отрывков. Но да Бог с ними. Да упокоятся в отрывочной форме своей.

«Люблю бурю, весел в опасности». Мечтал о военной карьере, об этом надо еще подумать: не поступать на службу, конечно, но поступить на войну, которая рано или поздно должна разыгаться». «Уже более двух лет я стою на границе между бытием и небытием, и я доволен своим пограничным постом».

«Нет объективной истины. Эти мысли в связи с ценностью философии. Меня интересует то, что является содержанием биологии, химии, физики, философии, истории, астрономии, математики, физиологии, техники, истории искусств,

---

<sup>1</sup> Кавычками отмечены фразы из ранних дневников. — *Н. П.*

<sup>2</sup> Вильгельм Виндельбанд (1848–1915) — глава баденской школы неокантианства, профессор философского факультета.

ботаники, зоологии, юриспруденции, филологии, баллестристики, географии; меня интересует все это, ибо меня интересует мир, и я жажду проникнуть в смысл его...» (...)

Я вспоминаю: я лет 7, 8 тому назад (мне теперь 17½; 17½ — 8 = 9½) я увлекался военными романами и мечтал уехать в Америку, чтобы сделать военную карьеру (я тогда даже говорил с матерью об этом, но она стала мне объяснять, что военное ремесло — ремесло крови и зла; это меня мало убедило: я мечтал наказывать своей властью злых и делать счастливыми добрых); в то время я никогда еще не видел «живой» крепости, валов и фортов, но я по описаниям и картинкам так «живо» рисовал себе их, что, когда я впоследствии их увидел в «реальности», я их нашел точно соответствующими моим представлениям. Не мудрено, что я поразил всех старших своими «артиллерийскими познаниями»; всем кажется, что только опытом можно знать то, что в действительности легко познается фантазией.

Вот еще пример. Мне минуло 15 лет, когда я впервые посетил Петербург, а между тем, я въехал в него, как в давно знакомый город. Причина — картинки, книги. Так воображение заменяет опыт... Меня многие называют стариком, по-старчески умным, дедом, стариковским скептиком и т. д. в том же духе. Если разуместь под «стариком» человека с долгим опытом, то это так: у меня есть опыт, ибо у меня есть фантазия.

...На днях написал стихотворение, которое сегодня окончательно отлилось:

Погибну я — умрет мечта,  
Погибну я — умрет весна...  
Но я — как все, но я, как ты,  
Умрем мы все — умрут миры.  
Умрут, кода придет пора,  
Не скажем: да — ни ты, ни я.

Странно, как это внезапно вылилось! Но для этого я был слаб. Каюсь.

(...) Читаю Канта, Fichte. Играю в шахматы.

**29.X.09.** Собираюсь уезжать. Играл некоторую роль в торговле сукном (Москва).

**3.XI.09.** Сегодня приехал в Ковно. Вчера был в Двинске, в воскресенье (третьего дня) выехал из Москвы: везде люди, пересекающиеся круги, люди — какие, не все ли равно? Разве можно любить Божий мир, рассортировав его по сортам? Разве можно любить Его, если Он не один? Один! И нету двух иль многих, ибо все — равны, всё — равно. Не поставить ли знак восклицательный? Однако как я себя ненавижу, чего жду?

**11.XI.09.** Попался редкий тип: Эльяшев Моисей (дядя)<sup>3</sup>. Драгоценное все, что редко.

**18.XI.09.** Люблю свое детство так, как могут любить его лишь на склоне лет. Не на перевале ли я, не на склоне ли? (...) Одежда моего *тела* и утоление его многочисленных желаний — недостойная моего внимания величина. Но быть Наполеоном для меня мало. Владеть землей и миром — ничто для меня. Лишь тесно на шарике в 30 дней пути обхватом; а ведь уже близок день, когда и этот ничтожный шарик станет уменьшаться не по годам, а по дням.

Я в тюрьме моего тела; а тело в тюрьме земной обстановки, и так буду влачить свое будущее? В двойной тюрьме? Нужно ли оно мне, это будущее?

Лучше обладать фантазией, чем опытом. Ибо всё преимущество в ней... и, кроме того, еще многие. Меня некоторые называют стариком, по-старчески умным, дедом, стариковским скептиком и т. д. в том же духе. Если разуместь под стариком человека с долгим опытом, то это так: у меня есть опыт, ибо у меня есть фантазия.

В области философии я переживаю период накопления и период укрепления границ. Дело подвигается вперед.

<sup>3</sup> Моисей (Моше) Захарович Эльяшев (1870–1920) — дядя по матери, шахматист. Показательная «обезьянья игра» с горизонтально-цветовой симметрией была им проведена с Г. Ротлеви в 1909 г.

---

## DIARY 2

(...)

**18.II.1910.** Хочу записать одно яркое воспоминание своего детства.

Мне было лет 7 (11 лет тому назад), я недавно только начал читать Библию. Как сейчас, помню свою детскую, с перилами, постель и полутемный угол комнаты: я просыпаюсь и быстро поворачиваюсь, чтобы увидеть нечто в противоположном углу. И я вижу там, где стоит нянин сундук и небольшой шкаф, как бы сидит и витает в воздухе некто, в ком я сейчас же узнаю Бога. Он подобен шару, а на шаре второй небольшой шар, и я думаю, этот второй шар его голова, а большой первый это весь мир, который подобен шару; и шар этот коричневый, как свежая весенняя земля, а лица я не вижу и хочу молиться. В тот же миг начинает проявляться лицо, и до сих пор помню странное лицо страдальчески-серьезного и сурового молодого ученого с пристальными черными глазами.

Вот я его вижу — думаю я — а почему все говорят, что никто его не видел., и мы продолжаем смотреть друг на друга. Я вспоминаю известный мне рассказ о Соломоне, присив-

шем у Бога мудрости, и хочу тоже просить у него разумности и... Но мало-помалу все видение начинает исчезать в сером тумане, и над няниным сундуком между стеной и шкафом — всё пусто.

Я был уверен, что видел Бога и что я его еще раз увижу. Но больше видение не повторялось.

**20.II.1910.** Систематическую охоту на философские проблемы я пока что приостановил. Заметил, что это — напрасно потерянный труд. Расту я, и растет моя система вместе со мной. Так к уродливости ведет внешняя помощь члену организма. Расту я, и растет мировоззрение со мной: его — оно член моего душевного организма. Называется душой моей небо безоблачное, и быстро зреет под небом душа. От мрака к мраку — через чистое пламя сознания — прямой луч, который короче всех. Как вчера, вижу свое детство, и целая вечность отделяет меня от «вчера». Как завтра, вижу свой золотой закат, и уже сегодня удлинены тени, как в час вечерний. И я говорю, может быть, между смертью моей и жизнью будет полная свобода; я говорю: я буду сумасшедшим. Не в сумасшествии ли свобода? Не в безумии ли размыкается круг? Не свобода ли от логики — последняя свобода?.. Глухая, но сложная работа идет в подземелье моей философии; сложная цельная органическая работа. Вот обращаюсь я к ней и вижу, как разглаживаются морщины противоречия, как уравниваются выбоины невыполненного, как очерчиваются четко линии целой цепи волнистых построений. И я думаю: работай, работай! Мне нравится стройность и построенность; мне нужна эта работа, и цветы ее ароматны. Мне нравится аромат ярких и бледных цветов.

**22.II.1910 (7.III. н. ст.).** Ковно-губерн. Через Берлин в четверг попал сюда. Хорошие очень и нервные люди — вот *summa summagum*<sup>4</sup> моей здешней находки. Как странно: я — еврей!?

<sup>4</sup> Итог, всего-навсего (*лат.*).

Хочу побеседовать о своем стиле: материал — эта тетрадка. Интересует меня один вопрос: правильно ли я пишу? Мне кажется — насколько, что успел заметить, что с людьми я так почти не говорю или очень редко. Говорю я с теми и тогда, когда начинаю им верить, как себе, когда начинаю чувствовать сущность душевной просторности и изящной утонченности. Таких людей встречаю редко, а в них драгоценный блеск — лишь проблесками. С редкими говорил я так редко, зато постоянно, всегда, часто думаю я так про себя. Пышно, торжественно, роскошно часто изъясняюсь я с самим собой, ценя в мысли и ее мастерскую оправу. Как часто — я вспоминаю — хожу я по улице, смотрю людям в лицо и ищу совершенства, а про себя я твержу: где вы, что вы, красивые для бога?! Или сижу в обществе собеседников и тихо шепчу про себя: Где вы, где вы, души многогранные? или слежу один поздний закат и думаю про себя и говорю вслух.

Недавно, когда я ходил по деревянному тротуару по не красивой улице, меж неприятных людей, я вдруг ощутил, что истина возможна. Я вдруг почувствовал, что близок день, когда, красивое в своей законченности, предстанет передо мной увенчанное здание, микрокосм, совершенно подобный большому миру, что мне удастся угадать устройство мира и создать его модель, зеркало всего космоса: логического и физического. Я вдруг ощутил, что работа двигается вперед, что я обрету свою философию. И мне стало радостно. Несколько стихов из последнего моего стихотворения:

Кто знает предчувствие алого дня,  
Кто любит безмолвность улыбки огня,  
Кто сам улыбался, любя и кляня —  
Тот друг мой, тот знает, тот любит меня.

И т. д.

**3.III.1910.** Ковно. Когда в фантазии своей я строю башни — я знаю: есть творчество из ничего<sup>5</sup>. (...)

**6.IV.1910.** Всякий человек, вероятно, — кладбище зарытых талантов.

**21.IV.1910.** Как я могу жить среди мещан!?

**26.IV.1910.** Вчера ночью покинул Москву. Думаю иметь 1—2 ковенских дней. 22, 23, 24 провел в обществе с С. К.<sup>6</sup>, которая, без сомнения, представляет интерес для наблюдателя: она умеет стать зеркалом, от которого можно либо бежать, либо принять предложение в нем отражаться. Я охотно наблюдал себя перед зеркалом и таким образом нашел выход из круга и его проницательности, ибо это наблюдение уже никем ни наблюдалось, ни отражалось, и я смеялся последним. Я дома, как в дороге, а в дороге, как дома.

Редко попадаются честные люди, готовые говорить неприятную правду в лицо; еще резче такие, которые говорят приятную — в лицо.

**30.IV.1910.** Ковно. Нет дерева, которое не росло бы вниз так же, как и вверх: у старого дерева корни заметны и богаты, как у молодого вся крона его. К пониманию личности. (...) Не верьте будущему! Безумцы пьют раскаленный воздух вместо воды и едят песок с радостью, достойной райских плодов. Бойтесь безумцев, ибо Бог их отметил и открыл им ворота в волнистую пустыню. Кто велик, если не он? У кого сила, если не у Властелина?<sup>7</sup>

**3мая ст. стилия, 16 — нового ст. 1910.** Berlin, Thiergarten. Вчера утром выехал из Ковны в Heidelberg. Теперь сижу в саду и кормлю птиц.

В Ковне люди с небольшим кругозором. Есть Я как мир, и Я как кусок мяса под кровавым соусом. Ничтожны те,

<sup>5</sup> Реминисценция на книгу Л. Шестова «Творчество из ничего» (А. П. Чехов), написанную в 1904 г. и вышедшую в свет в 1905 г.

<sup>6</sup> Софья Кантор — москвичка, знакомая автора.

<sup>7</sup> *Что это — имитация Библии? 26.XII.1911* <здесь и далее замечания автора даются курсивом — Н. П.>.



у которых Я совпадает с телом, ибо узки их кругозоры и всегда ширина их души не больше одного дня пути. Мои ковенские люди почти все почти так сложены. Только свое их интересует и «свое» их почти ничтожно.

**20.V.1910.** Heidelberg. Пятница. О ковенских — похоже на клевету. Хотя при правильно поставленном судебном заседании мне нетрудно бы защититься.

Я не могу никак подыскать хорошо сшитого костюма из понятий для одного моего чувства: лень искать. Ценю его чистоту и не знаю, чем чистота ценнее грязи. Оно меня возвышает и делает равнодушным к трудностям свободно избранной чистой жизни. Но я не знаю, чем это равнодушные и переносливость ценнее неравнодушия и страдальчества. Не знаю и не хочу знать: Бог с ним! Пускай растет себе на почве души моей во славу свободы: ведь всем им я даровал давно равные права на широкую жизнь.

**23.V.1910.** Heidelberg. Штудирую *juris prudentia*. Рад на время отодвинуть свою философскую работу на задний план: я чувствую, что в философии я уже доживаю весну; смело могу я открытому воздуху доверить то, что вырастил в оранжерее своего сознания. Довольно поливать потом своей сознательной мысли то, что не погибнет под небесным дождем. Нигде сознательность не бесполезнее, чем в вопросах интуитивного прозрения. И я доверяю своему чутью: на почве моей души я не знаю более вросшего и укоренившегося дерева, чем моя любимая философия, и нет ничего, что любил бы я в себе больше, чем философию. Не для того, чтобы отделаться, отхожу я от нее, а чтобы, как восторженный художник, полюбоваться на свое произведение издалека; пусть очертания неясны и расплывчаты, зато краски нежны и аромат тонок. Еще немного и наступит лето.

Вчера я долго беседовал с Э<сфирью> (сестра матери) о вопросах пафоса, физики, притяжений с организмами о том, что спокон веков воспевается поэтами, покровительствуется религиями, нормируется законодательствами, од-

ним словом, о животном, слишком животном: о половом вопросе. Я занимал слишком крайнюю позицию и до тех пор не удостоился ни разу услышать настоящее, не ехидное и не презрительное, не лицемерное и не подозрительное слово о святости: все лгут сознательно и бессознательно: Бог с ними! Рано или поздно я найду путь отряхнуть всю мерзость телесную и, если нужно, оставить этот мир, в пределах же его я люблю святость и хочу перекричать мощный голос природы, который страшнее, чем гром для верящих всуе. Заодно это первая проба для всякого, кто мнит себя философом и судьей над миром: без такого единоборства никто не может быть посвящен в философский сан: лишь победители судят.

Как могут все это понять, как могут считать эти слова символом действительности люди, обеими ногами стоящие на земле? (...)

**29.V.1910.** Я люблю свои мрачные настроения: сквозь мрачность, как сквозь черную решетку, смотрю я на мир, и мне нравится, как от него отгораживаться, быстро, быстро мельчают люди, и бестолковыми пятнами двигаются они на фоне сурового мира: Бог с ними совсем!

**7.VI.10.** В пятницу брат Исаак стал доктором права. (...)

**19.VI.10.** Вчера вечером уехала отсюда Э<сфирь><sup>8</sup>, с которой я за последние полгода изрядно времени провел и чей, естественно, образ занимал место в душе моей. Я ожидал найти больше, чем нашел: она — как все; Бог с ней. Ставлю †. Всегда ношу с собой свой заряженный револьвер: так хорошо. Не знаю, сколько еще я буду любить философию и красоту — только эту любовь мне нетрудно убить, потому что я люблю смерть как мудрость красоты и как красоту мудрости. (...)

---

<sup>8</sup> Эсфирь (Эстер) Эльяшева-Гурлянд, Вайсборг по второму браку (1878–1941) — сестра матери; доктор философии (Гейдельберг, Берн), сотрудница Еврейский энциклопедии на идиш, критик; директор и преподаватель Народного еврейского университета в Ковно.

**21.VI.1910.** Читаю Schelling'a и чувствую себя в родной стихии: так, вероятно, наследственные алкоголики чувствуют себя в тумане опьянения. С полным правом могу воскликнуть: *qualis arti fex peregrino*<sup>9</sup>. Ведь никто из окружающих и не подозревает, какими толстыми стенами окружил я замок своей души. Так современная фортификация имеет обыкновение не только возводить укрепление, но и делать его незаметным. Что я для окружающих меня? Нуль. Что они для меня? Десятки нулей. Кто же может ставить нуль в счет? Кто считается нулями, даже если они исчисляются десятками?

**23.VI.1910.** Вчера перевел стихотворение Nietzsche «Das trunkene Lied»<sup>10</sup>.

**24.VI.1910.** Чт<обы> не заб<ыть>: исходный пункт моей философии: Я — существую; существование многообразно. Законы формальной логики = требование судить подобно некоторым *qualifizir*'ованным суждениям (как: *sum*). Ничто = несуществ<ование> = полное однообразие. Воля к разнообразию = стремлению существовать.

**30.VI.1910.** В понедельник меня посетила глубокая мысль, удивительно связанная со всем моим мирозерцанием и намечающая путь к разрешению давно мучающего меня вопроса: как быть мне с наукой? Как ни последовательно заключение, вполне ее отрицающее, я все время чувствовал: нет, это не искренне! На этом я не могу остановиться. Как было помирить ценность истины с ценностью научной истины в широчайшем смысле слова, которая глубоко противна всему моему складу. Больше двух лет я от поры до времени принимался за эту проблему и каждый раз уходил измученный, изверившийся в возможность в пределах логики мыслить мир так, как мне кажется нужным и един-

<sup>9</sup> «Какой артист погибает!» (лат.) — последние слова, сказанные Нероном перед самоубийством.

<sup>10</sup> Стихотворение Ф. Ницше «Песня опьянения». «О человек! Проснись! / На что уходит жизнь? / Я спал, я спал, но вдруг / Увидел мир вокруг...».

ственно возможным его мыслить. Наконец, я решил выждать: будь что будет — решение должно прийти (...)

**10.VII.1910.** Heidelberg. Мне бесконечно трудно присутствовать при комедии, когда самому мне приходится разыгрывать роль: что же надо Ему от меня? Вопрос, который требует решения, как рана повязки.<sup>11</sup> Кое-кто называет меня декадентом: что же — это верно! Я ближе к закату нашей (!) культуры, чем те, кто так меня называют, но всякий конец ближе к новому началу, чем середина.

**28.VII.** <рисунок повешенного юноши>. Мне стыдно, что я одет, как все, и обедаю ежедневно и читаю книги и не сплю по ночам... Когда я начинаю в это вдумываться, я краснею до слез. О, если бы я мог от всего от этого избавиться!

**1.VIII.10.** Вчера мне удалось после сладостных размышлений снова подвинуться вперед по пути системы моих воззрений на мир или по пути моей философии. Важнейшие мои вопросы о согласованности логики и случайного бытия разрешаются в принципе через сведение всех законов логики и всех категорий собственно научных на отношения пространства, вернее, на законы плоскости. Нет истины, кроме геометрической, а она закон бытия. Не, как обыкновенно думают, закон бытия предметов или закон внешнего мира, который не реален и даже существует во времени и трехмерном пространстве, а истина геометрическая суть закон моего бытия или бытия сознания.

(...)

**3.VIII.1910.** Близ Heidelberg'a. Baden. Сегодня утром выехал из Heidelberg'a расширить горизонт. Буду пешком гулять по Schwarzwald'у.

**5.VIII.1910.** Titisee bei Freiburg. Превосходно!

**7.VIII.1910.** Возвратился в пятницу из Шварцвальда весь полный его чистыми зелеными вершинами и музыкой его природы. Превосходно! (...)

---

<sup>11</sup> *Гадость!*

2 ч<аса> 22 м<инут.> 8 д<ня> 8 мес<яца> 1910 года. Heidelberg, Baden, Deutschland, Europa, Erde.

**14.VIII.1910.** Teisha b-av<sup>12</sup>

Еще сегодня готов я жизнь свою отдать еврейскому народу, но разве это уж так много? (...)

**18.VIII.** Вчера просматривал свои старые бумаги: рефераты, доклады, стихи, прозу литературную — их возраст большею частью равен году и двум, и я поразился, как быстро я развиваюсь. Прошлогоднее заставляет меня краснеть, позапрошлогоднее уже только улыбаться... Что же я буду говорить через год о своем теперешнем настоящем? (...)

**23.VIII.** Вильно. 10 ч. утра. Вчера выехал из Ковны в Москву. Остановился здесь в гостях у Э<сфири> Э<льяшевой>-Г<урлянд>. Мне теперь не столько более понятна моя ошибка: здесь с Эстер живет ее маленький злой муж. Боже мой, как некритичен даже такой ясный женский ум, как ум тетушки! Я от души ее жалею и понимаю, в сколь многом она не виновата (...).

**24.VIII.1910.** Вечером. Рѣжица<sup>13</sup> (по пути в Москву). Проезжал Двинск, где я родился. Новое подтверждение: у меня нет родины.

**29.VIII.1910.** Воскр<есенье>. Москва. 25 вечером приехал сюда. «Все гавани, все пристани люблю, люблю равно» (Брюсов)<sup>14</sup>.

**30.VIII.** Москва. Занимаюсь философией. Читал Kant'a. Он все ж таки велик. Я должен окончательно его преодолеть, лишь тогда все мосты за мною будут сожжены, и будет один путь, вперед, несмотря на всю сумасбродность этой задачи, я думаю, она разрешима. Ведь я хочу

<sup>12</sup> 9-е Ава — День траура по поводу падения Иерусалима и разрушения Храмов: 1-го в 586 г. до н. э., 2-го в 70 г. н. э.

<sup>13</sup> Режица — в 1893–1917 гг. название города в Лифляндской губернии, ныне — Резекне в Латвии.

<sup>14</sup> 18.X.60: «Неколебимой истине Не верю я давно».

создать свой микрокосм — какое мне дело до «здорового разума»?

**1.IX.** Москва. Кремль.

Здесь красиво. Я очень люблю осень. Одним из моих оснований является описать мир, как он есть, и отделить от него все привнесенное и так понять творчество. Остается старый вопрос: отношение мыслей к объектам. Я вижу разрешение.

**7.IX.** Подвожу поэтические итоги: я без сожаления вычеркивал много дряни, однако и после такого просеивания я нашел до 30 стоящих номеров. А среди них много действительно хорошего.

**15.IX.** Одно сегодняшнее мое приключение, быть может, надолго отобьет у меня охоту стихотворствовать: становится еще скучнее.

**17.IX.** Трудно, Боже мой! Как трудно.

**22.IX.** Москва. «Мещерское подворье». Читал сегодня Брюсову свои стихи: он благосклонно к ним отнесся и отложил свое окончательное мнение до после внимательного с ними знакомства. Я ему оставил тетрадку, в которую списал то, что мне кажется более ценным. Брюсова высоко ставлю в ряду современных поэтов. А его личность мне приятна (...).

**1.X.1910.** Вчера весь день провел в посте и молитве: был Yom Ha-Kippurim<sup>15</sup>

Третьего дня была беседа с Брюсовым, который еще не отказался вынести окончательный приговор моим стихам. Во всяком случае, сказал он, его надежды оправдались: ничего нарушающего вкус, ничего совершенно неправильного он у меня не нашел. Он думает, что я еще слишком осторожен и потому не говорю всего, что мог бы сказать: о да! Это верно. На него произвела впечатление моя искренняя серьезность, и он уже после первого нашего свидания писал обо мне Петру Струве; он думает, что

<sup>15</sup> День поста, покаяния и отпущения грехов.

я сейчас мог бы быть полезен редактируемому им журналу «Русская мысль». Что я искренне серьезен, другими словами, что я искренне люблю философию, я уверен. В самых тягостных для сердца случаях (как вчера вечером) я нахожу в себе достаточно силы, чтобы вознестись над минутой и овладеть ею. Эти клады сил я черпаю только благодаря взаимности, оказываемой мне моей любимейшей Дамой Философией.

Вчера кипели речи родителей и брата (все очень возбудились) по поводу действительно неудачного выбора, сделанного братом 6 лет тому назад. Аристократ-отец, очень способная мать и по натуре честный брат возвратились на свои естественные позиции отчасти только благодаря мне<sup>16</sup>.

**13.X.1910.** Получил от него <Брюсова — Н. П.> назад свою данную ему тетрадку. Его критика не положит заметной грани в моем стихотворстве.

**17.X.10.** Москов<ско>-Виндаво-Рыбин<ская> жел. дорога. Сегодня утром выехал из Москвы, еду за границу. Я условно принят сотрудником «Русской мысли» по философской библиографии. За 50 дней, проведенных мною теперь в Москве, я часто встречался с Софьей Кантор, которой обещал писать.

**18.X.10.** Двинск. Еще раз: у меня нет родины. Того же дня 12 час. Важно: о непрерывности плоскости сознания. И воля только для мышления.

**21.X.10.** Ковно. 18 вечером приехал сюда. Самый благородный из поступков — мысль. Для памяти: человек человеку — государство.

**23.X.10.** Ковно. Суббота, вечер. Почему быт, вопреки всему моему недоброжелательству к нему, так меня занимает? Неужели я только шпион во вражеском лагере? Уберегу ли от судьбы предателя? Вопросы, на которые ближайшее будущее даст ответы.

<sup>16</sup> Споры в семье вызывало занятие Исаака политикой, а младший брат был не согласен с его ранней женитьбой.

Я все более и более становлюсь некрасивым, лицо мое как бы отражает идеальные противоречия и составлено как бы из разных кусков, а я совсем об этом не жалею. Вернее, почти совсем не жалею, покорный случайностям, именуемым законами психофизического параллелизма. Здесь все люди быта. Быт без Бытия.

**25.X.10.** Berlin, Thiergarten. Осень.

**8.XI.1910.** Вчера вечером приехал, сегодня устроился. Здесь старый приятель Рабинков<sup>17</sup>, мой учитель Талмуда.

**13.XI.1910.** Воскресенье. Heidelberg.

Вчера с 9 до 2 ч. *ночи* председательствовал на колониальном собрании. Поистине для меня загадка мое участие, больше — мое искреннее участие во всех этих «общественных» делах. Что я этим людям и что они мне? Из-за чего же я хлопочу? Сегодня отправил второе письмо Соне Кантор: вчера получил от нее ответ на мое первое. Между прочим, она спрашивает, правда ли, как ей кто-то сказал, что я в нее влюблен. Я ей ответил, что люблю ее просто и бескорыстно, а потому не может быть речи о влюбленности<sup>18</sup>. Некоторые стороны моей психофизики, действительно, заслуживают моего одобрения: так, например, мое настоящее искреннее человеческое отношение к женщинам, исключаящее все физическое. Мне было легко написать Кантор это, так же легко, как писать о любви своей к родственникам или добрым приятелям. Никто, как я, не может знать всей правдивости и легкости моей в этих делах; я же знаю и доволен. (...)

**21.XI.1910.** Сегодня пришло извести о смерти Толстого. Я мрачен и мне совсем не хочется жить.

**27.XI.** Я жажду какого-нибудь могучего дела, хотя бы убийства, хотя бы убийства самого себя: о, веселое дело!

---

<sup>17</sup> Залман Барух (далее — Соломон Гесселевич) Рабинков (1882–1941) — домашний учитель братьев Штейнберг в гимназические и университетские годы, популярный в Германии тамудист. См.: *Портнова Н.* «Господин Рабинков». Лехаим. 2010. № 1.

<sup>18</sup> *Это не более, как уловка: боялся оскорбить своим «нет».*



С 27-го на 28-е.

Мне хочется подвести хотя бы какие-нибудь итоги. Мне хочется чего-нибудь определенного, я хочу знать, где я, что я, зачем я — я не надеюсь теперь ни на что. Я совершенно не знаю своего будущего, своего настоящего; мое прошлое, и оно заволакивается туманом. Что я? Еще не родившаяся мелодия? Или два — три небрежно взятых аккорда? Кто мой Бог? Мой Творец? И почему Он вдохнул в меня сознание еще до того, как вылепил меня? Зачем одарил меня слухом, но сделал немым? Да, я чувствую, как сгибаюсь под бременем выношенных дум — и нету сил сбросить ношу. Плодовитой яблоне посылают осенние ветры, и они освобождают ее! Где же вы, мои осенние вихри? Боже мой! Боже мой!

А иногда я думаю: ты самый обыкновенный, несколько опередивший свои годы девятнадцатилетний мальчик, который слишком самолюбив и тщеславен, чтоб удовлетвориться своим естественным положением собирателя сил для будущей более или менее обыкновенной жизни человека в Европе XX века; ты самый обыкновенный способный юноша, несколько лирически, несколько пессимистически настроенный, как и все способные юноши твоих лет; ты самый обыкновенный хороший адвокат, журналист, публицист *in spe*<sup>19</sup>; но тебе хочется сейчас быть там, где тебе быть еще по всем человеческим правилам не подлежит — хочется и не может, ты вот и недоулен (...)

### 21.XII.1910. Heidelberg

Сегодня ровно два года, как я начал вести этот дневник; и мне кажется, что за эти два года я сильно вырос (...) Я знаю себя сложного, каким не ожидал верно узнать даже еще только год тому назад. Мне потому очень трудно. И предо мной трудная задача отсечь себе крылья. Может быть, мне это и не удастся, но тогда, я в этом уверен, все глуби-

<sup>19</sup> Для вида, под видом (*лат.*).

ны, которые я чувствую в себе, измельчают, как разлившаяся река. Я должен что-нибудь в себе избрать жертвой; а мне больно от одной этой мысли. И как охотно бы я согласилась бы я совсем не быть, но не хочу теперь в этот мирный час касаться своей раны. Хорошо, что я достиг такого понимания своего места в Нем (...).

Тот же день.

В записи от 13.XI писал о Соне Кантор и о моем ответе на ее вопрос: люблю ли ее. В переписке моей с ней по поводу этого я защищал общие положения, которым, в сущности, хотел лишь задрапировать свое «нет»; я старался убедить ее, что почетнее вызвать чувство дружелюбия, чем чувство влюбленности — это ложь. Кроме «влюбленности» в обыкновенном смысле, есть влюбленность — непосредственное влечение к душевному общению, влечение страстное и бурное. Конечно, для меня это значит найти себе равного или равную, и я слишком многое требую для себя, чтобы считать обычных людей себе равными, но у меня все же есть предчувствие таких чувств, с которыми мое благожелательное отношение к некоторым людям, в том числе, к Кантор, не имеет ничего общего. Я сознательно<sup>20</sup> лгал, когда выставлял перед ней дилемму: «или дружба или чувственная любовь». Но я никогда ни одному человеку не скажу, что не считаю его совершенством. Потому что никто не может поверить, что я глубоко тоскую по такому истинному совершенству, и всякий просто оскорбится таким моим отношением. Любопытно, что К. инстинктивно чувствовала всю неправду моих слов, но стеснялась досказать до конца свое убеждение, что я попросту не считаю ее достойной. От той, которую я назову себе равной, я требую того же, что требую от себя: того, чего я не только до сих пор не встречал в своей окружности, но того, чего я до сих пор не встречал во всей человеческой истории и литературе. Тема: «Люблю свое детство».

---

<sup>20</sup> *Клевета!*

**3.I.911.** Heidelberg, вторник.

Последние недели занимался теориями новейшей геометрии. Отовсюду стекаются доказательства правильности основной моей точки зрения.

Того же дня. Сейчас прочитал отрывок из студенческого дневника Schopenhauer'a за 1813 год. Удивительно: некоторые места почти дословно совпадают с моими заметками и мыслями. Особенно то, что он говорит об органическом росте философской системы. Неужели это только случайное совпадение?

**Ночь с 9-го на 10-е I. 1911.**

Хотел бы сжечь все, что до сегодня называл моим. Я придумал сейчас веселое слово «индуктивная смерть». Мысли самые простые строятся в анапесты. Я хочу, я хочу унести... навсегда! (...)

Когда я сделаюсь знаменитым романистом, я женюсь, чтобы меня больше уважали, и выставляю свою кандидатуру в капитан-генералы Архипелага и Малой Азии, а евреям подарю Палестину, это в честь их заслуг по производству меня. Я вообще очень благодарен всем.

**14–15.II.1911.**

Тяжелый мучительный день. Я никого не люблю и всем до боли сочувствую.

**21.II.1911.** Москва. Рум<янцевская> Биб<лиотека>

За последние две недели часто встречался с С. К., а еще спорят против реальности психического: С. К. — только психика (...).

**28.II.1911.** Надо безжалостно убивать свое прошлое, схематизируя его и распределяя по шаблонам: я так и делаю. Со второго дневника прошлого года режу себя на куски. У! Как ненавижу себя! Гадина!

**15.III.1911.** Москва. Сокольники. Тихо, снег, превосходно. Приехал сюда помолиться Mincha<sup>21</sup>. Я один.

<sup>21</sup> Минха — послеполуденная молитва.

---

**17.ІІІ.10** час. Веч<ерняя> Москва. Недавно вернулся из-за города: пустыня, снежная окрест<ность>, люблю, люблю я божий снег; в душе лучистый благовест, на небе звезды! У меня сердце разрывалось от этой красоты, и я прослезился. С. К. мне чужда, сегодня выяснилось.

**20.ІІІ.1911.** Сегодня утром выехал из Москвы в Италию на Философский конгресс. За шесть недель, проведенных мною теперь в Москве, я много времени потратил на практические занятия по психософии любви: время не пропало для меня даром (...).

---

### DIARY 3

**7 июня 1911 г.** Heidelberg. Untere-Nackarstr., 42

Сейчас прочитал свою последнюю запись от 10 мая в прошлой тетради, и мороз пробежал по коже. Снова целый месяц старался обо всем этом не думать, но нельзя скрыться в своей собственной душе. Я набрал работы без конца, чтобы спешить с утра до вечера: пишу диссертацию по государственному праву России, служу по выборам в колонии, много встречаюсь с людьми <главным образом, Евг<ения> Андр<еевна><sup>22</sup> и по-прежнему Раб<инков>, переписываюсь, углубляюсь в частные философские проблемы, но мне только от поры до времени удается отогнать грусть, которая накидывает на весь мне видимый мир в буквальном смысле черную вуаль. На днях брат сдал государственные экзамены в России, и мало ли что случается: я совершенно ко всему в глубине души равнодушен. Вчера весь день провел с симпатичными людьми, но когда в высокой густой траве я совершенно успокаивался, больно зажигалась все та же неотступная мысль. Я не могу совладать со своим сочув-

---

<sup>22</sup> Евгения Андреевна Романова-Камкова, мать В. Б. Камкова

ствием, но я злой, очень злой и испорченный человек, с огромной чувственностью и с неутомимой фантазией. И то, и другое мне совершенно безразлично, и если я удачно борюсь со вторым, то только потому, что я хочу свое мнение сделать мнением моей природы и победа мне важнее ее плодов, но стальная природа моей добродетели вызывает мою ненависть столь же жгучую. Все удивляются моему умению проникать в души; в 20 лет у человека не может быть опыта — думают все. Да, но если я и мало еще видел людей, то я знаю, что много видел себя, а во мне разнородного столько, что я долго еще сумею открывать неизвестные мне в себе стороны. Боже мой! Боже мой! Много ценных мыслей пришло мне в последний месяц: о двух родах ассоциаций, которые, благодаря моему основному взгляду, сводятся к одному: ассоциации по сходству = ассоциации по смежности, и по смежности исключительно пространственной, плоскостной. Простейший элемент психической жизни — неделимое настоящее. Истина = несовершенству = однообразию, что совершенно согласно с основной моей точкой зрения. Философию горячо по-прежнему люблю (...).

#### **Утро с 8-го на 9-е июля 1911 г.**

5 часов. Сейчас возвратился с русского бала, где присутствовал по «долгу службы» (я заведую Читальней); пора спать, но мне хочется еще записать о представлениях, как о существующих всегда в пространстве трех измерений (бледных во лжи его) или в двух (ярких, как двухизмеренный сознательный мир). Отпадает моя проблема о двух плоскостях, продолжающих друг дружку. Мне вообще пора бы покончить со всем этим предрассудочным миром (так! — Н. П.). Пусть вера в смерть была бы последним из моих предрассудков. Я бы, быть может, сейчас это сделал. Я теперь спокоен и жажду ее, как освежающей прохлады, но несколько выпитых бокалов шампанского вызывают ассоциации, которые опять меня оскорбляют: целая сеть предрассудков! Добиться нравственного совер-

шенства — может быть, это — путь к ее преодолению. Но, Боже мой, ведь так можно задохнуться. Но ведь напечаталась моя статейка о журнале «Logos» в московской «Русской мысли»<sup>23</sup> — я даже был несколько минут чем-то доволен, жалкий!

Небо хочет равнодушия,  
(Так бездушен звездный свет!)  
Небо! Небо! Не нарушу я  
Лучезарный твой завет!

Больше года, как я писал эти стихи (нет, меньше года), пора бы, хотя б на шаг, подвинуться к своей программе — но что я сделал за это время?

Не терплю в себе слабости. Меня не может утешить, что это — последняя трудность на земле. То, что я хочу, должно быть исполнено, ибо я хочу только то, что может быть исполнено. Я хочу, значит это будет, ибо я хочу только то, что будет. Напрасно боюсь я громко это себе сказать (...).

**Воскресенье. 11.XII.1911.** По-прежнему — Москва. За эту неделю много уладилось в делах: слава судьбе! Я уже собираюсь в обратный путь. Время в Москве прошло с большой пользой для моей опытности. Бывал на докладах, выставках, у людей. Одного удивительного момента я достиг в юр<идическом> обществе во время речи Китляра<евско-го><sup>24</sup> — этот опыт следует повторять. По поводу своих людских встреч я заметил в себе перемену: за последние 8–9 месяцев сделал еще шаг к высотам холодности: благодарю судьбу.

<sup>23</sup> Философия и культура: Русская Мысль. 1912. V.

<sup>24</sup> Сергей Андреевич Котляревский (1873–1939) — юрист-государствовед, историк, публицист, теоретик конституционного государства. А. Штейнберг получил звание доктора права, представив диссертацию «Das Zweikammersystem und seine Gestaltung im Russischen Reiche» («Двухпалатная система и ее формирование в Российской империи». 1913).

И о влюбленности я снова узнал новое: я так ясно чувствую глубины своего знания и скрытые в них сокровища, что уже никогда не уйду с берегов своей души.

**Воскрес<енье> 18.XII.** Петербург, Финляндский вокзал.

В четверг вечером выехал из Москвы сюда; здесь я с пятницы (19/XII) о нескольких самонаблюдениях напишу, верно, еще на днях.

В тот же день вечером. Шувалово. Приехал сюда, в Пб, чтобы повидаться с Эсфирью: какие удивительные несоответствия бывают в этом законнейшем из миров! (...) 5 часов вечера под Ковно. Непременно написать задуманный этой ночью рассказ!

**Понедельник 26.XII.1911.** Николаевская ж. д. Под Тверью. Вчера вечером покинул Петербург. Еду в Москву. Милая, дорогая Эсфирь (...).

Это уже непременно надо записать. Ходил по заброшенной пустынной станции; совершенно безлюдно. Когда я отошел подальше от последнего тусклого фонаря, широкое, все забрызганное звездами небо вдруг развернулось передо мной, и я невольно потянулся к нему губами и поцеловал его. Это счастье.

Та же среда 5 ч. вч. Под Ковно. Непременно написать задуманный этой ночью рассказ!

**16-го по ст. ст. 1912 — 29 января по нов. ст. Heidelberg.** Понедельник.

Здесь я с прошлого понедельника. Очень интересовался выборами<sup>25</sup>. Теперь хочу непременно покончить с диссерт<ацией> и юридич<еским> экзаменом. Занимаюсь и философией (с увлечением). Хочу записать, что ясно стало мне в дороге сюда, когда стали выступать очертания созвездий: философский смысл женского соблазна — вера в трансцендентность, но и он преодолим в познании и в жизни (...).

<sup>25</sup> Имеются в виду выборы заведующего Русской библиотекой («Пироговской читальней»).



**Вторник, 20.II.** Fasching<sup>26</sup>. На среду. Интересные опыты в воскресенье в Mannheim'e: я рад своим успехам<sup>27</sup>. В воскресенье же читал доклад, основная мысль которого: «находит лишь тот, кто не ищет», — конечно, никто так и не понял. Ясность души и широта горизонта — явления того же порядка — от ясности и широты до пустынности и миражей один только скачок — потому я люблю и сплел удобный для петли ремень и револьвер — авось пригодятся! Боже, неужели мудрость, о которой я так молился всего лишь 15 лет тому назад, уже наступает? Люблю тебя, Бог! Я весь и всецело Твой. Теперь на небе яркие звезды и во мне они сияют. Впереди меня ждет — еще и еще минуту — строгое светлое молчание.

**Четверг. Утром. 22.II.**

Я еще не умыт, но непременно хочу записать сегодняшнее решение: я последние месяцы опять для себя незаметно попал к пустякам в зависимость. Я много считался со своей любовью, и со своими вкусами, и с людьми, с самыми жалкими автоматами, когда-либо изобретенными. Довольно!

Уже не раз и особенно часто в последние недели, я начинал ощущать эту тошнотворную пустоту и мало, по-моему, понял, в чем дело. В прошлый четверг в горах, в пятницу на шумной площади, еще раньше — на концерте, а затем в воскресенье на карнавале и на своем докладе и еще в понедельник на набережной, и сегодня, и вчера во сне я думал об одном и том же: я был лучше! Когда я вот уже скоро два года в этом Heidelberg'e горько плакал, моля о смерти моего Единственного Друга; мне было лучше, когда я прошлой весной в Tivoli едва удержался, чтобы не потонуть в водопаде, могучем и красивом; я был лучше, когда пять лет тому назад не стыдился своего черного мрака в душе и не старался играть вечную комедию. Тогда я был чаще с самим собой,

<sup>26</sup> Der Fasching (нем.) — карнавал.

<sup>27</sup> Несмотря на недоверие к психологии, Штейнберг принимал участие в психоаналитических опытах, проводившихся в Манхейме, городке вблизи Гейдельберга.

и мне было полезно смотреться в свою собственную глубину. А потом пошел мой спешный рост в гору, когда я начал, много и быстро, чуть ли не все понимать. Прояснилось. Дело дошло до стихов — негодный! — и до жалкого самодовольства. Еще позже и это осталось позади, я стал иронизировать и над белым, и над пестрым, и над черным.

Теперь я почти повернул к быту. Довольно. Сегодня я твердо знаю, что все это, все далеко позади. Толпа моих друзей: тот хороший черный 15-летний мальчик, и heidelberg'ский лирик, и римский гордец, и друг женщины<sup>28</sup> и серьезный студент, — всех их провожаю улыбкой, да мы были когда-то знакомы! О, это было хорошее время! Что поделаешь — все течет, все изменяется — заходите, навещайте! Я остаюсь один. Без жалости провожу две черные черты накрест через все прошлое. Мне легко, горько и высоко. По-прежнему люблю свою толпу друзей и друзей моих друзей — но их уже нет, и я их грустно люблю. Будущего нет.

**На понедельник 26.II.** И вчера Vach с его Страстями Господними и сегодня Nielsen с ее бутафорией<sup>29</sup> — так внятно зовут меня: к делу! Я до слез любил вчера Христа. Большая серьезность овладевает мною — пошли мне силы! Наступает время больших трудов. Как мне понятен и близок дорогой Владимир Соловьев! Охватывает тревога решительности. Я должен сделать все, что могу — а я знаю — я многое могу. Я весь, весь Твой (...).

**Среда, 13.III.** Karlsruhe, Королевский парк, 2 ч. попол<удни>. Тогда все кончилось припадком горечи и бессонной ночью, и я, несмотря ни на что, продолжаю жить. Сегодня подал прошение об отсрочке военной службы, которую

<sup>28</sup> Точное замечание о себе: К. Эрберг в своей шуточной поэме именно так изобразил Штейнберга: «Как бы ни было, плененный / И системою прельщенный, / Дух его не хочет воли, /Хоть влюбился бы он, что ли!» (Белоус. II. 745).

<sup>29</sup> Аста Нилсен (1881–1972) — датская артистка немого кино, создала образ демонической роковой женщины. Впервые снялась в 1910 г., с 1911-го жила в Германии.

хочу отбывать вольноопределяющимся. Армия меня привлекает.

**Среда 27.III.** На той неделе — важное решение: мне бывает больно от моей серьезности; хороший солдат нередко оказывается плохим стрелком — это следует принять во внимание. Будет то, что должно быть.

**Понедельник 15.IV.1912.** Neil<der>b<er>g.

На этой неделе получились мартов<ские> книжки «Журнал<ала> Минист<ерства> Юстиции» с моей статьей «Конституционная жизнь и юридический метод». Я внимательно ее прочел и не мог никак найти какую-либо связь между мной и этими мыслями; как будто я все время кому-то подражаю. Много гуляю, немного продолжаю готовиться к экзамену. Долго не думал о себе. Пусть так.

**Понедельник. 22.IV.**

Я до сих пор самоучкой учился в школах — буду так продолжать; интересное было вчера после «Орестей»<sup>30</sup> в Mannheim'е угрызение физиологической совести. Несколько позже после чтения газет. В стране неограниченных возможностей люди поневоле превращаются или в озлобленных волков, или в наивных детей. Как человек смотрит на мир, так мир смотрит на него: глаза!

**Пятница, 26-го апр<еля> 1912.**

Это все гораздо проще, нежели я думаю: от одного к двум столько же шагов, сколько ни от одного ни к кому.

**Пятница, 10-го мая.** Вчера слушал VIII симфонию Mahler'a: как возвышенно! Что в сравнении с этим все земное величие?! Сегодня дописал стихотворение «Нет тайных помыслов...»

**20-го июня.** Нет, мне от себя не уйти. Всего сорок дней, а мой проклятый круг уже снова завершен — я на том же месте: удастся ли мне завтра застрелиться? (...)

**17.X.1912.** Значит, я здесь уже целый месяц! Как мало я однако успел в своих юридических занятиях. Впрочем, были

<sup>30</sup> Театр в Мангейме ставил «Орестею» Эсхила.

свои причины: праздники, простуда, съезд международно-го права и мой отчет о нем и некоторая усталость. Теперь заниматься и заниматься! Сердце мое рвется к философии — от Э<сфири> получил совсем нежные письма, и я тоже пишу ей совсем нежно: мы очень, очень любим друг друга. Последнее время много встречаюсь со всякими людьми: какие они все слабые и бессознательные, трудно даже объяснить им это. У меня много планов, но на время все откладываю в сторону? Ну, милый, смотри, будь юристом! (...)

**10.XI.1912.** Ну да, конечно! Дирижер всегда стоит спиной к публике и поворачивается к ней лицом только тогда, когда раскланивается. Люблю Эстер.

**1.II.1913.**

Об этих месяцах не стану рассказывать. Было много важного и не напрасно беспокойно было сердце (сдал, между прочим, диссертацию, готовлюсь к устному экзамену). Почему как раз сегодня взял я в руки перо, чтобы приписать сюда несколько ненужных строк, не знаю и не думаю. Путь к смерти все удлиняется. Люди? Да, они милые и никому не вредят — среди них я чужой и привык к этому. Как не любить Бога? Несколько раз (при звездах) слагал стихи, уже забыл, как и о чем. Нельзя сказать, чтобы я был злым и не любил светлой нежности, но помыслы мои не там, где счастливое благоволение и легкая любовь. Что такое счастье? Отречение от суеты? Не быть собой? Не быть? Боже, Ты знаешь, не моя воля совершается, а Твоя, и да свершится до конца всех концов. Как быть? Верить ли сердцу? Бедный Арон! Мне невозможно пожалеть тебя: ты сам предназначтал себе свой путь, все, кто рядом с тобой, уже в стороне от тебя, и не по большой дороге влечет тебя судьба. Но это непреложно. Хорошие, милые, всем, всем от души желаю счастья.

**Ночь с 2-го на 3-е апреля. 1913. Heidelberg**

Несколько раз за эти два месяца вспоминал об этой тетрадке, но я привык молчать, а писать — это то же, что говорить вслух. Сегодня хочется вслух напомнить себе, что

эти два месяца не отдалили меня от нужного. Участь моя меня не тревожит, и я твердо знаю, что все будет и должно быть хорошо. Собираюсь в Россию (сдавать государств<енные> экзамены). Больше месяца, как сдал докторский юридический экзамен. К философии близок, к людям тоже, но я с ними — не ради них.

**Петербург. Садовая 65.20. 30 апреля. Вторник (1913)**

Дни безграничной нежности. Как я люблю ее. О, Господи!

**Среда (на четверг). Чудная, чудная!**

**Среда 17 июля.** Все там же. Эти месяцы — как много свершилось за это время; что сказать? С чего начать? Пришла ли пора? — Нет, я не в силах пока говорить толпе, долгие месяцы... О, Господи! Несмотря на все, я по-прежнему один, быть может, больше, чем когда-либо раньше. Плохо ли, хорошо ли? Но не для счастья я на земле, зачем же? Зачем я здесь? Если всегда оставаться одному, что впереди? О, если бы не быть. Всегда, всюду одни скорбные вопросы. О чем молиться тебе, о Господи! О силе, о бессилии, о радости последнего суда ли? Я ничего, ничего не знаю. Боже мой, как тяжело! и стыдно.

**Со вторника на среду, 31 июля, 1913 г.** СПб. Садовая, 65, кв. 19.

Отрекаюсь от себя еще раз — и безвозвратно. Все свое прошлое, все, в чем до сих пор был замешан, все, к чему причастен, — трижды проклиная. Ненавижу себя холодно и откровенно. Господи! Казни, казни меня, побей камнями, искалечь, обезобразь. Все покорно и радостно на себя принимаю. Сегодня Tejscha b-av — я вправе требовать себя, как жертвы. О, Господи, будь моим жрецом. Я бесконечно достоин Твоей казни и Твоего гнева. Меня, меня одного прошу Тебя, о Боже, казни и не милуй. О, какое счастье было б погибнуть от Твоей руки! О, какая радость! Сердце верит и надеется. Благодарю Тебя, о, Господи!

**14 октября 1914 г.** Baden-Baden. Hotel Bristol. В ночь на 15-е. Сегодня столетие со дня рождения Лермонтова. Юби-

ляр — лучший друг моего детства<sup>31</sup>. Многое всколыхнулось. Как-то вдруг я снова уловил выскользнувшую было нить. Я снова юн, как в первые годы гордого детства, и снова полон светлой веры. Пусть это будет вступлением к дальнейшей повести мимотекущей жизни.

**6.I.1915.** Bad. Rappenau. Hotel “Zum deutsche Kaiser”. Salinestr. 145. 6 ч. веч<ера> (нов. ст.)

**7.I.** 6 ч. веч. Новая жизнь.

10 ч. веч. Читал сейчас Е. Т. А. Hoffman'a и не знаю, каким путем, дошел до того, что чувствую необходимость обозреть вкратце последние два года<sup>32</sup>. Последняя запись в этой тетрадке от прошлого периода — от 2-го IV.1913.

**10.I.** Там же, 2 ч. дня. Никак не удастся написать. Последнею записью «прошлого» периода я назвал 2 апреля 1913 г. С тех пор прошло около двух лет — как мало и как много! Я хотел бы выяснить для себя самого характер «кривизны» этого последнего отрезка моего жизненного пути, выяснить математически точно, как астрономы определяют пути планет. Одно для меня несомненно: мой путь непрерывен, и я двигаюсь поступательно — но куда? Очень серьезный вопрос. Прочитал на днях эту тетрадку от начала. Скоро 4 года, как я от поры до времени к ней возвращаюсь и, несмотря на все события, я ясно вижу, что я — один и тот же. Дневник этот я веду шесть с половиною лет, и чем дальше, тем реже к нему возвращаюсь. За четыре последних года — всего сорок страничек, за два первых — две целых тетрадки (I—II).

Но мне вредно мало «думать» о себе, я никогда не думаю о дурном, и чем словеснее думаю, тем лучше. Чем же объяс-

<sup>31</sup> В. Брюсов, познакомившись со стихами Штейнберга, указал на влияние: «конечно, вы не осознаете этого, у вас настроение это естественное, но вы явно ему подражаете. Михаил Юрьевич сто лет тому назад до вас выразил...»: ЛА. 42.

<sup>32</sup> Эрнст Теодор Амадей Гоффман (1776—1822) — немецкий писатель-романтик. Неудачник в жизни, ненавидящий свою службу и мещанское окружение, автор фантастических гротесков вызвал желание «обозреть» собственный опыт последнего времени.

нить это периодическое молчание, чем объяснить это косноязычие, которое вот сейчас так очевидно, когда я заговорил, вернее, попытался заговорить на собственные темы? Я знаю ответ. Мне легче думать о себе, чем писать, потому что мысли мои фантастичны и частичны — в выяснении же я должен быть прост, логичен и сух. Одним словом, в последние два года я отдавался исключительно настроениям, хотя нередко и философским, но я инстинктивно боялся ясного единства сознания.

(...)

**3.II.15.** Но не стоит продолжать. Когда-нибудь я попытаюсь подробно рассказать, как все это было. Мой нежный и необыкновенный роман открыл мне целый мир сказочных увлечений. Я могу с правом говорить уверенно о многом в себе. И еще раз я доказал себе, что я исправим и видел себя в будущем. Я писал (17.IX.12): «я знаю: одному человеку я мог бы составить счастье на всю жизнь». Да, я это знал. Я чувствовал всю силу любви и нежности, на которую я способен, и я не обманулся. Эсфирь нашла во мне верного друга и на всю жизнь. И я клянусь Господом, что не оставлю ее никогда. И я не ошибался, когда предсказывал себе холодное одиночество». И с Эсфирью я один, потому что я один. Я с нею. Мое воображение еще сильнее, чем я думал, я думаю — животворяще. Уже пять месяцев, как я разобрался с Э., но сердце мое с нею, и она все время со мною. Пусть эти два года были только годами нежности, я все же и за это время далеко ушел вперед. Есть прочное сознание внутренней силы и нравственной бодрости. Мне близки люди чистой воли, и я искренне люблю в эти дни Фихте. Пусть все нравственное, за пределами истины, но я сам никогда не могу оказаться за ее оградой и все, что в сознании моем ясно, истинно и вечно. Сознание же мое ясно и безгрешно. Все больше проясняются и расширяются мои горизонты. День удлиняется, приближается лето. Все внятнее доносится знойное дуновение палящего света. Все перегорит, что должно еще во мне перегореть, и ослепительно засияет чистый огонь. Я полон фи-

лософской веры и бодрости. Никому не могу себя уступить. Таким гордым и повелительным я не был еще никогда, даже в первые годы своего философского служения; тогда я предугадывал, теперь я знаю — моя первая любовь будет последней, и мудрости я уже никогда не изменю. Как труден мой путь! Но каким прямым и подлинным я вижу его перед собою. Бог мне на помощь! Как я спокоен за себя, как безмятежно гляжу в будущее, которое уже со мною. Я остановлю время, я возведу неподвижность в таком мироздании, я превращу миры в единство Вневременности. Не для того ли послал меня Господь сюда? Не за тем ли я жил здесь, как все живут? Господи, Господи, да будешь Ты один! Как конечен, как совершенен мир! Как прекрасна глубина. Молчит разум и сердце, и будущее — передо мной. Господи, Господи!

**Воскр<есенье>, 28 марта нов. ст. 1915.** Rappenaau.

О многом надо мне серьезно поговорить с собою, многое выяснить. Почти бесследно пройдет для меня год войны. Мне не удалось участвовать в ней лично, как мечтал я о том с детства. Все, что я узнаю о Европе в эти месяцы, мало отличается от моих с юношества трагических и пессимистических взглядов на людские взаимоотношения и добродетели. В своей собственной примиренности со смертью я тоже никогда серьезно не сомневался. Если я еще иногда возмущаюсь, я знаю: это атавизм и слабость и в лучшем случае, силлогизм чувств и общепринятости. Но послышки совести мимолетны, как ветер. Война нравственно далека от меня, и я не приблизился бы к ней ни на шаг и не проникся бы духом и даже, если бы оделся солдатский мундир и засел в окопах. История современности — полустихийность, полумудрствование — в ней нет ни мудрой стихийности, ни стихийной мудрости. А будущее не предвещает ничего хорошего — все новые слова оказались мобилизованными в одном и том же смысле и на своих насиженных местах остались лишь самые негодные. Дорога истории идет под гору, и на этот раз наклон почти отвесен. Какое же дело моему Господу до этих людей и до этой Европы? Глубины моей души остаются в стороне.



Все мои симпатии, все мои горячие желания — поверхностная зыбь. Я по-прежнему не могу выйти из собственных пределов. По-прежнему мой мир — из прозрачного льда. А как часто я забываю об этом, как часто забываю о себе и об истине. Господи, как мне холодно! Когда я так говорю, я все начинаю видеть ясно и сразу все перестаю любить, даже свою любовь, даже свою мудрость. Вместо непроницаемости — прозрачность. Вместо глубины и проникновенности — призрачность и беспросветная ясность. Таков мир, такова истина.

Решил написать свое завещание<sup>33</sup>. Некоторые бумаги и письма не должны попасть в руки к непосвященным, и я хочу или уничтожить их или же, если бы мне это не удалось своевременно, правильно о них распорядиться.

(...)

**29.VII.1915.** Rappenaу.

Работа над собой! Я не показываю себя, как неотделанное стихотворение, как мрамор, в котором едва-едва лишь намечилась цельность замысла.

**Суббота, 19 августа** 11 час. вечера **1916 г.** Rappenaу, Salinestr. 145

Читая сейчас свои старые записи. Есть какая-то непреклонность в этих порывистых самонаблюдениях. Постарюсь теперь чаще записывать. Впрочем, со вторника.

II—I до 12 сего августа есть XVI записей в другой тетради, куда я хотел заносить всякие «объективные» события, но эта попытка разграничить компетенции бессмысленна как будто. Буду писать, как пишется: и там, и здесь. Пора, действительно, ликвидировать мою пору бессознательности, хотя бы из одних «экономических» соображений: если время нереально, зачем жить в этой обманчивой суете,

<sup>33</sup> В Архиве хранится это «Завещание» 1915 г. по-русски и по-немецки: «Эсфири Захарьевне Гуриянд, урожд. Эльяшевой», передается «в неприкосновенном виде пакет вещей и бумаг»: «в смерти моей прошу никого не винить».

а если оно грех, то грешно его тратить по пустякам. Одним словом — побольше философии.

### **Со среды на четверг 7-го XII.1916.**

Все еще война и Rappenaу. В большой тетради теперь уже XX записей, последняя — от 30.XI. Сейчас читал Jean Christoph'a и в юноше узнал много знакомых черт<sup>34</sup> (...) Я сам усомнился бы в своих воспоминаниях о себе, каким я был несколько лет тому назад, если бы не имел сейчас перед глазами своей записи от 29-го XI 1910 в прошлой тетрадке на стр. 60—62. Эти шесть лет не опровергли меня. Я созреваю до «осенних вихрей».

### **С 10-го на 11 января 17.**

Два слова о мыслях последних дней: бесконечность пространства — изнанка его бесконечной делимости. Вопрос о Небытии в Бытии (время) — то же, что первое замутнение всемогущественной прозрачности. Пройденность всех путей в бытийственной истине и, отсюда — взаимопроницаемость и прозрачность, от смешения бытия с небытием — быть тем, а не иным — т. е. от времени. Время не столько не реальность, сколько принцип смешения «да» и «нет». Бог как основа нереальности. Возвращение к Истине как познание Божественной Потусторонности — его Не-бытие. Отсюда в мире сдвинутом, замутненном — без Бога ни до порога, т. е. шагу ступить (поступать) нельзя (...).

### **5. II.1917.**

Последние дни, как часто за эти годы войны, политика и судьбы Европы всецело завладело сценой моих мыслей. «Война с Америкой» — «субмарины» и т. д. Вчера бродил среди заснеженного леса, разглядывал заячьи следы, зелено-белые ели, раздумывал над тем, почему я не кантианец, почему в музее философии я не нахожу себе ничего по вкусу, к чему влечет меня моя неизменная любовь — любовь к Истине, наблюдал, как мороз и лес и молочно-голу-

<sup>34</sup> Жан-Кристоф — герой 10-томной эпопеи Р. Роллана (1904—1912), композитор, наделенный бунтарским духом, отдает себя человечеству.

бые дали и разбежавшиеся врассыпную по близким просторам яблони, — как все это хороводно окружило мои мысли, и как мысли мои выступали просто и природно в этом спокойном радостном кругу. Эстетический пантеизм и религиозное проникновение в природную жизнь («все одна тайна» — Достоевский, Подросток) — это две стороны одного и того же: целостного восприятия жизни, где нет двух действий: я и мир. Где мир сверхличен, где личность сверхмирна. Есть снега, тропинки, линии, которые больше, чем многие чувства, хрустящие, как хворост, чем мысли, как обломанные и засохшие ветки, чем желания, навязчивые, как шипы подорожного терновника. В мире должна быть сохранена перспектива, но близкое и далекое, великое и ничтожное, важное и пресмыкающееся выступает отчетливо не в кругозоре, а в созерцании куполообразном. Небо не покрывает землю, как колпак. Человек не стоит на земле, а, отдыхая в воздухе, в нее лишь как бы упирается. Как неправильно поэтому говорить о «вчувствовании» в предметы. Душа живет не в вещах, а в рассеянии среди вещей. Для сверхмерности и для сверхличности, для философии в мировых просторах «душевности и предметности» живут в пространственной согласии. Вся ошибка пантеизма в том, что пространственность для него лишь атрибут. И даже тогда, когда обожествляются не сами вещи в пространстве, а лишь отношение к вещам, сознание вещей — и тогда сознание все еще только атрибут. Не вещи божественные для Франсиска, а его любовь к вещам, но и этот свет любовный лишь луч, пронизывающий мрак вещей, как тень Божества, пространственной пустоты. Субстанция истинная светла во всех ее атрибутах, и не может для нее быть теневой стороны, ибо она всесторонняя. Примат сознания и любви в пантеизме есть викариат вещей и пространства<sup>35</sup>, а потому даже двойной грех. Истинная реаль-

<sup>35</sup> Здесь: замещение одного другим, образовавшимся из общего корня. Сближение человека с растением («метаморфоз») Штейнберг показал

ность не должна расцениваться, а только подразделяться, и нет уже проблемы Всебожественности как изнанки проблемы душевноприродности. Чувство отличается от бессердечного камня не больше, чем два оттенка голубого цветка. Приятие человеком божества это признание убожества природы, это вознесение человека над крестом, на котором он распят, это учащение света всеместного. Если душевное внеприродно, тогда Бог — внутрипределен (пантеизм), если же и душа, и природа внутривпространственны, тогда Он — запределен!

Теизм не опровержение, а исправление пантеизма, освобождение его от ложного противопоставления душевного и природного и приятие его согласования того и другого в одном едином (и непрерывном, но перемежающемся!) царстве пространственной и вневременной упорядоченности. Эстетика пантеизма сохраняется, его теология исключается, но зато тем более укрепляется его онтология — и открывается шарообразная перспектива единства и множественности, бытия и сознания.

В моей философии, конечно, остается место для физики, но место скромное, хотя и истоптанное, и заезженное. Говорят о «процессе» физического познания, но в уголовном процессе можно было избавиться, хотя бы до известной степени, от пытки, а как обойдется физика без опыта? Шаг к бесконечному — это «шаг на месте», но топтаться на месте не значит двигаться. Монополизировать подряд на порядок может философия и ее математика, но не физика и биология. Как можно попытаться Логоса жизни, наперед заглушив ее голос? Выполнить дело это значит разделить полноту, вот почему познание — не дело, а созерцание. «Имеющие очи да видят!»<sup>36</sup>

Так, играя, я рассказываю о том, что глубоко меня волнуют, покуда на поверхности злободневная зыбь и истори-

---

в рассказе «Другой Михайлов» (Новый мир. № 8. 2015. С. 112–117).

<sup>36</sup> «Имеющий уши, да услышит, имеющий глаза да увидит» (Евангелие от Матфея 11:15).

ческие волны. В глубинах своего существа я предан бытию, и на поверхности — события; там торжественное шествие роковых мыслей, здесь происшествие во всей зыбкой их воплощенности. Думаю много и рассуждаю об исходе войны, в последние дни — об Атлантическом океане. Быть может, этот вопрос меня особенно занимает лишь потому, что мне нравится представлять себе океан. Говорю о нотах, анализирую аргументы, сопоставляю цифры — и все на фоне волнующейся стихии. Без такого фона я ни о чем не мог бы серьезно думать. На заднем плане у меня всегда картина в широкой раме. Ее содержание меняется и показывает мне все новые и новые стороны вопроса. Это я называю «конкретно мыслить» и требую, чтобы так мыслили все — но что делать, если очки запотели?

В дальнейшем я попытаюсь найти место в моем миропорядке и для «психологии», и тогда уже окончательно все заблуждения окажутся лишь разветвлениями истины. Но, по всей вероятности, этими поисками квартиры для призраков я займусь лишь на старости лет, когда делаешься смиреннее, снисходительнее<sup>37</sup>.

### **С 6 на 7. II.**

Сегодня попалась мне в руки книжка F. A. Lange о формальной логике<sup>38</sup>. Мои старые идеи (Ср. запись в тетр. II от I. VIII. 1910, заканчивающаяся словами: «Вот зародыш цельного мировоззрения»). Только Lange не видел всей важности его собственных открытий и не соединил их с идеей вневременного сознания. Мой путь — единственно правильный. Я с полным правом перехожу к систематизации. Постараюсь вскоре после войны выпустить первую книгу<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> I. VI. 1970.

<sup>38</sup> Книга Фридриха Альберта Ланге (1828–1875), немецкого философа. А. Штейнберг укорял Ланге в том, что тот «пустил в ход» представление о философии как о частном по отношению к искусству явлению, как к «поэзии понятий»: ФС. 286, 497.

<sup>39</sup> *He сделал и после второй войны, если не считать...* London. I. VI. 1970.

**3.III.1917.** (...) Я у порога царства идей; я должен собраться со всеми «своими» силами, чтобы переступить его, и я знаю, что оттуда все будет понятно и уместно в своей относительной ничтожности, в своем относительном величии. Все эти сомнения: сподоблюсь ли, удостоюсь ли, отрешусь ли, — они только говорят о том, что еще не отшелся, еще не удостоился. Теперь и это преодолено. Со всем смирением, на которое я способен, я принимаю на себя задачу философии и чувствую себя в полном праве посвятить себя в философы<sup>40</sup>. Поистине дух мой отвечает мировым струнам. Я должен строить целое мироздание. Я знаю этот трепет в душе моей: в ней рождается целый мир. Я готов воспринять его, чтобы навеки отойти (от себя) в этот лучший из миров. Я еще раз я говорю: Да будет воля Твоя!

**С субботы на воскресенье. 18 (5) марта 1917.** События в России: в эти дни я ни о чем другом не думаю.

**Со среды на четверг 6.III.17.** Rappenaу.

Читал сейчас свои старые записи. Вывод: могу себе верить. Есть значит, над чем работать. Господь. Истина. Любовь — все для меня по-прежнему существенно и близко. Люблю, надеюсь и верю...

**На 27.III.1917.** Rappenaу.

На случай возможного отъезда укладываюсь и собираюсь запрятать среди книг и эту тетрадку

<sup>40</sup> Ср<авнить> Вольфила! 1970.

---

## DIARY 4

**Вторник. II—I (29.XII) — 1916 (15)** 11 час. веч<ера>  
Karrenau (Baden) Salinestr<aße> 145.

Решил вести правильный дневник (прежняя книжка остается для более сокровенных намеков)<sup>41</sup>. Мои мысли о себе и вокруг себя не должны пропадать даром для меня самого. Единство и непрерывность развития, которые я чувствую, я хочу для себя самого превратить в осязаемый психологический факт. Мне это стало крайне необходимо. Созерцательность уже давно начала брать верх над моею сознательностью. Это связано, прежде всего, с историей моей любви. Вся моя любовь к Эсфире насквозь эстетична, как я это понимаю. Напряжение моей любви — это большая сила моей созерцательности. За последний год, что я провел в разлуке с моей Эсфирью, это особенно выяснилось мне. Больше того, всякую иную любовь я осуждаю как сентиментальность, как дряблость и неряшливость чувства. Я увлечен образом, правильнее, субстанцией образа, и мир я люблю не иначе. Такова же моя религиозность и когда

---

<sup>41</sup> В 1916—1917 гг. параллельно 3-му Штейнберг вел «правильный», 4-й дневник.

я молюсь Господу, я всем существом своим ощущаю Его как Сущность<sup>42</sup>. Если бы я мог на этом успокоиться, то мне осталось бы только жить и жить. Любить Господа, любить все сущее, людей, себя и страстно отдаваться своей любви — таким был бы смысл моей жизни, и ему я служил бы, ревниво охраняя про себя тайну моего призвания. Но на этом я не могу успокоиться. Мое сердце беспокойно: оно влечет меня к бесстрастию, к единству, которое не терпит моей отделенности и любви, к глубинам обнаженным, к сиянию равному и немерцающему. Эту стихию я называю сознательностью. Было уже время, когда сознательное созерцание мне казалось близкой и завершимой задачей. Мне было тогда 20 лет. Теперь мне 24, и эти четыре года меня слишком многому научили. В своей созерцательности я открыл напряженную страстность, и бесстрастное созерцание стало трудной и отдаленной моей целью. Значит ли это, что я оказался слабее, чем я думал? Я думаю, что нет, но путь мой извилистее, чем я ожидал. Зато по-прежнему тверда моя решимость пройти его до конца, зато по-прежнему я верю в свою силу его завершить и глубоко чту избранность моего призвания. Все это я определяю одним словом: философия! Я верю в свое философское призвание. Но я хочу не только верить в него, но и проверять его, этому будут посвящены эти страницы.

### **Со среды на четверг 18-го 1916** 1 ч<ас> н<очи>

Сегодня я три раза поймал себя на суетности духа: мелкие несправедливости (по отношению ко мне и к другим) сильно меня раздражают. Я сравнительно легко преодолел это раздражение, но я не хочу, чтобы то, что я считаю пустым и ничтожным, могло меня задевать.

История философии мне дорога из-за тысячи кругов истины, которые щедро рассыпаны в ней. На днях я напишу

---

<sup>42</sup> Одно из частных проявлений принципа «всеединства», к которому сознательно стремился Штейнберг — всеединство В. Соловьева, субстанциональное понимание личности Л. Карсавина, троичная классификация С. Франка.



не только о тех двух путях обретения философии, о которых думал вчера, но еще и о третьем, о философии в ее истории.

**С 13 на 14-ое I (1.I.1916).** 2 ч. н <очи>

У меня в комнате «встречали» Новый год. Нас пятеро уже свыше года: Наумыч, Сенька<sup>43</sup>, Сашка, Шик и я. Пример, как я отношусь к людям. И об этом стоит поговорить особо.

**С субботы на воскр<есенье>** 1 ч. н. (на 16-е — I).

Читал сегодня, как все эти дни, кроме большой порции газет, по истории философии с Сашкой и по теории познания с Наумычем. С Сенькой, с которым я больше всего говорю и сегодня вел длинные беседы: он наиболее «психологичен» из всех кругом, я же таким занятием зачастую даже чрезмерно увлекаюсь. Надо специально остановиться на этом.

**С воскр<есенья> на понед<ельник>** 17-е. — I. 2 ч. н.

С Наумычем и с Сенькой вел сейчас длиннейшую беседу: о переписке и о фотографиях. Как различно относимся Н<аумыч> и я к любовной общности: я всегда считал любовь в корне отличной от всякого «чувства»; и если любовь — чувство, то все иные чувства — сантименты. Трудно даже объяснить непосвященным, что такое любовь к существу, субстанциальная, существенная, истинная любовь.

Вчера с тем же Н. вел беседу о «национальной психологии», а сегодня на прогулке с ним и с Сенькой — о стратегических перспективах (...).

**Воскр<есенье> 23. I. — II веч.**

За эти дни ничего особенного не случилось, как, впрочем, все это время. Несколько раз хотел кое-что записать, но теперь уже не помню. В пятницу обсуждал с Сенькой програм-

<sup>43</sup> Семен Наумович Каплан, Сеня (1893–1979), философ, друг с 1914 г. Публикация: *Das Problem der Geschichte im der philosophie* H. Cohens. 1930. В 1934–1936 гг. с женой Фанни жил в Праге и Париже, в 1936 г. оба переехали в США. Профессор философии в St. John's College, штат Мэриленд; перевел на английский язык основной труд Г. Когена «Религия разума» (1972), редактором был А. Штейнберг.

му его дальнейших занятий по философии. Он хочет непременно дойти до возможности самому читать «Критику чистого разума». Кантовская философия пользуется здесь у нас большим авторитетом, и я немало об этом постарался. Наумыч, например, за этот год стал не только кантианцем, но даже соhen'янцем и в этом духе уже написал работу о задачах физики — это, быть может, чересчур поспешно. Но Кант как философский воспитатель для людей со стороны действительно незаменим. Другое дело, когда развитие сознания с самого начала определяется любовью к философии, как это было у меня с юношеских лет. В этом случае всякий из великих философов может стать отличным руководителем. Для ученика самой Философии, т. е. для того, кто сам у себя учится, или чья жизнь есть, прежде всего, жизнь для мудрости — для того, конечно, учитель безразличен. Я Канта глубоко уважаю, но путь мой, мой метод — иной. Об этом методе я много думаю, и в этом влияние Канта.

### **Среда, 26-го — 1-го.**

Две странички Достоевского — и все делается ничтожным. Беспредельная скорбь, беспредельное страдание. Нельзя говорить: да минует меня чаша сия — ее нужно испить до конца. Как ничтожна по сравнению с этим приятная смерть, как греховно желать ее. От скорби нет спасения, не нужно его. Господи, я боюсь философствовать — философия — лекарство, философия — утешение — как она ничтожна!

### **С воскресенья на понедельник <ик> 21-II-16. 1 ч. ночи**

Почти месяц не прикасался к этой тетрадке. Сейчас перечитал все, что здесь записано, и жалею, что неаккуратен. Не раз за эти недели вспоминал, что следовало бы не запустить, но дело в том, что я чувствую себя немного, как загнанная лошадь: все обязанности да обязанности! Правда, оседлал-то я себя сам, но от этого не легче, и времени не больше. Мало ли что на очереди! То газеты из России, то «животрепещущая» литература о войне или по поводу войны, совместные чтения, роман Достоевского, который

невозможно же не перечитать, то занимающая все вечера работа Наумыча, то урок с моим «протеже» Невяжск<им>. Наконец, математика, дискуссии, переписка, прогулки, головная боль или вовсе томление духа. И, тем не менее, я не должен, грех забывать, о себе. Нужно любить себя, как свою философию, и забыть о себе значит забыть о мудрости. По отношению ко мне это совершеннейшая истина; я слишком склонен забывать. Все из-за всего, единое из-за многого, себя из-за событий — но кто же тогда им хозяин? Думай о себе! — таково мое последнее решение.

(...)

**29-го февраля, 5 ч. дня**

Эти дни прошли почти целиком за Платоном, теорией научного познания и бомбардировкой Verdun'a. Боже мой, сколько в мире простоты и тревожащей сложности! Как ясны рассуждения и как бездонно туманны свои дела и чужие! Не тревожить хаоса? Но он шевелится подо всем, куда кинешь ясный и доверенный взор! Неужели мудрость — та же слепота? «Душа моя скорбит смертельно»<sup>44</sup>.

**17 мая — 16.** 12-й час н.

Возвращаюсь снова к моей тетради. В ближайший же раз расскажу, что было за эти 2½ месяца.

**18.V.** 12-й ч. н.

В сущности, за эти два месяца ничего не случилось, если не считать нескольких хороших книг, которые я успел за это время прочесть, тех или иных новых интересов, пробудившихся во мне (отчасти благодаря моим беседам с Рабиновым 10–12 апр>еля< в Heidelberg'e), если не считать, наконец, моих регулярных занятий греческим (с Гутерм<аном>) с 16-го марта и т.п. подобных мелочей — и все же кое-что во мне за это время произошло. Несколько раз меня охватывало в эти недели то особое, ведомое мне с раннего юношества чувство беспредельных во мне возможностей, та возвышающая готов-

<sup>44</sup> Евангелие от Матфея, гл. 26.

ность меряться с кем угодно, то почти физическое ощущение крылатости и силы духа, которых я не знал в себе уже, по крайней мере, три года. Теперь как раз завершилось первое трехлетие священного союза с моей Эсфирью, и слишком легко, сославшись на мои собственные прежние досююзные оценки и предсказания, взвалить ответственность за многое на милую Эсфирь, но это было бы не только неблагородно, но и неверно. Я иду за моей звездой, и извилины моего пути покорны небесным законам. Не только нужно и хорошо все, что будет, но и все, что было. Я верю в попутные ветры и на многоводном океане не боюсь зыбкого штиля. Мне скоро 25 лет, и иначе прожить эти долгие быстрые годы я не мог. Что Господь в ранней молодости открыл мне тайну дружбы и любви, за это да будет Он благословен. И уже теперь я слышу, что Он меня не покинет в любви, как не оставил в страстной ненависти к себе. Все в будущем! Нельзя жить, если не верить в Бога, а с Богом хорошо не только то, что будет, но и то, что было.

(...)

**13 июля 1916.** 11 ч. веч.

Третьего дня утром получил от Э>сфири< привет и был очень-очень рад этому. Больше полугода, как от нее не было ни слуху, ни духу. Я перечитал некоторые старые ее письма и был тронут до глубины души: лучшей любви не может быть на свете. Теперь, после почти двухгодовой разлуки, я уверен, мы так же близки друг другу, как если бы вчера расстались. Я спокойно жду встречи с нею, и любовь ее неотступно меня сопровождает. Мне несколько раз приходило в голову писать о ней стихи, но тема эта превышает мои способности. Невозможно выразить последний смысл, и слова кажутся мертвыми и плоскими, по сравнению с моим глубоко серьезным любовным настроением. Да хранит ее Господь. Я часто молюсь за нее.

**12-го августа 1916 г. вечер субботы,** 11 ч.

За этот месяц ничего особенного не произошло. Продолжались мои занятия греческим и математикой, по-прежне-

му читал с Наумычем марбужцев<sup>45</sup> и с Сашкой Канта, занимался с Невенским, много читал русские журналы, сколько и раньше — газеты, прочел с Gutgot'ом кое-что о Kabbala и о мистиках, перечитывал Пушкина, даже написал сонет на тему современную и по-прежнему часто мечтал об Эсфири. Все это так и все это очень хорошо, но насквозь призрачно. Плен не кончается. Мне не нравится эта островная жизнь среди жизненной стихии. Я ожидаю внутренних событий и верю, что они не за горами.

**20-го сентября 1916 г.** 4 ч. дня

Чувствую себя плохо. Я всем недоволен — и кругом, и в себе. Меня раздражает эта мелкая раздражительность и это вечное неумение жить просто и свободно. Сделаю еще опыт — посмотрим.

**1-го октября 1916 г.** 3 ч. дня.

План трагедии: величие трагического героя в полете, а не в победе, но завершение и победа для него — неизбежная гибель, последний роковой акт — после «победы» (...).

**30-го ноября 1916.** 11 ч. веч.

Последние вечера просиживал в обществе наших хозяев и моих друзей по Rarpenau'скому плену. Ужасно томительно. При всем хорошем моем отношении почти ко всем этим людям, я чувствую себя бесконечно далеким от них и их до смешного прозрачных интересов. В сущности, я никого из них не люблю. Наумыч, несомненно, что называется, хороший человек, «идеалист», как сказала бы мама, у него хорошие способности, у него для многого открыты сердце и ум, но в нем не хватает перспективы, он как-то душевно сплюснут, его сознание, как уменьшительное стекло, еще больше стесняет его возможности, и подпочвенная, центроостремительная энергия массы увлекает его прочь от простора. От-

---

<sup>45</sup> Марбургская школа — одно из двух направлений неокантианства: Герман Коген, Пауль Наторп и Эрнст Кассирер. Философия — прежде всего логика, образцом науки являются физика, математика и математизированное естествознание.

того его чувства кажутся сантиментами, его убеждения и воззрения, как будто из-под диктовки, привычки его — его природою. Кроме того, это у них, очевидно, семейное, — в нем сказывается не перегоревшая в страстях чувственность, и он думает, что по учебнику физиологии можно осознать свою природную стихию. И здесь сознание его действует, как неудачно подобранный оптический инструмент. Если сравнить его с первым встречным, то он, конечно, головою выше середины. Но такого масштаба у меня не было с первых сознательных лет. И в моих отношениях к людям я ищу всегда сверхмерного, будь то по силе моего собственного чувства, или же по тому образу, который вырастает в перспективе этого чувства. К Наумичу же я отношусь «хорошо», и в свете этого отношения его несовершенство все так же передо мною на ладони, как и его склонная к инертной импульсивности фигура. Одним словом, — мы друзья в самом общепринятом значении. Он ко мне относится, по всей вероятности, так же, и по его терминологии это, вероятно, означает: «Аркадий»! О, я его очень люблю!..»<sup>46</sup>.

Больше других мне по душе Сенька. Он, кажется, способен расти в радиусе. Мои отношения с ним носят более поэтический характер. Здесь нечто от трезвого смысла Платоновского Эроса. Наша дружба основана на занятиях философией, в которых я ему помогал и помогаю. Он верит в мою способность углубляться в вопросы, а я вижу его искреннее и бескорыстное стремление к труду. Его чисто диалектические способности ограничены, но зато сама диалектика для него нечто возвышенное и прекрасное. Его ветреность — зыбь преходящая, когда он серьезен, он сам себе интереснее и верит в свои силы. Но направление его юношеского пути все еще как будто слагающая в нынешних его поисках. Здесь прежде всего корень того легкомысленного отноше-

---

<sup>46</sup> Реминисценция на роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». Таким было обращение к романтику Аркадию тоже романтической и откровенной Кати.

ния, которое он проявляет к «Любви и Смерти», и отсюда его смешная раздражительность. Ко мне он относится неровно. О других в следующий раз (...).

**С четверга на пятницу 28-го сентября.** Раппенау.

Часа два, как я снова здесь<sup>47</sup>. История последних двух дней — важное в моей работе над собой событие. С внешней стороны эта самовольная отлучка из места выдворения и признание официальное моей неменяемости. Но внутреннее значение очень существенно. Во время молитвы во вторник вечером мне показалось, что мое время пришло, и я решил, не откладывая, отправиться в путь, о котором так давно мечтаю. На башне пробило девять, когда я миновал последний дом и двинулся вперед. На рассвете я очутился в Heidelberg'e. Как близок к милому Господу был я в эту ночь. Вся земля была под звездами, и тень моя легко пронизывала отпечатки деревьев на поблескивавшей под луной дороге. Прокричит не то близко, не то далеко птица, гулко прозвучат мои шаги по густо затененным улицам спящих деревень, вдогонку или навстречу пробьют часовые колокола — и опять звезды, звезды и звезды. Вот она свобода — казалось мне. «Что будет?» — наконец-то мне удалось вычеркнуть это из души. Не сеять и не жать, не ждать и не надеяться. А если люди спросят: «Кто ты?» — разве не видите: «Я сын человеческий». Как тяжкие сны, рассеивались воспоминания о прежней паутинности, в которой бессильно бились крылья тосковавшей по свободе и смыслу души. Какая нежность к клубившемуся над полями туману! Какая бездонная и ясная любовь! «Господи! Как чудно», — громко повторял я и с горячей благодарностью воздевал руки к небу, к ним, к безгрешным и всевидящим звездам. Мягко волнующаяся усталость, тихое созвучное мерцание души. Так было до самого рассвета. Затем я лег на землю в стороне от дороги и заснул, а когда я проснулся, все было туск-

<sup>47</sup> Далее следует описание бегства из Раппенау в Гейдельберг в состоянии психического срыва.

ло и серо, как в самые домашние сумерки. До полудня я еще боролся в Heidelberg'e. Зачем я очутился здесь? Тут рассудок мой — мой шут и лейб-Мефистофель — зло подшутил надо мной. Он привел меня кружным путем в ту же мышеловку: меня подобрали, и я очутился в старом своем отечестве, где не бывает пророков. Несколько часов среди умалишенных, после приюта у добрых людей и сцены на улице. Судный день подходил к концу. Еще через час я очутился среди озабоченных моим здоровьем друзей, и вот я — снова в четырех стенах моей неприглядной и низменной жизни.

Так ли это? Неужели действительно все это одно чудачество? И на этом я успокоюсь? Я чувствую, что нет, и так толкую эту торжественную ночь. За голос свыше я принял лишь собственный сердечный порыв. Но сердце порывается навстречу грядущему. Мудрость сердечная показала мне мой первый робкий шаг. Я еще не достоин, но могу удостоиться, если свято буду хранить заветы звездного неба и жить праведно во имя Его. В познании и в науке нет греха и нет лучшего противоядия, нежели внимательно прислушиваться к словам и делам, своим и чужим, и смиренно готовиться.

#### **Во вторн<ик> 27-го ноября.**

Следует сказать несколько слов об этих двух последних месяцах. Тень звездной ночи все еще осеняет мои скудные дни. Я лучше владею собой, легче справляюсь с душевным беспокойством, ни разу за эти месяцы не сказал: это меня раздражает, и, наоборот, смирял раздражение, едва узнавал его в себе. Способен прощать многое, что раньше мне, вероятно, казалось бы непростительным. Способен быть проще и неприкрытее. Живу всецело духом и душою. Углубляюсь в идеи и многое обозреваю. И что важнее всего, дышу свободнее, предвкушая испытания душевной крепости. Верю, что все будет хорошо. Молюсь, как уже много лет, за мир и за близких. Продолжаю писать разные сочинения.

#### **29-го ноября 1917.**

Приходится иногда задумываться о материальных условиях будущего существования. Эти вопросы, как и все, что



относится к будущему воплощенному и особенно к «моему» будущему, мало меня тревожат. Если не верить, то остается только или искать забвения, или жить под вечным страхом, а при вере — все должно, все может быть хорошо. Это не разбавленный хитростью оптимизм, а единственный смысл временных дел. Если есть завтра, то завтра все может погибнуть, но завтра есть только потому, что погибнуть ничего не может. Время в Вечности — это Философия; Вечность во Времени — это религия. «Из глубин воззвал я к Тебе, Господи» — это религия, Всемирность у ног Истины — это Философия. «А есть ли Бог?» — так вопрошает тварь; «что есть Есть?» — это вопрос перед лицом Истины. Безбожная этика возможна только для богов, для грешников же, томящихся в аду срочности и в чистилище Времени, добро есть Бог, и добродетель — дело во имя Его. Вот почему нельзя помыслить о будущем, не веря в благодать Того, кто не только предвидит, но и видит грядущее. Я если так, то не только нищета не страшна и бедность не порок, но и богатство не искушает и роскошь не соблазн. Я не могу не думать с верою о будущем и не могу сомневаться в истинности ее смысла. Всякое сомнение лишь начало молитвы: о душевной силе, о преоборении колебаний, о равновесии и покое. Смирение перед грядущим лишь перемещение его в былое, смирение лишь перед тем, что всякое «будет» будет «было», что для Него оно уже есть, что во времени вечный смысл. Но, смиряясь перед прошлым, которого уже нет, от будущего можно ждать всего, что дано вместить просторам воображения. Чудо возможно; оно возможно потому, что в границах микрокосмичности космос подчинен истинной и завершенной, цельной и всеобъемлющей Великомирности. Сквозь дебри времени и сроков пролегает путь, но сроки и времена измерены и исчислены и, неподвижные, покоятся в лоне Безвременного. В мире же временном одно незнание безгрешно, знание — грех, а всякое сомнение — наваждение дьявольское и испытание веры. Велика Истина и превозмогает.

**На 7-е дек<абря> 1917.**

Что-то теснит мое сердце и обнажает его чувствительность. Но просто ли это привычка волноваться? Я так много и так часто волнуюсь, что постепенно это может стать природой моего духа. Этому нужно положить конец. Нужно научиться волноваться лишь по разрешению свыше. Сердце может лишь ставить вопросы, а затем можно снять их с очереди или же отдалиться их разрешению, но разрешению коренному. И все равно, идет ли дело о поводе злободневном или о самом всесущественном — решение не должно останавливаться перед тем, что «гибелью грозит». Вообще, все мое отношение к проблемам нравственным начинает резко меняться. Созерцательность перестает заслонять все бездны мрачности и героизма, которые открываются взору, управляемому волею. Можно даже так выразить весь смысл волевой проблемы: действие — это изменение угла зрения. Смотреть прямо перед собой — это то же, что находиться лицом к лицу с самым логосом, но стоит лишь сделать попытку отвести от него взор — и все пути падения и все стремления возвыситься широко охватывают самое существенное. Возникает третье измерение и возможность этики. И именно эта способность — отводить взор, менять угол зрения перед лицом существеннейшего — появилась у меня не так давно. На экране логического замелькали нравственные тени, и бытие, и небытие преображаются в «быть» и «не быть». Противопоставление для меня вовсе не новое, как и все прочие видоизменения этических формул и заклинаний, но обстановка и среда проблем — еще для меня небывалая. Это стоит быть отмеченным и в личном интересе, и в интересе дела, т. е. в интересах философских. Прекраснодушный психологизм тут совершенно не причем, но какова философия — таков и человек: мои жизненные пути подчинены законам начертания, предрешенным природой фигур и узоров из царства идеального. Осознать свой путь — это значит открыть закон его начертания, это значит читать читали скрижали завета. В учении о душе должно быть

показано, как в кривизне путей отражается и преломляется высший смысл и почему ее природа во времени развивает смысл вечный и неизменный. Все, что было, есть и будет — раз навсегда есть и есть, и нет, и не может быть ничего не существенного в подземном и надземном царстве. А что работа огромная, кто же с этим не согласится!

**На 23 декабря 1917.**

Приближается развязка: для России война кончена. Только теперь вижу, насколько патриотично, в сущности, относился и я, и все мы, к мировой современности. Несмотря на эти бесконечные разговоры и споры о политических вопросах, которые всегда у нас велись под углом общечеловеческим, война сильно потеряла свой интерес для нас и быстро стала уходить с переднего плана, как только пути России явно начали расходиться с путями войны. Как бы там ни было, с изменением в судьбах России наступает новая пора и в жизни нашей здесь. Началась ликвидация наших тесных, не только соседских отношений. Внутренне, хотя и без слов, даже наедине с собой, каждый как будто подводит итоги. В общем, все экзамены на общежитие выдержали (...).

---

## DIARY 5

**Среда, 24 мая 1923.** Heidelberg. Rahmengasse, 34.  
Возобновление старой привычки.

Общее введение Эта книжка родилась из настроения, выразившегося на обложке: на первых двух страницах почти все сказано: если меня зовут по имени и фамилии и если я сам себя так называю, то, во избежание недоразумений, должен замкнуть себя в рамку и поставить над собою крест. Я возобновляю по старой привычке дневник, но внешне не будет ничего параллельного наперед заданной прямой: стремлюсь прочь от горизонтали, от всякого замкнутого горизонта. Недаром замыкаю себя в рамку, ее я возглавляю надгробным знаком. Я хочу писать про себя, потому что говорить про себя вслух значит мешать соседям и соблазнять их подслушивать. Пусть это будут письма к самому себе, и я хочу аккуратно писать себе. Если я буду писать себе, я волей неволей буду писать о себе, а мне очень нужно предоставить в свое полное распоряжение документальные о себе данные. Мне нужно разделить на себя — выделить из себя то Я, с которым я мно-

го лет уже веду тяжбу, так что как будто и жить уже не могу без этого круговращения по инстанциям. Процесс необходимо ликвидировать. Надо научиться различать защитника от обвинителя: они настолько примелькались, что мои глаза уже не в состоянии разобрать, где кто сидит, и голоса их сливаются в шуме без тембра. Кроме того, очень нехорошо вести дело перед судом, когда все члены его живут в том же переулке, что и я, а квартира даже прямо против окон моей мансарды: в нужный вечерний час я могу легко наблюдать, как почтенный председатель без пиджака, весь вспотев, пьет стакан за стаканом из самовара, вытирает салфеткой шею, и когда никого нет в комнате, так даже подкрадывается к буфету и торопливо опорожняет графинчик горькой. Пора положить коней такому безобразию (...). На беспорядочный процесс мой я ухлопал годы. Мне уже скоро 32 года, а в 29 я собирался перевернуть мир или, на худой конец, пристрелить себя. Но я вечно спорил с самим собою и насчет всяких сроков, в том числе, и о продолжительности человеческой жизни и летоисчислении вообще. Я не хотел примириться с показаниями хронологий и с фактом, что «я родился в 1891 г.». Всякая ссылка на эмпирию мне казалась оскорблением: для меня, мол, ваши законы не писаны, сам могу законы писать. Так до сих пор ни одного и не написал, и «закон глубины», для обоснования которого я полгода назад уехал из России сюда, все еще не вышел из стадии проекта. Как ни оскорблялся я эмпирией, я все же поминутно с ней считался и продолжаю считаться; хоть бы вот одно то, что я уехал из России сюда, что ничего не мог путного сделать в Берлине и сбежал в Гейдельберг, где все под рукою и где я привык по-студенчески работать. Вообще, мой эмпиризм хуже всякого суеверия. Замечу лишь в скобках: почему я, например, не брошу курить? Но это только в скобках. Я занимаюсь философией, но кончил все же юридический факультет и даже печатал статьи по юридическим вопросам. Впрочем, это уже сюда не относится: так недоб-

росовестно обвинять не стоит. Это тоже в скобках. А теперь скобки в скобки — и дальше к делу!

Дело же сейчас в том, чтобы отчитаться в обложке. Тут важный методологический принцип (не больше и не меньше): открываю тетрадку и начинаю из нее мастерить книжку; до того, как сел за стол, я и в мыслях не имел ничего подобного. Пишу заглавие, подзаголовок. Вспоминаю, что забыл написать имя автора. Из графической потребности начинаю обводить рамкой, и как такой тип обращения с собою позволяет легко и непосредственно переходить от личного к сверхличному, от повода к сути, от проблематического факта к наличной и насущной проблеме. Но я хочу, хоть бы ошупью, продвигаться куда-то в своем дневнике, а не просто выделять рас. Я хочу — «про себя» — «о себе». Спасаться в сверхличное, как побитая собака в свою конуру — благодарю покорно. Пусть это действительно будет «книга»: т.е. документальные данные к моему затянувшемуся процессу с собою. И если эта игра в книгосложение затевается мною хоть бы с такою серьезностью, с какою котятка возятся вокруг мотка, увы! не «ариадниных ниток», то необходимо, прежде всего, решить, как я эту книжку буду писать.

Покуда я пишу, у меня мелькают разные планы. Я мог бы писать ее в виде переписки с самим собою, по городской почте, конечно. Ответы и вопросы могли бы быстро чередоваться. Или еще лучше, остаться при более свободной форме — сборника документов, как я уже сказал. Ведь моя работа с собою вовсе не шутка, и даже беллетристические строки о судьях — больше, чем простые упражнения ленивой фантазии. Если серьезно собирать материал к своему делу, то оно и в самом деле подвинется вперед. У меня сейчас даже почему-то появилась уверенность, что это так именно и будет. Может быть, я напал на настоящий путь, и теперь все дело в том, чтобы упорно и настойчиво работать, чтобы серьезно смотреть на эту попытку. Если это так, то мысль, которая на днях меня занимала некоторое время о том, что мне следует попытаться, ничего не утаивая и ничего не боясь, просто расска-

зять себе самому свою жизнь, то эта мысль, быть может, истинный голос моей совести. Это вовсе не значит, что я должен приняться за свою автобиографию. Нет! Но я должен известные участки пройденного пути, остающиеся для меня самого темными и таинственными, попытаться заново пройти: в памяти, в оценках, в обсуждении. Вот тут-то хронология, действительно, не важна. Возьму ли я ранний юношеский период или последний берлинский, историю моей любви к философии или историю другой моей любви, вопрос о моей пригодности для революционной работы или мои религиозные сомнения — что бы я ни взял, если примусь за это искренно и твердо, все будет меня подвигать вперед. И надо писать совершенно открыто, называя и вещи, и людей их собственными именами. Такого дневника я еще до сих пор никогда не вел. И о своей скрытности тоже надо будет подробно потолковать. В конце-то концов, под покровом этой скрытности и делаются возможными лжи и обманы: они соблазняют. Пора, по крайней мере, перед собою перестать скрываться.

Тут вместе с тем будет избегнута и другая опасность: уже несколько раз приходит мне на ум — а не соблазнился ли я уже «литературной» задачей? Нет ли тут некоей скрытой мысли, что я и в самом деле занялся писанием «книги» в общепринятом смысле? Если я буду все и всех называть настоящим именем, «книга» эта останется только для тех, кому она действительно нужна, как мне. От печатного станка она будет убережена, а мне она нужна не как стилистическое упражнение. Тон, в котором я начал писать, я одобряю: это, в сущности, та манера, в которой я вообще говорю с теми, кого я не стесняюсь, и в которой я обыкновенно думаю. Кажется, я впервые пишу для себя в таком тоне. До сих пор, пожалуй, в письмах моих я мог бы его встретить. В моих статьях и в книге о Достоевском — другой тон: тот, в котором я обращаюсь к большой публике с кафедры, манера ораторская, не скажу неискренняя, но все же несвободная, стремящаяся убедить, а не просто повествовательная. Но, стремясь убедить, невольно попадаешь сам в зави-

---

симось от тех, к кому обращаешься: себя я ни в чем не хочу убедить, я хочу только выслушать себя, только рассказать себе то, что просто есть. Значит, я действительно, написал большое письмо к себе. Пусть это будет лишь первая страница. Мне надо рассказать себе об очень многом. Не буду перечитывать теперь, когда я прочту, тут же примусь писать «ответ» — продолжение. И надо стараться не слишком затягивать ответы. В сущности, тот, кто пишет, — искренний друг тому, кто будет читать, кто живет и мучительно переживает факт своего ограниченного личного и материального существования, а, может быть, и быта. Хорошо, что я сразу с таким увлечением принялся за дело. Это — первая, удачная, кажется, попытка должна мне помочь сдвинуться с мертвой точки, которая вкраплена, как заноза, в мою живую, пусть бедную жизнь (...).



---

## Из DIARY 6

**С 10 по 11. III.26.** Berlin W62. Kalckreuthsts. 18

Надо снова начать писать и первым делом аккуратно вести запись — «корабельный журнал»: плавание большое, а берега неизвестны.

**Воск. (III.26)** 12 ч. пон<едельник>.

Пятница: с утра к С. и вместе к издат<ельству> (деньги)<sup>48</sup>; утром звонил С. М. Дубнов — вернулся, скоро, значит, «Weltgeschichte des jüd<ischen> V<olkes>»<sup>49</sup> — т<ом> IV. Café, пешком в дождь — обед, газета. Спал. Сем<ен>. Вечером с книгой. Читал Fichte, Handelstaat<sup>50</sup>. Суббота, газеты,

---

<sup>48</sup> А. Штейнберг был оформлен в качестве переводчика в издательстве С. Кацнельсона «Jüdischer Verlag»; в нем были изданы 1–3 тома «Всемирной истории еврейства» С. Дубнова (1924–1928) и его же «История хасидизма» (1931).

<sup>49</sup> Weltgeschichte des jüdischen Volkes — перевод на немецкий язык (с помощью С. В. Розенблатт) «Всемирной истории еврейского народа» С. М. Дубнова.

<sup>50</sup> Fichte J. G. Der geschlossene Handelstaat (Замкнутое торговое государство). 1800.

у С<они>, Цветаева, Pascal<sup>51</sup>. Вечером Lederer (об Англии)<sup>52</sup>, затем кафе — большая компания: между прочим, Flora Meier — теперь Fr<au> Prof. Lewy с мужем<sup>53</sup> (приглашена читать...) (...) Рассказывал я об опере на мотив «Гибель Европы»<sup>54</sup>. Обед. Аня (новые стихи). Стихи Цветаевой. Pascal.

**Вторник 16:** звонила А<лександра> — гулял в Tierg<arten> с С. Обед. Газеты. Домой. Кожевников<sup>55</sup>: разговоры о «его карьере» в кино, о безучастии милых современников к «нам», философам.

Поехали в кружок: Klein, С. О. Гессен, Карсавин, Геллер, Гордин<sup>56</sup> (обезьяна впервые здоровалась с бразильянской

---

<sup>51</sup> Французский математик, физик и философ Блез Паскаль (1623–1662) был близок Штейнбергу, видимо, своей идеей «мыслящего тростника» («все наше достоинство заключается в мысли»). В своем понимании исторического времени он не мог пройти мимо «паскалевой триады»: «конечное «между» двумя видами бесконечного, бесконечно Большим и бесконечно Малым» (27.X.1946).

<sup>52</sup> Эмиль Ледерер (1882–1939) — австрийский и немецкий экономист и социолог. В 1926 г. — профессор Гейдельбергского университета.

<sup>53</sup> Флора Мейер (1892–1961) — вторая жена проф. Ф. Г. Леви; см. прим. 143.

<sup>54</sup> Французский композитор Дариус Мийо (1892–1974), член «группы шести», автор балетов (наиболее известна «Сотворение мира»), опер, камерной музыки. Сочинял музыкальные произведения на мотивы известных мифов; миф о похищении Европы Зевсом стал сюжетом его «оперы-минутки» «Похищение Европы» (1927).

<sup>55</sup> Александр Владимирович Кожевников (Кожев, 1902–1968) — русско-французский философ. В 1920 г. бежал из России через Польшу, учился в Гейдельберге (у К. Ясперса) и Берлине, писал диссертацию о В. Соловьеве под руководством Г. Риккерта. В мае 1926 г. уехал во Францию, написал еще две диссертации, в 1932–1933 гг. сформулировал свою систему неогегельянства. Участник Сопротивления и вместе с тем, сторонник сталинского режима. В дневнике — момент его переезда во Францию.

<sup>56</sup> Яков Савельевич Клейн — философ и переводчик. «Jasha — аспирантская звезда Хайдегера», — говорили о нем. Перевел на немецкий язык книги «Система свободы Достоевского» и «Достоевский в Лондоне» Штейнберга. В 1930-е гг. мучительно искал пристанища в университетах Европы; «люди примыкают друг к другу ради серьезной работы, и в этом очень много хорошего», — писал он Штейнбергу в 1935 г.

за руку). Беседа о Соловьеве (Карсавина рецензия по-немецки), о Добре по Карамазовым (Гессен — средне). Прогулка обратно с Кл<ейном> и Кар<савиным>, разговоры о животных.

С С. без слов о мимозах: природа (?). В понед<ельник> утром беседа с Weisbort'ом<sup>57</sup> о Спинозе, а в три — до 6 с Weisb<ort'ом> об абсолюте. С 6—7 с С. М. и И. Е. Дуб<новыми> Получил часть рукописи. IVт. — Вернулся к С. В четверг был приглашен к Р. Вл. Вишницер<sup>58</sup>.

Усталость после трех томов Дубнова — 120 печ. страниц.

**18.XII 1928. ...С субботы на воскр<есень>...** Вчера утром звонил Гиршкопф («нобелевская премия»): что лучше он

---

(Вох XIII). В 1938 г. получил место преподавателя в Новой школе социальных исследований Нью-Йорка и переехал с Америку.

Сергей Иосифович Гессен (1887—1950) — философ, публицист, педагог. Эмигрировал в 1921 г. в Берлин, проф. Русского научного института, член правления Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии. С 1934 г. — в Польше.

Иосиф Ильич Геллер (1888—1957) — доктор права, работал с Дубновым и А. Штейнбергом на кафедре философии в «Институте высших знаний» (Петроград, 1918). Стремился к органическому сочетанию иудаизма и кантианства. «Не стоит жить без свободы мысли, цель жизни состоит в том, чтобы доказать в ясных философских терминах себе самим и миру в целом, что правда иудаизма — больше, чем любая другая правда». См. некролог Штейнберга «Воспоминания о старом друге» в журнале «The Synagogue Review» (July 1957. № 11). Вместе с Д. Койгеном выпускал журнал на иврите. В Лондонском отделении YIVO читал лекции: «Современные еврейские мыслители», «Чтение Маймонида» и пр. Яков Исаакович Гордин (1896—1947) — философ-неокантианец. Родился в Двинске, учился в Петербургском университете. На юге России познакомился с хасидизмом и Кабалой. В 1921 г. вернулся в Петербург, стал участником Вольфилов. Выступал с докладами, в том числе, на тему «Максимализм и идея конца» (Белоус. II. 720—725). В Берлине с 1923 г., сотрудничал с Энциклопедией «Иудаика». С 1933 г. во Франции: писал статьи о еврейской философии.

<sup>57</sup> Ганс Вайсборт (?—1935) — критик-искусствовед, второй муж Э. Эльзшевой-Гурлянд.

<sup>58</sup> Рахель Вишницер-Бернштейн (1885—1989) — искусствовед, писатель, историк еврейского искусства.

или «Розенцвейг»?<sup>59</sup> Получил Евразию. Аля (об университете). Газеты. Завтра надо больше успеть. Кончил роман о войне Ремарка<sup>60</sup>.

**На 4-е I.1929** 1 ч. ночи. Звонил приехавший из Парижа Ал. Влад. Кожевников, условились встретиться в субботу вечером. Работал из-за простуды плохо (§35). Получил 1 л. корр. Т. IX-го. Принес деньги, как всегда, Willy (3-х мес<ячную> долю). Читал газеты: рассказы Бунина, Минцлова<sup>61</sup> и т. п. Работать!

#### **На VIII.I.1929.**

Ночью проснулся и читал Розенцвейга, размышлял, сочинял стихи, проснулся поздно, просмотрел «Евраз<иец>» № 7<sup>62</sup>, переводил параграф §36 (8 часов подряд), ужинал, читал газеты, просматривал полученную от (нрзб) книгу о Японии. Все еще жду стиля, мысли, работы, жизни. Гегельянство конца своих двадцатых годов изживаю постепенно как ступень преодоленную. Беднее ли я? Хорошо ли начать снова с пяти пальцев, с самого доступного и послушного...

**На 9.1.29.** 1 час ночи. Читал «Знамя борьбы» (№ 24–26): энергия без эгоцентризма реже. Пришел Гордин за Розенцвейгом. Работал (§ 36) 8 ½ часов. Обед, читал роман Ш. Левина<sup>63</sup> (У! Как плохо!)

<sup>59</sup> Моисей С. Гиршкопф (1869–?) философ, врач, публицист, активный участник Союза русских евреев Германии, делал доклад «Основные задачи нашей эпохи» (1922). В основе концепции — «культурно-историческое развитие»: Штейнберг тогда же читает (обсуждается в кружке) труд Франца Розенцвейга (1886–1929) «Звезда избавления» (1921).

<sup>60</sup> Роман Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен» вышел в 1929 г. Издательство, не уверенное в успехе книги, предоставило некоторым читателям предварительные экземпляры в 1928 г.; один из них, видимо, читал Штейнберг.

<sup>61</sup> Сергей Рудольфович Минцлов (1870–1933) — русский писатель, ценитель и знаток русской книги, библиограф. С 1926 г. жил в Риге. Печатался, как и И. Бунин, в рижской газете «Сегодня».

<sup>62</sup> «Евразиец» — журнал евразийского движения (Брюссель, 1928–1934).

<sup>63</sup> Шмарьягу Левин (1867–1935) — деятель сионистского движения, депу-

**10 I.1929** 1 час. Ночи. Читал «Знамя борьбы». 4 лист корр<ектуры> Дуб<нова> IX. Перевод с 1 ч. поп<олудни> до 10 час. веч<ера> (§37). Роман Ш. Левина (что-то я ему скажу? Хуже почти не бывает).

**С 15 на 16 (среда) I.1929.** Двое суток: получил вести из Москвы (очень рад, молился). №8 «Евраз<ийца>» — нет, это не про меня. Работа шла плоховато. Сильный кашель.

Получил 100 м<арок> (за 23–24 листы). Звонил Исаак (по поводу вестей из Москвы, Исидора<sup>64</sup> и т.д.) Отправил деньги за билеты. Работал средне (§39), корр. лист 4-й. Прочел письмо Гиршкопфа из Варшавы. Придется пойти завтра на собрание в Café. Письмо хорошее.

**На 17-е (четверг). I.1929.**

Работал средне. Отправил корр<ектуру> (4–5 лист), [нрзб] говорил, здоровался с: Гординым, Геллером, Зелигманом<sup>65</sup>, Койгеном<sup>66</sup> + m-me, Casparu<sup>67</sup> + m-me Тамари, Сем<еном>, Ис<аак>, Клейном, Шварцем<sup>68</sup>, Ал<ександрой> Лаз<аза>

---

тат 1-й Государственной Думы, член Исполкома Всемирной сионистской организации. Основал вместе с Бяликом издательство «Двир». Писал на идиш: «Детство в изгнании» (1929), «Молодежь в восстании» (1930), «Арена» (1932).

<sup>64</sup> Исидор Эльяшев (Баал-Махшовес, 1873–1924) — дядя А. Штейнберга, центральная фигура в еврейской критике, убежденный идишист.

<sup>65</sup> Р. Зелигман — участник идишского журнала «Дер Онгейб» («Начало»).

<sup>66</sup> Давид Маркович Койген (1879–1933), философ и социолог, с 1921 г. — преподаватель германских университетов. Звание доктора философии получил в Бернском университете; первое сочинение: «Философия и социальная философия младогегелианцев» (1901). Вместе с И. Геллером редактировал философский журнал «Ethos» (Берлин). Штейнберг писал о Д. Койгене как о либеральном религиозном мыслителе, который в своей работе «Мораль Бога» старался поднять общее развитие иудаизма до более высокого уровня: Aaron Steinberg. History as Experience. Aspects of Historical Thought — Universal und Jewish. New York, 1983. P. 224.

<sup>67</sup> Ойген (Евгений) Каспару (1963–1931) — архитектор и общественный деятель, руководитель (вместе с Лео Беком) Центрального благотворительного общества немецких евреев.

<sup>68</sup> Михаил Наумович Шварц (1873–1946) — философ и критик. Участник

ревной», Em. Lasker'ом, Б. Пинесом<sup>69</sup>, Baek'ом<sup>70</sup>, Gutkind'ом<sup>71</sup> + m-me. Пустые прения. Пусто, ненужно, комично, а хуже всего — непонятно. Вчера звонил Гиршкопф, вернувшийся из Варшавы.

**4 февр. 29 г.** 11 час. утра.

Среда 30-го работа, вечером 5-е заседание культ<урно>-фил<ософского> кружка. Доклад Гордина о Гегеле и Троице. Клейн, Семен, Тамари, Коген etc. 31 четверг работа шла несколько лучше. л. 10. *В пятницу 1-го февраля отправил 560 руб. + корр. л. 10.* Был Семен (проблема Векслер), затем читал русскую газету вслух. Вчера встал утром в медленном темпе разговаривал по тел<ефону>, Эсф<ирь> Сол<омонова><sup>72</sup> в пятницу, прервал работу, чтобы быть на откры-

---

Вольфилы, печатался в «Логосе», «Голосе России», «Руле» и т.д. С 1933 г. — в Париже («Современные записки»), после войны вступил в Союз Советских патриотов. Автор книги «Достоевский как религиозный мыслитель» (Белоус. II. С. 271–276).

<sup>69</sup> Борис Михайлович Пинес — переводчик, издатель, старший брат секретаря Вольфилы Д. М. Пинеса. Получил образование и жил в Германии. В 1908–1913 г. перевел на немецкий язык труды народовольца Н. А. Морозова по химии, физике и астрономии.

<sup>70</sup> Лео Бек (1873–1956) — философ, раввин прогрессивного направления. Во время Первой мировой войны служил капелланом в германской армии. Основной труд: «Сущность иудаизма» (1926), написанный в ответ на «Сущность христианства» А. фон Гарнака. В статье «Еврейская мораль и мессианские надежды» А. Штейнберг ссылается на его толкование иудаизма, который является «религией дел», в сущности, этической и поэтому «классической», в отличие от романтического христианства (History as Experience. S. 224). Берлинский «Еврейский Учебный Дом» в 1934 г. открылся лекцией Л. Бека «История и современность». Во время войны Л. Бек в качестве раввина представлял еврейскую общину Германии перед властями.

<sup>71</sup> Эрик Гуткинд (1877–1965) — немецкий философ. Свою книгу «Выбери жизнь: библейский призыв к Восстанию» он послал А. Эйнштейну; в качестве ответа 3 января 1954 г. физик написал известное письмо о своих взглядах на религию.

<sup>72</sup> Сестра Анны Штейнберг.

тии «Детск<ого> дома»<sup>73</sup>, разговоры с Н. Д. Волковским<sup>74</sup>, Т. И. Левиной<sup>75</sup>, m-me Nothman, с которой возвращался и условился еще гулять. 28-го работа. С. и ее родные, работа 29-го вторник. О том и о сем («Палестина-фильмы») о нужде приезжающих и т. п. Сегодня — работа!

**14 февр. 1929, четверг** (1 ч. ночи)

Summa summariorum. Как говаривал Розанов, все то же<sup>76</sup>. В прош<лые> среду, четв<ерг> и пятницу — работал, выработал всего за всю неделю 80 стр. рук<описи> (кончил 27 л.). В субботу Аля<sup>77</sup>, конфликт, работа. Подхожу к концу предпоследней главы IX тома. Было в это время письмо от Эсф<ири>, в пятницу звонил Б. Д. Бруцкус<sup>78</sup>, надо быть

<sup>73</sup> Детский дом имени Я. Л. Тейтеля был основан в ноябре 1928 г. Принимал детей на целый день, пока родители были на работе.

<sup>74</sup> Скорее всего: Николай Моисеевич Волковский (1881 — после 1940) — журналист; с 1902 г. печатался в «Санкт-Петербургских ведомостях» и других изданиях. Учредитель Дома литераторов. В 1922 г. арестован и выслан в Германию вместе с другими деятелями культуры. В Берлине — член «Русского Республиканско-демократического объединения» (РДО).

<sup>75</sup> Общественный деятель, председатель основанной в 1945 г. столовой «Очага русских евреев беженцев» в Париже; позже — сотрудница ВЕКа.

<sup>76</sup> «...благодаря наставшему затишью, громче стал слышен голос настоящей, подлинной жизни, который звучит печально и однообразно злое. Все то же, все то же (...) Статика жизни в стране протяжения России не может не быть все та же из года в год: об этом уже учил Кетле и рассуждал Бокль. «Все то же, все то же!» (В. В. Розанов. Наши грустящие публицисты).

<sup>77</sup> Аля — Александр Эльяшев, сын И. Эльяшева (Баал-Махшовеса), режиссер еврейских театров, в 1920-гг. до середины 1930-х — в Берлине и Ковно, затем — в США.

<sup>78</sup> Борис Давидович Бруцкус (1874—1939) — экономист, статистик, специалист по сельскому хозяйству, общественный деятель. Выслан из Советской России в 1922 г. В Берлине 1923 по 1931 гг. Профессор Русского научного института. Выступал с докладом «О социологии иудаизма» в Союзе русских евреев Германии. Один из руководителей Еврейского колонизационного общества (ЕКО). С 1936 г. — проф. Еврейского университета в Иерусалиме

11-го на его докладе. Еще был доклад Я. С. Клейна о систематической математике. Ал<ександра> Лаз<аревна>. Обещал статью, завтра надо много успеть.

В четверг бился над плохим текстом, в пятн<ицу> выправил еще 20 стр. рукою в суб<боту>.

Пятн<ица> 22.III 12 ч. утра. Почти месяц как не записывал.

**1.1.1930. года.** Эту тетрадку надо непременно продолжать! Регулярно!<sup>79</sup>

**4.10.1930.** Остается один Дубнов. Надо проявить энергию. Слишком избалован первым тридцатилетием своей жизни. Тога начинается с Bereshit<sup>80</sup>. В начале...

---

<sup>79</sup> Перечитал в Лондоне, с 9 по 10 декабря 1967 г., уже на 77 году жизни, хочу продолжать. Все еще.

<sup>80</sup> Тора начинается с Берешит (Бытия).



---

## DIARY 7

Dr. A. Steinberg. Berlin Barbarossa. str. 23

<Берлин>. Воскр<есенье> 7-го июня 1931.

Вернулся сейчас от Дубнова<sup>81</sup>. Последний разговор с Рев<еккой> Наумовн<ой> Чериковер<sup>82</sup>, m-me Ильи Михайловича<sup>83</sup>, котор<ый> по сей день не может мне простить «откровенной беседы», бывшей у меня с ним лет 6 тому назад. До того Я. Лещинский<sup>84</sup> толковал об Энциклоп<едии>

---

<sup>81</sup> С. Дубнов писал: «1930: с этой осени постепенно исчезло чувство безопасности в Германии» (*Дубнов С. Книга жизни. Т. III. СПб., 1998. С. 534 (Кн. 14. Последние годы в Берлине)*). Историк искал общие закономерности жизни, которые не оставляли места деталям, а Штейнберг — наоборот, фиксировал имена и «мелочи».

<sup>82</sup> Ревекка Наумовна (1884—1963) — жена и сотрудник И. Чериковера, с 1943 г. — архивист YIVO в Нью-Йорке.

<sup>83</sup> Илья Михайлович Чериковер (1881—1943) — историк, архивист, собиратель материалов о еврейских погромах на Украине. Бывший сотрудник «Еврейской старины», помощник С. Дубнова. В Германии с 1923 г., руководитель еврейского отдела в издательстве «Грани» в Берлине.

<sup>84</sup> Яков Давидович Лещинский (1876—1966) — социолог, экономист, общественный деятель, корреспондент еврейско-американской газеты

на идиш, в которой он зовет меня принять более деятельное участие. Чувствую себя в этой среде довольно чуждым элементом. У Дуб<нова>, кроме Лещинских и m-те Чериковер, были еще Крупники<sup>85</sup> и внук Аля (Эрлих). Разговоры — пустые. Прервал, чтобы помолиться в Грюневальдской синагоге.

Надо снова начать писать и первым делом аккуратно вести запись — «корабельный журнал»: плаванье большое, а берега неизвестны.

**8.VI.31.** Пустой день. Усталость. Газеты. Обед. Рассказы о вчерашнем. Одно письмо написал, провел в порядок свою корреспонденцию. С удовольствием перечитал Ruth, читал Mishnaioth. Впечатление произвело: zaken she-lo hava <raah> banim — horayoth.<sup>86</sup> Принять монашество?

### **30.IX.1931.**

Перерыв объяснять не буду. Приятное воспоминание о июльских неделях, когда писал «Дост<оевский> в Лонд<оне>» (по-нем<ецки> «Weltausstellung»). Много тяжелого, колебался от отчаяния к вере и надежде. Мало любви. Снова, как двадцать лет назад, соблазн самоубийства. Начинаю овладевать собою и сильное желание что-то с собою сделать. Ушел бы в монастырь. Самому его основать еще как будто рано, а дни, недели, месяцы бегут. Терпение, терпение! Работаю над сокращением десяти томного Дубнова. Собираюсь сейчас писать новую пьесу (Блок!). Глаза, сердце, ум открыты, но мир под пеленой. Основной тон

---

«Форвертс», один из руководителей Объединенной еврейской социалистической партии, издатель «Алгемейне энциклопедие» на идиш. В 1933 г. арестован, а потом выслан из Германии.

<sup>85</sup> Борух Крупник (1888–1972) — историк; переводил «Всемирную историю...» С. Дубнова на иврит. До эмиграции руководил издательством «Кадима» в Петрограде.

<sup>86</sup> «Свиток Рут» принято читать в Шавуот. Читая трактат Мишны, внимание автора привлекла фраза «жестокое» трактата: «пожилой человек, у которого нет сыновей (детей)...». Штейнберг не был еще женат (и вообще как философ не планировал заводить семью).

этих месяцев: Ytgadel v-ytkadesh shmei: kadosh raba.<sup>87</sup> А мы безнадежно бранны. Господи, укажи путь. (...)

Понедельник, 12 окт<ября>.

В четверг (7-го с утра написал несколько писем), 8-го был у Nothmann<sup>88</sup>, чтобы исправить немец<кую> рук<опись> пьесы, которую она хочет кому-то показать. Затем обычная работа, которая по-прежнему не клеится. Причина ясна: я еще не примирился с тем, что и ближайший год должен быть каторжным. Очевидно, что мера наказания мне была и остается неизвестной. Зато неизвестна и мера благодати. Надо верить и трудиться. Кончился четверг — не вспомню как (прогулка? Нет!). Все утопает в сером тумане. Кажется, читал вечером газеты и № 2-ой «Утверждений»<sup>89</sup> — эмигрантские надежды. В пятницу работал снова плохо, вечером немного читал, гулял. В субботу промаялся до вечера, затем поехал в Zehlendorf<sup>90</sup>. В воскресенье утром по телефону со звонившими Fr. Alice Jakob<sup>91</sup> и Nothman. Вечером

<sup>87</sup> Строка из кадиша: «Да будет возвеличено и свяtimo Имя Его...».

<sup>88</sup> Марта Нотман (1887–1939) — фольклористка, друг Штейнберга. Симпатизируя восточно-еврейской интеллигенции, она устроила в своем доме Комитет интеллигенции и Литературный салон. Разведясь с мужем, доктором Нотманом, в 1935 г. она уехала с дочерью в Палестину. Переписка Штейнберга с «Марией Игнатьевной» (как он в шутку называл ее) продолжалась до конца ее дней; она выручала его деньгами и перед смертью просила своего адвоката передать ему два слова: «*Bis zuletzt*» («До конца»). SC. Vox. XV–XVa.

<sup>89</sup> Журнал «Утверждения» (Орган объединения пореволюционных течений) / Ред. Ю. А. Ширинский-Шихматов. Париж, 1931–1932.

<sup>90</sup> Zehlendorf — тогда пригород в юго-западной части Берлина, где жил с семьей Ицхак-Нахман Штейнберг и собирались территориалисты — «Фрайлайн Лига».

<sup>91</sup> Алиса Якоб-Левензон (1895–1967) — пианистка, музыкальный критик, замужем за писателем-экспрессионистом Эрвином Левензоном. Как и М. Нотман, много способствовала сближению Штейнберга с немецким еврейством и публикации повести «Достоевский в Лондоне» по-немецки. В Эрец-Исраэль занималась музыкальным просвещением, с 1935 г. — эксперт музыкального отдела Еврейской Национальной Библиотеки в Иерусалиме.

после работы, которая шла чуточку лучше, с Сем<еном> и Фан<ей> Як<овлевной>. Подробный разговор о Векслерах<sup>92</sup>. Сегодня с утра работа, получение денег (остаток пятой тысячи), до того — передача денег Ан<юте> и Ад<е><sup>93</sup> для покупок и отправления в Москву. Русские газеты. Завтра будет звонить по кредитному своему делу Klein, который в субб<оту> утром хотел получить деньги нахрапом. Сейчас еще хочу поразмыслить и почитать. Грызу семечки, попугаев корм. (...)

**18.10.31.** «Каникулы», то есть собачьи дни, надеюсь, кончились. Дочитал Тынянова («грибоедовский роман»)<sup>94</sup>. Тоже документ нынешней России.

**Среда, 21-го вечер (окт<ября> 1931)**

Вчера рано поехал на гегелевский съезд<sup>95</sup>. Поздоровался с Лукачем<sup>96</sup> — до лучших времен. Много говорил с Сезе-

<sup>92</sup> Александра Лазаревна Векслер (1901–1965) — член-соревнователь и активная участница Вольфила, автор статьи о творчестве А. Белого: «“Эпопея” А. Белого (Опыт комментария)» (Современная литература. Л., 1925. С. 48–75). В 1924 г. выехала в Берлин вслед за Штейнбергом, затем за ним — в Лондон. Собственная версия истории «бедной Шурочки» описана в дневнике за 27 сентября 1970 г. и 3 февраля 1971 г.

<sup>93</sup> Жена и дочь брата.

<sup>94</sup> Юрий Николаевич Тынянов вместе с В. Б. Шкловским посещал Вольфилу. В марте 1922 г. он выступал на заседании «Беседа о формальном методе».

<sup>95</sup> 2-й Международный Гегелевский конгресс состоялся 18–22 октября 1931 г.

<sup>96</sup> С Георгом Лукачем (1885–1971) Штейнберг познакомился в Гейдельберге, участвуя в «Логосе»; в 1917 г. приехал к нему в Гейдельберг из Раппенау (3–5 сентября 1917 г.), когда Лукач работал над книгой о Достоевском. Повернув к марксизму, в книге «История и классовое сознание» Г. Лукач утверждал, что пролетариат — «абсолютный представитель исторической свободы». Штейнберг вступил с ним в конфронтацию: «Культура и революция». Знамя борьбы. Берлин, 1924. № 1, 2, 5.

ман<ом><sup>97</sup> (по поводу шатания мысли Н. К. Hartmann'a)<sup>98</sup>. Те же и они же, еще Сем<ен>, с кот<орым> сидел в Café. Условился с Чижевским<sup>99</sup>. Вернулся усталым и после синагоги и обеда уже только монологизировал вслух о своей философской судьбе. Несомненно, что я зарыл ценное в землю. Вижу больше средних умозрителей даже с «большим» именем, но молчу и бездействую. Пора! Пора! Сегодня после сновидений — снова рано туда же. Приятно было слушать и смотреть, но его якобы гегельянским *Lo Stato* (*musso-limaso!*) и голодного пса не обманешь. Снова та же публика: Корш + m-me<sup>100</sup>, Сем<ен> и Фан<я> Яков<левна>, Лещин-

<sup>97</sup> Василий Эмильевич Сеземан (1884–1963) — философ. В 1909 г. командирован в университеты Марбурга и Берлина; 1922 г. в Берлине, преподавал в Русском научном институте, член Русской академической группы. С 1923 — один из руководителей евразийской группы в Литве. В 1950 г. арестован, отправлен в ГУЛАГ, в 1958 г. реабилитирован.

<sup>98</sup> Николай Гартман (1882–1950) немецкий философ, профессор философии в Марбурге (1925–1931), Кёльне (1925–1931), Берлине (1931–1945). Сеземан писал о его книге «Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis» (Логос. Прага, 1925. Кн. 1). «Система новой онтологии» Гартмана разделяла бытие на категории духовного сознания и объективного духа, что было отступлением от неокантианства к аристотелизму. В лекции «Эстетика пессимизма» Штейнберг поставил его в ряд европейских пессимистов (ФС. 442). В дневниковой записи от 27 сентября 1970 г. Штейнберг пишет о «зависти» Н. Гартмана к Г. Когену.

<sup>99</sup> Дмитрий Иванович Чижевский (1894–1977) — философ-славист, историк, критик. С 1921 г. в Германии, в 1924–1932 — в Праге, с 1925 г. там, при Русском народном университете, вел «Семинарий по изучению Достоевского». В 1929 г. вышла статья Чижевского «К проблеме двойника (Из книги о формализме в этике)». С 1949 г. — в США, с 1959 по 1977 гг. возглавлял кафедру славистики Гейдельбергского ун-та. Штейнберг передал Чижевскому «песу» («Достоевский в Лондоне») для «хлопот» по изданию её в Праге. В 1934 г. в университете в Галле ему была присуждена степень доктора философии за книгу «Гегель в России». В 1971 г. Д. Чижевский, по просьбе Я. Клейна, выражал готовность переиздать книгу А. Штейнберга «Dostoevsky».

<sup>100</sup> Карл Корш (1886–1961) — один из основоположников западного марксизма: «Марксизм и философия» (1923).

ский и m-me (!!), Койген и m-me, Сем<ен>, Straus<sup>101</sup>. С Чижевским говорил о пьесе и передал ему рукопись для хлопот в Праге. Беседовал с Сезем<аном>. Лукач явно побаивается. Биржа, а не конгресс. Но для меня такие прогулки не бесполезны. Затем уже только отделялся от головн<ой> боли. Даже предвечерний кильский Stenzel — сплошное разочарование, а о Glockner'e (звонаре) что и говорить. Мешанина философских пригородов, а где же метрополия? Неужели ее не будет? Или только после следующей сверхбольшой катастрофы? Она неминуема, а мне ведь суждено ее пережить. Пора готовиться! Пора! Пора!<sup>102</sup>

**Понед<ельник> 30. XI.1931.**

Восемь дней: прочел за это время большую статью Мах. Век'a<sup>103</sup> о скупости (напоминает мою юношескую «Европу и Пошлость»), две драмы Лейвика («Bankrot» и «Oreme melukeh») работающего не очень-то чисто<sup>104</sup>, и кучу газет. Во вторник, 24-го, перевел с идиш на немецк<ий> «Открытое письмо» Гершона (Маликевича) к Romain Rolland'у. В среду, 25-го, был вечером у Сем<ена>: Рабинк<ов>, Гел-

<sup>101</sup> Лео Штраус (1899–1973) — политический философ, с которым у Штейнберга завязались дружеские отношения немного позже, когда оба жили в Англии. См.: *Портнова Н.* Два письма Лео Штрауса к Аарону Штейнбергу 1935 г. // *Judaica Metropolitana*. СПб.; Иерусалим, 2016. № 3.

<sup>102</sup> Запись в календаре от 14 февраля 1970 г.: «Читал свои записи 1931–1932 г. в Берлине (в связи с Замятиным, Гегелем, Лукачом и мн. др.) Точно предчувствовал приближение “сверхбольшой катастрофы”».

<sup>103</sup> Максимилиан Бек — философ, ученик антрополога Макса Шелера.

<sup>104</sup> Хальперн Лейвик (1888–1962) — поэт и драматург (идиш, иврит). Своей судьбой и творчеством объединял все страны обитания еврейства (местечко, Америку, СССР и Израиль). В Нью-Йорке сблизился с группой модернистских поэтов «Ди Юнге» («Молодые»). Драмы «Бедная страна» (1923) и «Банкрот» (1923) печатались в Нью-Йорке, в изд. Я. Кляцкина в Вильно в 1927 г. Переписка между А. Штейнбергом и Лейвиком не прерывалась в 1940–1950-е гг. (Вох XIII), они встречались в Лондоне.

лер, Кир<илл< Тарасевич<sup>105</sup>. В четверг, 26-го, получил деньги (остаток 250—6000—5750) от издательства и 415 из Ковны (счет мамы). В пятницу, 27-го, подписал в «Петрополисе» условия об изд<ании> «Дост<оевского> в Лондоне» (внес м.100): Я. Н. Блох<sup>106</sup>, А. С. Коган<sup>107</sup>, С. В. Штейн<sup>108</sup>, Ел<ена> Ис<ааковна> Блох<sup>109</sup> и приехавший из России Евг<ений> Ив<анович> Замятин (привет от Разумника!)<sup>110</sup> В воскр<есенье>, 29-го, был в Zehlendorf'e: долго беседовали с Maximilian'ом> Веck'ом — философ из недорослей, хотя и с неподдельным жаром. В четверг с утра, кроме всего прочего, ездил с Nothman'ом> на кладбище хоронить мать m-me Alice Jakob-Loewenson, а вечером был у них на молитве. Долго потом беседовал с m-me Alice. В воскр<есенье>, т.е. вчера, 29-го, снова был там на молитве и разговаривал долго с Eusterman'ом<sup>111</sup>. Сегодня весь день — в работе. Кончил обработку т<ома> I-го Дуб<нова>. Только теперь!

<sup>105</sup> О семье Тарасевичей см.: ЛА. 296.

<sup>106</sup> Яков Ноевич Блох (1892—1968) — журналист, переводчик и издатель. В 1919 г. основал в Берлине издательство «Петрополис»; в нем вышла книга Штейнберга «Достоевский в Лондоне».

<sup>107</sup> Абрам Саулович Коган (Каган) (1888—1983) — издатель, экономист. Основал издательства «Наука и школа», «Парабола», «Обелиск», «Грани». Член правления «Петрополиса». О перипетиях становления последнего см.: Каган А. С. Воспоминания // Архив еврейской истории. Т. 1. М., 2004. С. 39—40.

<sup>108</sup> Вероятно: Сергей Владимирович Штейн (1882—1955) — поэт и переводчик славянской литературы, пушкинист, преподаватель Тартуского ун-та, редактор тартуской газеты «Последние известия».

<sup>109</sup> Елена Исааковна Блох — жена Я. Н. Блоха

<sup>110</sup> Е. И. Замятин (1884—1937) был выпущен из Советской России в ноябре 1931 г. См. далее примеч. 210.

<sup>111</sup> Александр Истерман (1890—1982) — журналист, общественный деятель. Родился в Шотландии; еще во время Первой мировой войны обращался к правительству с призывом освободить интернированных евреев. С 1947 — политический секретарь Британской секции Всемирного Еврейского конгресса; принимал активное участие в выработке соглашения о реституциях.

Надо приналець! Сейчас почитаю еще Lieblich'a<sup>112</sup> до доклада 10-го XII —го.

### 7. XII.31. Понедельник, вечер.

Еще неделя. Недомогание и рост дефицита в работе. Во вторник, 1-го, получил книгу Л. А. Бромберга, написанную по поводу моей полемики с Карсавиным о евреях и России (1928 г.). Почти прочел ее: печальный факт «периферийного» лакейства<sup>113</sup>. В среду, 2-го, два часа сидели Сем<ен> и Ф<анни> Як<овлевна>. В четверг — очень плохое самочувствие, 3-го, а 4-го — условился быть у m-те Алисы. В суб<боту>, 5-го, вечером был там: очень поздно болтал о психоанализе, «Гольдберге» (Unger etc.)<sup>114</sup> и о Гиршкопфе. В воскр<есенье> звонил С. М. Дубн<ов>. Вечером был там: С<емен> М<аркович>, Ид<а> Еф<имовна><sup>115</sup>, Аля-внук, Лещинские, Чериковеры, Мар<ия> Зин<овьевна> Рейнус<sup>116</sup>, Анна Александр<овна> Якобсон<sup>117</sup> с дочкой и Берта Львовна Эммануил

<sup>112</sup> В 1927 г. Карл Либлич 1895–1984) — юрист, бизнесмен, писатель, Создал в Штутгарте небольшой кружок молодых евреев, протестующих против антисемитизма. В 1931 г. опубликовал сенсационную книгу-обращение «Wir — jungen Juden» («Мы — молодые евреи», Stuttgart. 1931), в которой предлагал «культурную суверенность интертерриториальной нации евреев». В следующем году вышла еще одна книга К. Либлича: «Что случилось с евреями? Открытый вопрос Адольфу Гитлеру».

<sup>113</sup> Обыгрывание выражения евразийцев «периферийное еврейство».

<sup>114</sup> Оскар Гольдберг (1885–1953) — врач, написавший в юности работу «Пятикнижие Моисеево», берлинский интеллектуал. Создал литературно-философскую ассоциацию экспрессионистов, популярную среди художников и вообще берлинской интеллигенции; её участником стал Эрих Унгер (1887–1950), писавший обо всем: о поэзии, мифах, политической теории, общей и еврейской философии. Он был вдохновлен идеей расширить влияние еврейской религии на философию, социологию и политику.

<sup>115</sup> Ида Ефимовна Дубнова, жена историка.

<sup>116</sup> Мария Зиновьевна Рейнус — врач, землячка А. Штейнберга. В 1933 г. вернулась из Берлина в Двинск, откуда писала Штейнбергу и С. Дубнову.

<sup>117</sup> Анна Александровна Якобсон — землячка Штейнберга, подруга М. З. Рейнус, тоже врач. В Двинске работала в больнице для бедных.



с Наташей<sup>118</sup>. Разговоры: политика Az — akh in az vei<sup>119</sup> — «национ<альный> террор» (ужас!) и т. п. Ан<на> Алекс<андровна> рассказывала о Двинске. Вспомнил «Прогресс» — паром в Погунку (Погоулянку) которому, оказывается, исполнилось 50 лет!<sup>120</sup> Почитывал за это время Liebliçh'a (доклад перенесен на 15-е) и много раздумывал о «еврейском вопросе». По-прежнему считаю, что положение серьезно, и тем более серьезно, что не может быть безнадежным. Сегодня опять чувствую себя хуже. С утра звонила m-me Nothm<an> и сообщила, что хотела бы поговорить о «беспорядке». О том же, оказывается, хотела, но не посмела говорить m-me Alice. Плохой антрополог неужели должен обернуться гинекологом или без гинекологии нет и антропологии? Очень утомительная чепуха. Надо еще и еще собраться с силами. Печально, что Бромберги берутся за дела, которые им не под силу. Надо глотнуть воздуха и повысить голос. Если есть слова, воздух не может не поколебаться. Веры, веры побольше в Тебя и в себя. Приходят дни Chanuka<sup>121</sup>.

**16.12.31.** Вечером засел за план о Бромберге... Утром звонил Дубнов о «халуцим»<sup>122</sup>. Во вторник, 15-го, размышлял о смысле существования еврейства. После синагоги писал план. Вечером доклад (...).

**18 мая 1932** 11 веч. Середа.

Что в газетах пишут жирным шрифтом, то в людях запечатлевается «собственным» петитом. В понед<ельник> 16-го рассуждал о том, следует ли немедленно приняться за соб-

<sup>118</sup> Члены семьи дубновских родственников.

<sup>119</sup> «О, горе!» (*идиш*).

<sup>120</sup> Из Календаря-справочника «Двинчанин на 1914 г.»: «Между Двинском и дачными местностями Погулянка, Ликсна, Янополь и Пехотный лагерь пассажирские рейсы совершают пароходы, принадлежащие владельцу имений гр. И. Я. Плятер-Зибергу «Прогресс» и «Витус» и моторная лодка «Полянка».

<sup>121</sup> Дни Хануки — 8 дней, с 25 кислева до 2 или 3 тевета.

<sup>122</sup> Халуц — букв.: пионер, первопроходец; здесь: поселенцы в земле Израиля.

ственную работу. Решил, но не преодолел сомнения. Поехал с С<оней><sup>123</sup> в Народный парк (2-й день Троицы) Dehlerge. Страшное впечатление от народной нужды, от отупения людей под ударами ее. Вечером с Алей, вернувшимся из Болгарии. Вернулся домой и спохватился, что пропали Bar-Mizva<sup>124</sup> — часы. Сильное огорчение. В этом огорчении я сказался весь — с верой своей в сокровенный смысл вещей, в тайную их связь и в назначение хоть несколько в нее проникнуть. Часы — машина времени, счетчик расходуемого жизненного рока, мои — подарок деда, сыгравшего своим появлением, уже после смерти, в гейдельбергском моем сновидении 1912 г., огромную роль в ходе жизни — подарок ко дню религиозного совершеннолетия. Спутник, активный свидетель моей жизни, исчез; казалось, было бы легче, пропади моя тень. Я решил, что это предзнаменование, намек: дорожи часами, каждым часом, неотступно береги их — собирателей минут. Принятое накануне решение — делить день пополам — опрокинулось. Плохо спал ночь. Утром не мог почти говорить со звонившими мне Як<овом> Сав<ельевичем> Клейн<ом> и N. M <Nothman Mart'ой>. Затем отправился на поиски, нашел часы в полицейском участке. Я снова бодр. С новой верой в то, что еще не все кончено. Днем затем четыре часа с лишком говорил с Ш. Левиным о его плохом романе («Михаил Звездов»)<sup>125</sup>. Вечером — у Гордина (они, Гел<лер>, Кл<ейн>, Зелигм<ан>, Ашкенази<sup>126</sup>, Гурвич Дг.<sup>127</sup>, Евг<ения>

<sup>123</sup> Соня — Софья Владимировна Розенблат, урожд. Бекер (1885—1966), будущая жена А. Штейнберга.

<sup>124</sup> Бар-мицва, здесь: подарок на бар-мицва, 13-летие — день совершеннолетия мальчика в иудаизме.

<sup>125</sup> См. примеч. 56. О «бурном и говорливом» Ш. Левине см.: *Дубнов С. Книга жизни*. С.255—256.

<sup>126</sup> Владимир Александрович Ашкенази (1973—1948) — писатель, сатирик, фельетонист.

<sup>127</sup> Георгий Давидович Гурвич (1894—1965) — философ и социолог. Покинул Россию в 1920 г. В 1932 г. вышла в свет его книга «Идея социального права» (Париж).

Бор<исовна> Гурвич<sup>128</sup>, Ал<ександра> Лаз<аревна>). Спиноза и Просвещение по поводу Leo Straus'a<sup>129</sup>. Оживленно беседовал. Сегодня преодолел кое-как усталость. Занят Японией. Еще не работал, но уже чувствую новый прилив бодрости во всех смыслах. Много мыслей об отношении к вещам. Много вещей в мыслях. Есть отношение к самому себе.

#### **С пон<едельника> на втор<ник>, 24.V.32.**

В четв<ерг> 19-го начал снова работать; вечером — Zehendorf. У Ис<аака> боязнь (фобия) заглядывать внутрь. В пятн<ицу> 20-го работа шла несколько лучше; вечером — Аля. В суб<боту> 21-го, долго среди зверей (павианы, пингвины, фазаны, слоны, носорог). Вчера, в воскр. 22-го, работа шла еще лучше, занимался до ½ 11. Сегодня снова работал почти нормально. Вечером — на кино-оперетке. Все эти дни продолжаю размышлять о задуманном «хорошем человеке».

#### **LVI. Вторн<ик> 31. V.32.**

На той неделе работа шла сравнительно хорошо. В суб<боту>, 28-го, Аля — шесть часов. Он все-таки растет. В воскр<есенье> 29-го утром пришлось быть на Съезде нем<ецко>-евр<ейской> молодежи из-за приехавшего из Чикаго д-ра Финкеля. С ним, с Лещ<инским> и с Ис<ааком>. Днем работа почти не клеилась. Вечером у Дубнова (все те же). С<емен> М<аркович> расплакался по поводу своего деда и Yoshua<sup>130</sup> 2:9 Многое простилось бы ему, но...<sup>131</sup> В пон<едель-

<sup>128</sup> Евгения Борисовна Гурвич (1905–1977?) — философ-антропософ. Переводила Р. Штейнера на русский язык; с 1935 г. участвовала в работе Пушкинского клуба в Лондоне.

<sup>129</sup> Штейнберг высоко ценил работу Лео Штрауса «Критика религии и Спинозы как основа его библейских исследований», см. в письме Ф. Каплан от 28 апреля 1971: SC. Vox XIV–XIVa.

<sup>130</sup> Пророк Иешуа: «И сказала [блудница Рахав] людям этим: я знаю, что Господь отдал Вам эту землю...»

<sup>131</sup> С. М. Дубнов раскаивался, что своим «эпикурейством» принес горе деду, талмудисту Бенциону Дубнову. Оборванность фразы («но...») означает, видимо, невысказанное несогласие с историком. Его раскаяние

ник>, вчера, 30-го — немецкая политика. Много газет. Думаю о времени и о «хорошем человеке»... Не точно: о времени я думаю, но о человеке тоскую, именно тоскую. Из скорби должна родиться радость и радость. Пусть когда-то позже, но непременно, непременно<sup>132</sup>. (...)

### На среду 6.VII.32.

В пятн<ицу> 17-го немного работал. Вечером — гулял. В суб<боту>, 18-го, после обеда читал Bergson'a, — до 2-х ч. ночи. Убого!<sup>133</sup> В воскр<есенье> утром, 19-го, был И. С. Гелл<ер>, беседовали об этой книге. Вечером был у С<емена> М<арковича> (чтение воспоминаний)<sup>134</sup> — те же. В пон<едельник>, 20-го, немного работал. Во втор<ник> 21-го — также (плохое самочувствие). Вечером — у Гордина (о Бергсоне — Гелл<ер> и s): Сем<ен>, Ф<анни> Я<ковлевна>, Тур<ак>, Вексл<ер>, Шварц<ман><sup>135</sup>, Зелигман, Вернулся поздно. В среду, 22-го, усталость. Вечером Аля. В четверг, 23-го, писал письма. Получил м. 200 (остаток 2800). Вечером гулял с Nothm<an>. В пятн<ицу> 24-го — кое-как работал. Вечером — кино. В субботу, 25-го — Rosengarten. Минуло 41! В воскр<есенье>, 26-го, работа пошла несколько лучше. Вечером был в Zehlendorf'e. Мешало всю не-

---

было бы глубже, если бы он не приветствовал в своих трудах секуляризацию евреев: ФС. 378—379.

<sup>132</sup> В это время Штейнберг начал писать роман о «хорошем человеке» «Во рву гибельном. Повесть в трех кругах». См.: ПФ. 56—144.

<sup>133</sup> Анри Бергсон (1859—1941) — философ-интуитивист, которого Штейнберг слушал на Философском конгрессе в Болонье (1911). Уже перед войной его «заслонил Серен Киркегор» (ЛА. 249). Негативная оценка последней книги А. Бергсона «Два источника морали и религии» (1932), по всей видимости, вызвана отношением его к религии: «Функция вселенной состоит в том, чтобы быть машиной по производству богов».

<sup>134</sup> Семен Маркович Дубнов (1860—1941) работал над мемуарами «Книга жизни. Воспоминания и размышления» (I—II тома изданы в Риге в 1934—1935 гг.).

<sup>135</sup> М. С. Шварцман (1880—?) — сионист, общественный деятель, редактировал журнал «Еврейская мысль», член редакции сионистско-ревизионистского журнала «Рассвет» (1923—1931).

делю отвратительное самочувствие. Во вторн<ик>, 28-го должен был быть на докладе Бен-Адира<sup>136</sup>, затем встретил еще с Раб<инковым>. В среду, 29-го пытался работать. В четв<ерг> 30-го — Семен, затем поехали с Раб<инковым> в Charlottenhof-Potsdam. В пятн<ицу> 1/VII — кое-как занимался. В суб<боту> 2/VII — исключительно газеты. В воскр<есенье> 3.VII начал работать, затем прогулка на Krumme lanke<sup>137</sup> с Мимой<sup>138</sup>, Раб<инковым>, Сем<еном>, Серг<еем> Як<овлевичем>, М<арией> Я<ковлевной><sup>139</sup> (встретил Зульмана). В пон<едельник> 4.VII — немного работал, затем в Клинике у Nothm<an>, засед<ание> Энцикл<опедии>, позже Аля. Сегодня, 5-го, вторник, работа опять не клеилась. Затем — Zehlendorf: Зульман и вот уже ¼ 2-го в ночь на среду. Оглянешься, и почти ужас берет. Мысли поступают и снова уходят. Я верую в прочность их дружбы, но не обманут ли они, как почти все обмануло? Если бы не Бог, я не жил бы. Моментами поднимается дух и снова никнет. Все кругом разметано пересекающимися вихрями<sup>140</sup>. Будет война. Люди злы и неразумны. Я зряч, но нем, чуток, но скован по рукам и ногам. И все же — последнее слово все-таки: «все же». Индивидуальная форма таит в себе энергию<sup>141</sup>. Отсюда «магическое» содействие че-

<sup>136</sup> Бен-Адир (Авром Розин, 1878–1942) — писатель и общественный деятель, в Германии с 1921 г, соиздатель Еврейской энциклопедии, встречался со Штейнбергом на собраниях «Фрайланд лиги».

<sup>137</sup> «Крумме Ланке» — озеро в юго-западной части Берлина на краю Грюневальда.

<sup>138</sup> Мима — племянница Семена Каплана.

<sup>139</sup> Мария Яковлевна и Сергей Яковлевич Штаерман — сестра Ф. Каплан и ее муж.

<sup>140</sup> 14.V.73. London

<sup>141</sup> См.: о тенденции времени: «Как для Белого, так и для Блока, было в высшей степени важным увидеть свою эпоху с глубоко личностных позиций, но за ними непременно должны были просматриваться явления всемирного масштаба, причем необходимо было понять связь всего сущего с мистическими озарениями, самого мелкого и незначительного с неисследимым, событий нынешнего дня с вечностью... Может

рез тень, через «подобие». Размножающееся представление и в памяти, и в понимании, и в действии. На сквозном ветру из будущего в прошлое, из прошлого в будущее. Действие, значит, во всех смыслах возможно.

Среда 3 авг. 32 г. Еще три недели. Промелькнули, едва заметил. Работа почти не движется, самочувствие — ниже среднего. (...) теперь восстановление промелькнувших, как дым, недель. Кое-какие мысли полит-свойства: всякое право ценно лишь как привилегия, иначе оно, как воздух, отсюда естественность перехода от демократии к диктатуре и т. п. Тема комедии: 2 инкогнито, один следит за другим, но публика разгадывает наоборот. Еще о моем Незванове<sup>142</sup>. И т. п. Вдруг воспрянуть!

**11.X.32.** Там же. Вторник.

Почти десять недель, как ничего не записывал. До общего итога — фактики. В суб<боту> 6 авг<уста> — Ф<аня> Я<ковлевна> с Мимой, затем к ним, с Ф. Я., как в старину, т<о> е<сть> почти. В пятницу, 5-го, за день значит до того, — Zehlendorf, Эсф<ирь> с Цукерм<аном>, Алей и Ис<ааком>.

В суб<боту> 10 сентября, после «неверного» посещения Lewy<sup>143</sup> начал писать роман «Во рву гибельном». Во вторник 13, вечером — Leo Finkelstein<sup>144</sup> («Спиноза»). В послед-

---

быть, в этой переписке яснее всего чувствуется вневременная справедливость тютчевской формулы: “Другому как понять тебя?”» (*Богомолв Н. А.* Андрей Белый и Александр Блок. Переписка // Знамя. 2002. № 12).

<sup>142</sup> Возможно, Михаил Артемьевич Незнамов, герой романа «В кругу первом», над которым Штейнберг тогда работал: ПФ. 56–144.

<sup>143</sup> Фредерик Генри Леви (1885–1950) — немецко-американский невролог и психиатр («деменция с тельцами Леви»); в 1932 г. основал неврологическую клинику в Берлине. В 1934 г. эмигрировал с семьей в США.

<sup>144</sup> Лео Финкельштейн (Лейб Млотек, 1895–1950) — публицист, литературовед, идишист. На юбилейной конференции выступил с рефератом на идише о Спинозе. Сотрудничал в варшавской газете «Момент»; писал о польской еврейской литературе.

ние дни сентября писал на идиш публицистическую статью о Спинозе (с перерывами этак с 27-го, понед<ельник>, до 30, четв<ерг>)<sup>145</sup>. Во вторник, 28-го, — Гордин со своими нуждами. В воскресен<ье>, 2 окт<ября>. Столкновение с Исааком, гости. Во вторник пятичасовая «беседа» с Исааком, затем ужин с С<оней>. В среду, 5-го, в больнице у Левы. За весь Yom Kippur — один лишь момент чувствовал катарсис. Неужели приближается развязка? Последнее мое слово было бы: Тебя благословляю. После кончины отца руки у меня гораздо более развязаны, чем до того. Обрушившиеся на людей несчастья мне, очевидно, никак не смягчить. Вижу, ощущаю все, что идет, с полной ясностью, а кричать — нет голоса, не дано, как во сне. Даю себе срок: не позже, чем через три месяца, в первой половине января 1933, я должен либо установить движение вверх, либо остановиться. Старая белоснежная мечта.

(...)

London NW6 34 Fairhazel Gardens

**На вторник, 10.IX.1935.** 1-й час ночи

Годы все личное, и житейское, и душевное лишено ширины и ясности. Когда это началось? Сейчас, кажется, что не всегда было так, хотя, если всматриваться пристальней, с раннего детства велся подкоп под себя во имя самоотречения. И все же я емь, и самоотречение не стало законом жизненной деятельности. На 45-м году я начинаю думать, что лучше придавать истинность какой-либо личной своей деятельности, чем расплыться в бездеятельности. Об этом, если буду продолжать возобновленные после долгого перерыва записи, еще придется говорить. Самая склонность записывать — признак нового пробуждения интереса к себе. Его нужно поддерживать. И этот призыв того же корня. Уже скоро три года, как в центре внимания судьба Европы: стремление постичь ее,

<sup>145</sup> В год 300-летия философа Штейнберг написал статью «Спиноза и человеческая свобода» (1632–1932): ФС. 382–395. Впервые: Spinoza and Human Freedom (1632–1932) // Fraye shriftn. Warsaw, 1932. № 14.

предугадать ее будущее, всматривание в мельчайшие подробности ее повседневных проявлений. Вот и протекший день почти целиком ушел на это. С утра, как проснулся, первая мысль: что слышно? Абиссиния, Женева, Италия, Англия, Германия — как если бы это было моим профессиональным делом. Но я не журналист, не член парламентской комиссии по иностранным делам и даже не министр. Я всего только иностранец, еще точнее — иновременец, не попадаю в ногу с веком, и, как в старом стихотворении своем, «я всех времен лишь верный страж». Иллюзия ли моя «верность»? мое чувство ответственности за это «не мое время»? Откуда же это сознание, что в моем «безделье», в этом времяпрепровождении — какой-то смысл, даже глубокий смысл? Теория на этот счет у меня есть, но уверенность в ее правильности не полная. Тут целый клубок, который я постараюсь в дальнейших записях размотать. Сейчас скажу только, что я буду приветствовать всякое разрежение грозовой атмосферы, даже если буду знать, что при первых же ударах перестану существовать. Не случайно 1904-ый год, год моего 13-летия, был годом Тюренчена, Леояна, Порт-Артура<sup>146</sup>. Пусть хоть бы уже 1935 году суждено стать годом Рима, Берлина, Парижа, Лондона (...).

### **На вторник 12.XI.1935.**

За эти 12 дней: в понед<ельник> 4-го открыл «зимний семестр» в Восточно-Лондонском Евр<ейском> народ<ном> унив<ерситете> (мой курс по истор<ии> ев<ейства> в XIX веке, 1789–1933); в среду 6-го и сегодня 11-го, был там на лекциях Cecil Roth'a<sup>147</sup>. В четверг 7-го вечером, кроме того, занимаюсь этим же делом с Адой на West End Lane (...).

<sup>146</sup> Сражения русско-японской войны, ставшие предвестниками революции. «История ворвалась в частные квартиры (...) призрак революции стал плотью. Попутные ветры донесли ее испарения до Дальнего Востока, Манчжурии, Квантунгских окопов. Порт Артур пал, эскадры Рождественского и Небогатова погибли при Цусиме. «К Архипелагу начала века»: ПФ. 210–211.

<sup>147</sup> Сесил Рот (1899–1970) — историк, автор многочисленных работ по еврейской истории, сотрудничал с ВЕКом.



Кое-какие мысли о человеке-ракете (взлет толчками-взрывами). По поводу сообщения Yahud'ы<sup>148</sup> об испанской статье в связи с моей старой работой о Достоевском и еврействе — тема для целого романа «против честолюбия». Здоровье не совсем удовлетворительно. Но стремление работать очень сильно. Освободился как будто от наваждения политики, хоть продолжаю за нею следить. Даже впервые переживаемые в Англии парламентские выборы мало задевают, а как «живо» относился я к ним еще в России (1906, 1907, 1912 гг.), а также в Германии — еще со студенческих лет! Явно, что судьбы Европы уже не решаются всеобщим голосованием: подает голос сам Рок. Сейчас еще подумую о Времени (...).

#### **20.VIII.40. Утром.**

В связи с мыслями последних недель о таинственном в мироздании, в природе, в истории, во всех междучеловеческих отношениях. История религии, философии, науки — прогресс, так сказать, в разоблачении; облакающее мир облако есть бельмо на собственном глазу, и очевидно, без систематического хирургического вмешательства есть род самообмана. Отравляет ли в таком случае философия жизнь? (...)

#### **26.VIII.1940. Утром.**

Война как Божья кара. Ставка на насилие включает как слагаемое готовность стать частично, по крайней мере, объектом насилия. Если игра с подобного родом ставкой грех, то он в самом себе таит, по крайней мере, частично, возмездие. Возмездие за греховные дела — кара Божья. Иногда в бессмысленной гордыне полагают, что при грозящем проигрыше возможно избежать заслуженную кару путем непротивления насилию; спасают при этом, однако, в лучшем случае себя, но не свое Я, сохранив вековые строения, подвергают уничтожению тысячелетний строй. Что пользы в том, что отстояли собор, если при этом распыляется

<sup>148</sup> Аврахам Шалом Яхуда (1877–1951) — историк и востоковед.

соборность? И стоит ли прекраснейший храм того камня, на котором воздвигнута по евангельскому слову Церковь? Истинно верующий тот, кто осознал себя гражданином Невидимого Града; истинный гражданин тот, чей город, чье Сити — здесь, но не сейчас, и в прошлом и в будущем; сейчас, но не здесь, в этих вот пределах и строениях, а везде, в нетерпеливо совершенствующемся гражданском строе. Так, каждая человеческая душа тем ближе к вечному и неистребимому источнику всего живого, чем отчетливее проявляется она в телесных своих пределах, как не от тела сего, как гостя из царства не от мира сего, как частица целостности, лишь слабым отражением которой может стать целое человечество. Блаженны верующие, ибо унаследуют Землю.

#### **14.X.40. Полдень.**

Снова сирена. Последняя запись здесь от 26-го августа. 7 сентября наш Город оказался настоящим Градом. Так и по сей день. Много мыслей в связи с этим. Надо вести хронике, куда возможно, и жить, как в Псалме 57-м<sup>149</sup>.

**15.X.40. 5 ч. веч.** Если есть субстанция, то весь мир должен быть насквозь субстанциональным. В этом онтологический смысл учения о Творении, с одной стороны, — учения об Идеях, с другой. Видеть ядро и вещи, прежде всего — людей, Историю, культуру сквозь разъединяющую призму пространства, в этом суть того искусства, которому учит Философия. Оттого-то я люблю ее с юношеских лет (...).

---

<sup>149</sup> Псалом 57 (56 по христианскому счету): «Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй, меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповаet душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды ...».

---

## DIARY 8

**7.VII.1942. Вторник.** London. British Museum. 1.30 по<полудни> (по времени, бегущему на два часа вперед).

К возобновлению записей: опыт обогащает разоблачениями. В видимой действительности реальным оказывается все меньше и меньше. Обогащение призраками было бы призрачно, если бы однажды не росла ценность истинно реального. Так при денежной инфляции подымается в цене всякая вещьность. *Beāti possidentes!*<sup>150</sup>

**8.VII.42. Серeda.** Br<itish> Mus<eum>.

«Козлы отпущения», только с другой стороны, говоря по-гоголевски. Не мой капрал наврал, врач — гений. Все это в связи с событиями последних недель, со статьей Voigt'a в польском «XIX в<еке>» и с тем фактом, что в последние дни мне удалось — после 33 лет! — перечитать «Мертвые души»<sup>151</sup>.

---

<sup>150</sup> «Блаженны владеющие!» (*лат.*) — выражение Отто фон Бисмарка.

<sup>151</sup> Пример философского синтеза. Сначала — политические события «последних недель», о которых автор думает после чтения статьи редактора британского журнала «The Nineteenth Century and After» Фредерика

**9.VII.42.** Br<itish> Mus<eum>. 1 ч. поп<олудни>

Вчера вечером председательствовал на публ<ичной> лекции Leon'a Simon'a<sup>152</sup> о Сократе и Евр<ействе> (в нашем Евр<ейском> Инст<итуте>). Что это? Общий упадок образования или особенности англ<ийского> эмпиризма и его неизбежного спутника — скептицизма — попросту маловерия? Невольно приходишь в уныние. А там, а здесь, совсем рядом — огромные события, в согласие с которыми бьется и дрожит сердце, события, в которых своя логика, свой собственный большой разум. О, если бы и мыслить, и видеть в согласии с Ним, с Ним одним (...).

Продолжаю в воскресенье.

**Воскресенье 18.VII.1943.** Tammuz 5703. Пишу, в общем, совсем, как в старые, то есть, очень «молодые» времена. Во-первых, по-русски, хотя в моих работах и устных выступлениях в последние десятилетия приходилось пользоваться — после «немецкого» периода — очень много идиш, английским, даже иврит, а в самое последнее время — еще

---

Августа Фойгта (1892–1957). Июльский номер был посвящен Польше, в которой происходили важные события: усиление Сопротивления («Гвардия Людова»), организация еврейских партизанских отрядов и начало депортации польских евреев из гетто в лагерь уничтожения. Несовместимость тенденций: сопротивление и продолжение еврейской трагедии, — вызвала ассоциацию с гоголевским оборотом «но с другой стороны» («Ревизор»): «Мишка: А разве не генерал? — Осип: Генерал, да только с другой стороны»; «Городничий: Ведь вот относительно дороги: говоря с одной стороны, неприятно насчет задержания лошадей, а ведь с другой стороны, развлечения для ума». То есть: необходимо следовать не бытовому смыслу известного оборота «козлы отпущения» («перенос вины с одного человека на другого»), а гоголевской логике: стирание плюсов минусами, выигрышей проигрышами, отчего выходит полный абсурд.

<sup>152</sup> Симон Леон (1881–1965) — публицист и историк сионизма. Член дирекции YVO. Известность принесла ему книга «Сионизм и еврейский вопрос». А. Штейнберг не разделял сионистской программы, убежденный, что евреи как всемирный народ должны жить на всем земном шаре.

и французским, мысль моя, несмотря на все это, осталась верна моему первому языку, русскому.

Во-вторых, тип писания тоже в основном не изменился: все время отражается третье и, я сказал бы, третье +  $\pi$  измерение мысли. Это пейзаж в движении, видимый с некоей платформы, которая сама одновременно в сложном движении вдоль многих осей, и вертикальных, и горизонтальных (Проекция получается неадекватной, и в этом, вероятно, одна из причин, понижающих мой интерес к писанию; по крайней мере, могу до некоторой степени восстановить перспективу, которой я, движущийся, стараюсь закрепить то, что вижу, в движение вокруг).

Но в-третьих, есть и нечто новое: тон самообладания, умеренность в выражениях, склонность избегать резкости — признак некоторой примиренности с самим собою, а потом и с мирозданием и его Зодчим и Зиждителем. Слово «некоторой» подтверждает в этих строчках то, что я хочу в них сказать: вместо резкости — осторожность, «суб-кламация», англ<ийский> understatement<sup>153</sup> вместо про-кламации — влияние Англии?

Если так, то, для большей точности — влияние Англии на меня, с ударением на последнем слове. Ну, а что касается возвращения из Швейцарии, об этом — уже после праздников.

Около 10 месяцев жил не то, что безотчетно, но так непрерывно, что даже как-то забыл или лишь редко вспоминал, что текут и мои дни, в которых надо отчитываться перед самим собой. Помню, как всегда, очень много, но и сейчас в случайный свободный час (6 часов поп<олудни>) не берусь перечислить даже самое существенное. Одно несомненно: старею медленнее, нежели бабушка-Время.

Pour mieux sauter, il faut resuler: чтобы лучше прыгнуть далеко в будущее, надо отбежать подальше в прошлое; исто-

---

<sup>153</sup> Understatement (англ.) — преуменьшение.

рик — не «оборачивающийся назад пророк», а наоборот, пророк есть заглядывающий в будущее историк!

Легче поделиться последним куском хлеба, чем маленьким хотя бы состоянием. Быть вознагражденным в сей жизни за добродетель больше в первом случае — уже по одному тому, что людей с одним куском хлеба несравненно больше, чем людей сколько-нибудь состоятельных.

Вчера снова была суббота Валаама и его ослицы<sup>154</sup>. Насколько современные сыны Пеора глупее ослон и ослиц: ведь слова «Проклинающие тебя прокляты, Благословляющие благословенны»<sup>155</sup> у всех перед глазами, а им невдомек. Слово исполнится до конца (...).

**20.VII.42** (Brit<ish> Mus<eum>). 2 час. поп<олудни>. Расписался в ожидании книги (...).

Еще два слова о «козле отпущения» (к стр. 3 от 8.VII). На этот раз — со знаком †. Французы говорят: для рагу из зайца нужен заяц.<sup>156</sup> Применяю к евреям с заячьей психологией. Чтобы стать козлом отпущения, надо быть козлом, как-никак животным рогатым, бородатым и бодливым. Вас послушать, евреи годились лишь в цыплята отпущения. Таковых в исторической природе никогда не было.

**Воскр<есенье> 26.VII.42.** 3.30 поп<олудни>. Hampstead Heath, в удобном кресле. За эту неделю перевидал относительно слишком много людей. Попытаюсь подвести некоторый итог ради порядка и для иллюстрации «относительно» безмятежного время препровождения.

В понед<ельник>, 20-го, из Музея, после того, как навел несколько справок, касающихся России, отправился в «Конгресс», т.е. на Holborn, где я «теоретически» организую Ученую Комиссию. Оттуда зашел на лестни-

<sup>154</sup> Бемидбар. 22:28

<sup>155</sup> Баал-Пеор (Хозяин Пеора) — моавитянский божество, которому во время отсутствия Моисея евреи поклонялись как идолу. «Проклинающие тебя — прокляты...» (Берешит. 27: 29–30).

<sup>156</sup> Полная фраза: «Pour preparer un ragout de lièvre, il faut d'abord un lièvre».

цу Holborn'ской Публич<ной> Библ<иотеки>, чтобы скорее съестъ бутерброды. В Конгрессе, помимо пересмотра разных периодических изд<аний>, еврейских и нееврейских, «серьезный» разговор о еврейском единстве втроем с А. Л. Eusterman'ом и земляком, полубанкиром, полупо фамилии Историк (помню, помню, как он сотрудничал в нашей двинской «Shoshana» — дело было в 1902 г.<sup>157</sup>, пользуясь некоторой помощью Л. Н. Толстого, напр<имер> «Единицей» из «Детства, Отрочества etc»<sup>158</sup>). Закусив на лестнице читальни, поехал до Notting Hill Gate по подземке, а оттуда пошел пешком на свой русский урок на Abingdon Rd в Kensington' Road-е. Ученица — Mrs. Елена Ивановна Робертс. Вернулся на автобусе 31-ом. На углу моих Fairhazel Gardens попался сочинитель Jonn Symons, заведший тут же на улице разговор о «Бедных людях» Достоевского<sup>159</sup>. Два слова на улице же с Митой<sup>160</sup>. Пришла Евгения Борисовна (Женя) Гурвич, после больницы. Зашел Лева<sup>161</sup>, чтобы условиться о работе (по поводу Камчатки). Проводил с С<офьей> В<ладимировной> Женю до больницы St. John's' и St. Michael'a, где умирал (пишу ведь post mortem) Борис Савельевич Гурвич. Затем проводили Е<гению> Б<орисовну>

<sup>157</sup> «Шошана» (Лилия) — рукописный ежемесячный журнал на иврите, который выпускали в Двинске братья Ицхак и Аарон Штейнберги и братья Шломо и Хаим Вовси («Мой двинский друг Шломо Михозлс»: ПФ. 174—176). В шуточной поэме К. Эрберга 1922 г. А. Штейнберг запечатлен в таких строках: «Тут же «Лилия Сарона»/ Говорю я про Арона/ Охраняем фило-софьей, / Посвятил немало слов ей, / Уверяя, что система-тической философы / Он добиться может ныне / Почему-то лишь в Берлине» (Белоус. II. 744—745).

<sup>158</sup> Глава «Единица» в «Отрочестве» Л. Толстого.

<sup>159</sup> Видимо, Джулиан Г. Симонс (1912—1994) — британский журналист, критик, редактор и писатель, теоретик детективного жанра. До войны он выпустил два сборника стихов и приобрел известность как литературный критик.

<sup>160</sup> Мита — младшая дочь И.-Н. Штейнберга.

<sup>161</sup> Лева — Leo Steinberg (1920—2011) — сын И.-Н. Штейнберга, будущий известный американский художественный критик.

до Swiss Cottage. Она уехала, мы — домой. Засыпая, думал о своей лекции в т. н. Институте Еврейской Учености<sup>162</sup>.

В таком темпе не успею дорассказать о всей неделе. Надо нажать на педали (...).

Пятница, **1.XII.44**. 2 ч. поп<олудни> Вр<itan> Mus<eum>

Вчера: из музея в Конгресс. Засед<ание> о «Поношении групп», юридические вопросы, с участием Dr. P. Weis'a, A. Liverhant'a, Mr. Perelman'a и Dr. F. R. Bienenfeld'a<sup>163</sup>... Вернулся усталым домой, читал С<оне> вслух о «мистерии Израиля» из английского издания J. Mannheim'a «Искушение времени». — Бердяевщина без русской полноты чувства. Сегодня утром обычные новости: газеты и радио. На пути сюда звонил больной А<лександре>, о которой надо написать том<sup>164</sup>. Смута, смутное впечатление. Много бесед с С<оней>. Весь тугой узел — человек, как он есть и как он навеки описан в первых трех главах Книги Бытия. Одно слово: Я — сын Адама (...).

Подходит к концу третий год второй мировой войны при погоде...

### **После 25 июня 1946 г.**

Вчера, во вторник 25-го, по календарю и его условностям, я вступил во второе пятилетие шестого (!) десятка жизни. Как странно, что мне все еще кажется, будто я вчера лишь был в детской. Ключ — работа и упражнения памяти. В известном смысле я вчера как бы праздновал пятидесятилетний юбилей этой работы, потому что помню себя и свое развитие с пятилетнего возраста. Мог бы подвести

<sup>162</sup> Еврейский научный колледж в Лондоне.

<sup>163</sup> Доктор Пол Вайс (1907–1991) — юрист, с 1954 г. — консультант по правовым вопросам канцелярии Комиссара ООН по делам беженцев; Артур Ливенгант — сотрудник Отдела культуры ВЕКа, Хаим Перельман (1912–1987) — философ, логик, участник бельгийского сопротивления, доктор права; доктор Ф. Р. Биненфельд — исполнительный член ВЕКа, автор книги «Религия нерелигиозных евреев» (Вена, 1938; 1944), работал в Комиссии по правам человека ООН.

<sup>164</sup> Расстояние во времени обратно пропорционально расстоянию в пространстве в этой тетрадке.



некоторые итоги сознательно прожитого полувека. Естественный повод также для обсуждения своей ближайшей «пяtilетки». Оглядываясь назад, полагаю, что все до сих пор — период первоначального накопления. Пора перейти к серьезной организации производства. Элемент субстанциональный — еврейское религиозное сознание в оболочке русской стихии, европейской атмосферы, на фоне всемирности и в потоке всечеловеческого движения. Это — ядро. Если бы оно разложилось, это был бы и духовный, и физический конец<sup>165</sup>. Но при моей, благодарение Богу, любви к Нему и к Его творению, я верю также в сохранение «себя», каким создан Его волей, до самого перехода за черту здешнего бытия. Надо быть достойным Его милости. Пусть вчерашний день действительно будет днем рождения — днем нового как бы начала. Дай Бог!

С 18 апреля не записывал. А многое следовало бы на всякий случай. В ближайший раз попытаюсь перечислить хотя бы главные факты. С конца марта здесь брат и Анюта. С А<лександрой> — дальнейшая, пожалуй, заключительная, фаза. В еврейской политике тоже новая фаза. Вполне благополучно с С<оней>, материальные дела чуть-чуть поправились. В делах общечеловеческих принимаю сердцем горячее участие. Часто возношу молитвы. Здоровье могло быть лучше, но и это зависит от напряженности — и веры, и надеюсь, и любви. Много мыслей из сферы чистоты. Это не перечисление, а черновик его. Если удастся, полностью и разовью его. (...)

**Среда, 3-го июля 1946, 5 ч. поп<олудни>**

За эти дни кое-что продолжало развиваться. Во-первых, с Ис<ааком>. В пятницу вечером провели три часа в обходе

<sup>165</sup> Штейнберг настаивал на идентичности, в противоположность известным еврейским философам середины века, «желавшим спрятаться, исчезнуть, раствориться, отказаться от идентичности» (М. Ямпольский. Сообщество одиночек: Арент, Беньямин, Шолем, Кафка // Новое литературное обозрение. № 67. М., 2004).

главных тем — и все остались с виду довольны. В суб<боту> днем стало известно, что в Палестине открылся кризис, самый серьезный с турецких времен<sup>166</sup>. Третьего дня пришел Ис<аак> с тем, чтобы при моей помощи (по всей вероятности, только технической) начать новую кампанию, сейчас совершенно, по моему мнению, никчемную, и, пожалуй, весьма вредную<sup>167</sup>. Волновались. Я больше, потому что все это меня тревожит в высшей степени вовсе не только с еврейской точки зрения. И<саак> — тот же, каким я его знаю с детских лет. Чуть не дошло до полного разрыва. Дух, точнее, бездушие нашего времени, м<ожет> б<ыть>, парализует; его он (или оно) разъедает и разлагает. Это меня глубоко огорчило. Долго не мог думать ни о чем другом. А сердце перестало болеть и замирать лишь вчера к вечеру, когда я с С<оней> сидел после заката на Hampstead Heath, предаваясь воспоминаниям о нашем первом учителе Талмуда в Двинске<sup>168</sup>. Приходится подвести общий итог целой колонке разочарований.

Открыл при этом какое-то существенное сходство между требовательностью И<саака> и той, что всегда присутствовала в развитии факта А. Так и выходит, что я по сию пору склонен переоценивать реальное значение нравственного фактора в непосредственном окружении. Но чтобы сказать это алгебраически, никакое разочарование до сих пор не разочаровывало меня в чарах очарованности. Это ни в коем случае не влечение к «возвышающему обра-

<sup>166</sup> «Черная суббота» — 29 июня 1946 г. британские власти арестовали членов правления Сионистской организации Эрец-Исраэль, произвели обыски оружия в поселениях, интернировали подозреваемых в принадлежности к Пальмаху, а «нелегальных» олим отправили на Кипр. «Турецкие времена» — 1516–1917, когда Палестиной владела Османская империя, после чего, по мандату Лиги наций, перешла под управление Британии.

<sup>167</sup> «Новая кампания» — Британская Гвиана, над проектом которой И. Штейнберг работал весной и летом 1946 г.

<sup>168</sup> Р. Йона из Вильны, изучение Талмуда с ним началось в 9 лет.

ну». Это этический априоризм. Моя постоянная склонность подпадать под «очарование» не менее подтверждает сверхопытный принцип, чем фактические заблуждения его подкапывают. Существует ли кто-то, в ком бы я не разочаровался в конце концов? Пусть не существует, я все-таки скажу, что суть не в эмпирическом существовании, а в сверхопытном бытии. Это звучит как подтверждение Heidelberg'ских годов, а между тем, это урок уже не слишком короткой жизни. Беда, конечно, во мне самом: мое воздействие или действие Добра через меня слишком поверхностно. Может быть, из-за того, что я слишком занят искоренением в себе зла. М<ожет> б<ыть>, я в этом недостаточен уповал на помощь Божию.

В конце концов, все сводится к тому же: преувеличенное недоверие к самому себе отражается по необходимости на степени «доверия» других ко мне. Очевидно, необходима серьезная реформа судопроизводства в моем внутреннем мире. После опыта последних лет она назрела, а теперь я, в сущности, в стадии ее разработки.

Если я ее проведу, все, что было, имело смысл не только для меня, но и для всех, кому суждено еще прийти в более тесное соприкосновение со мною, будь-то хоть бы одна — единственная душа, или только я сам (...).

---

## DIARY 10

### Четверг, 31 октября 1946 г.

Из относящихся сюда размышлений последних дней:

1. Время, связанное с изменениями (в пространстве), координируется с «внутренним» временем, очищенном до степени умственно конструированных абсолютных часов (по Ньютону), в последнем смысле координированных с умственно конструированным пространством, подобием абсолютных часов, вернее, с их «лицом», говоря по-английски, или циферблатом, говоря на русско-немецком языке. Все это сплошь опровергает Бергсона, и об этом — в связи со временем человеческим (не психологическим) и историческим — разговор особый.

2. Делание истории на почве «существующего положения», т.е. так называемая «реальная» политика не в противовес «моральной», а в отличие от «утопической» политики есть по существу нечто внутренне противоречивое, потому что само «делание» есть факт не существующий, а в процессе становления, и в качестве такового, имеет место в *οὐ-τοπ*'м.<sup>169</sup> Даже повторение пройденного есть про-

---

<sup>169</sup> «Не-место, утопия» (греч.)

хождение повторенного, становление повторения из источника воления. Воля же к повторению, т. е. консервативное стремление к сохранению уже опустившегося в Прошлое, есть в лучшем случае творчество наперекор стихии и потому более. А не менее утопично, чем откровенное признание истинного «положения» вещей, которое заключается в «факте» заземленности Пространства между Прошлым и Будущим (...).

Вставка [на отдельных листах]

**23-го октября 1949. Воскр<есенье>. 11.30 веч.**

Очень хочу писать, записывать, не давать чувствам и мыслям проходить бесследно в мире вещественном. Ничего общего не имеет с тем, что можно назвать «старостью». Какое там! Самая большая помеха для деятельности даже такого порядка, как простое записывание, — непоколебимое доверие к твердости своей памяти. В этом я истинный сын матери и внук матери, которые до конца жили силою памяти, опровергая свидетельство старческой внешности грамотами из неисчерпаемых внутренних кладохранилищ.

Как всегда, как все это время, в течение по меньше мере пятидесяти лет (т. е. с девятого года жизни сей), пишу, и мысль резво бежит, точнее, мысли резво бегут и сбоку, и впереди и набегают даже как бы сзади, бегут табунами, кружатся в веселой пляске, невольно отвлекая от медленно — легкой лестницей спускающихся вниз по листку — строчек (...).

---

## DIARY 11

Случайные записи

‘Довлеет дневи случай его‘

Лондон. **27.IX.1951.**

Возвращение к старой привычке (дневникам юношеских лет и последующих периодов) — свидетельство восстановления доверия к себе. Если так, эта первая запись после очень долгого перерыва не столь уже «случайна». Но что есть «случай»?

Этим вопросом подтверждаю свидетельство о доверии к себе, а вместе с тем — верности себе. Любой почти факт превращался для меня в проблему чуть ли не с детских лет. Именно это явление определило для меня философию как судьбу. В этом отношении все, как будто, осталось по-старому. А мне ведь уже минуло — подумать только — шестьдесят лет. Пожалуй, многие потому и подозревают, что я преувеличиваю свой возраст, что во взгляде моем отражается менее звание ученого, нежели любознательность ученика. Если я так долго и упорно избегал высказываться на бумаге о самом себе, объяснение, вероятно, все в том же: я не-

прерывно продолжал учиться самоведению, если можно так выразиться, путем изучения людей и человеческих отношений как бы вне меня, как если бы я сам при этом присутствовал, отсутствуя. Философия — моя судьба, стремление к точному проверенному знанию — это, очевидно, диктовало мне надолго забыть, что и моя собственная жизнь — вопрос, проблема.

**Того же, 27-го**, два часа спустя.

Все это вовсе не значит, что в этих «случайных записях» я собираюсь заниматься исключительно собой. Однако это записывание для одного себя не может не быть, хочу я того или нет, разговором с самим собою, и притом как бы вслух, въявь, так что отсутствовать я при этом уже никак не смогу. Даже говоря о бытии природном, с ней, с природой, буду я, говорящий, записывающий, я целиком, какой я есть, каким я стал. Беда лишь, что в процессе писания все время будет происходить отбор каких-то точек и беглых линий, кажущихся существенными в самый момент писания. Помочь, так сказать, беде могло бы лишь одно — реальная целостность моего существования в потоке времени. Не исхожу из этого, как из факта, но допускаю его возможность. А может быть я и в самом деле целостная личность? В этом смысле само ведение этих записок есть попытка собрать материал для ответа на вопрос: существую ли я как некая неподвластная времени единица? В этом смысле само ведение этих записок есть попытка собрать материал для ответа на вопрос: существую ли я как некая неподвластная времени единица? Слово «некая» предостерегает против слишком смелых предположений. Это, иначе говоря, вопрос об относительном бессмертии, о том, которое может утверждать, хотя бы на основе твердой памяти. Ведь очень многие люди лишь потому считают, что бессмертия нет, даже как вопроса, лишь потому считают, что они сами без рода как бы и без памяти и лишены опыта самого относительного преодоления собственного небытия. Конечно, нет людей-нулей; но между единицей и нулем бесконеч-

ность степеней, и два основных типа: те, кто «приближаются» к нулю, и те, что «стремятся» к округленной единице. Математика и Метафизика, — пишу, улыбаясь, — не столь уж враждебны друг другу и иногда могут оказывать взаимные услуги. Из чего отнюдь не следует, что я предполагаю, будто единица всегда «больше», значительнее нуля. Может оказаться, что «стремление» к целостности — сплошное проклятие и, будучи для того или иного судьбой, обрекает «стремящегося» окаменеть в жесте порыва и уподобиться мраморной статуе, о которой я записал свои стихи в 1913 г. в сквере в С.-Петербурге.

Мой дух закован в тяжкий мрамор,  
И вот — на берегу туманных дней  
Я изваяньем бледным замер,  
И бег времен мне стал видней.  
Несутся дни и плещут воды,  
И в них трепещет мой двойник,  
Но я ...

и т. д.

Все это можно бы обставить причудливой изгородью вопросительных и даже восклицательных знаков. Однако же — где «случай», которому довлеет нынешний день?

Случай этот — мое возвращение из Швейцарии, откуда прилетел вчера под вечер вместе с С<оней> после двадцатидневного отсутствия. Он-то, в сущности, и побудил меня сегодня взяться за карандаш. И все же прежде, чем к нему вернуться, я хотел бы отметить одно самонаблюдение.

**7.X.51.** Париж. Отель “Stella”, 20 Av. Carnot

Воскр. 7-го октября, 1951 г. 11 час. веч.

Прилетел сегодня из Лондона, чтобы иметь завтра беседу с директором UNESCO (Dr. J. Torqu-Bodet<sup>170</sup>) в качестве директора культурного Департамента Всемирного Еврейск<ого>

<sup>170</sup> Генеральным директором ЮНЕСКО в 1948 г. был избран Джейм Торрес Бодет (1902–1974, Мексика).



Конгресса о т.н. «культурных правах», включенных в проект Договора о Правах человека, занимающих последние годы особую комиссию Объединенных Наций. Этот тот именно род деятельности, который сделал меня несколько чуждым самому себе. Нередко чувство у меня такое, что я в таких делах играю какую-то кем-то придуманную роль. Но режиссер, автор пьесы («Моя Жизнь») и главное действующее на сцене лицо так ловко заменяют друг друга, что невольно напрашивается вопрос, не есть ли основная моя черта, а потому и главная моя роль, — чехарда с самим собою. Где бы я ни был и что бы ни делал, всегда норовлю перепрыгнуть через собственную голову. Мне всегда как будто «низко» с самим собою и хочется быть повыше себя, хоть бы посредством иронического подсакивания. Дошел до того, что говорю это без всякой горечи. Может быть, по той простой причине, что теперь-то я уже точно знаю, насколько в такой самооценке правда слита с неправдою. Глядя назад, я могу, кажется, даже обобщить: им в совсем старые времена в моем самоотрицании было не только отрицание несовершенств личных, отражавшее притязание на совершенство, но также и недоосознанное проникновение в суетную суть сущих, общепринятых ценностей. Ну как можно, не будучи слепым, принимать за чистую монету оборотную сторону подделанной медали?! Ясно, что в этом можно участвовать лишь при готовности «служить» на сцене и уважать сослуживцев за их актерские таланты. В наше время невозможно быть без маски современником, то есть активным членом синхронистической группы. Потому что она сама всегда не группа, а труппа. Это так, куда ни глянешь. Но это не было так в 1907 г., когда я впервые попал из России за границу — в Швейцарский Цюрих. Мне тогда было не 60, а 16, и вот это-то вычитание: 60—16, т.е. сорок четыре года, с тех пор прошедшие, и есть тема, к которой я исподволь подбираюсь. Изменился не только я, но мир вокруг меня, и может быть, вся разгадка моего личного вопроса в том, что я изменился гораздо меньше, чем мир вокруг, хотя ему-то не шестьдесят лет, а в сотню раз больше того. Говорю, само собою, о нашем историческом бытии: от пира-

мид до самодвижущихся мумий. Так по хронологии приблизительно и выходит: шестьдесят стократ. Может быть, завтра продолжу (...).

### 23. II.51.

Ровно семь седмиц не записывал. Другими словами, «вернувшись из Швейцарии», заблудился в лондонских переулках. Но в последние дни опять выбился на дорогу. Не буду перечислять «пьесы», в которых выступал в эти семь недель. Упомяну лишь Британскую Секцию Евр<ейского> Конгресса; три речи представителям (и представительницам) сионистских групп, включая — о евреях в России — в Манчестере 6-го декабря доклад по-немецки об экзистенциализме у раввинов из Германии и т.п. 20-го в четверг. Просматривая новую книжку Ясперса (по-англ.: «Way to Wisdom»)<sup>171</sup> я был отброшен к моим юным гейдельбергским годам, когда Ясперс, уже тогда психиатр с репутацией, вместе со мной, 18-ти летним студентом, участвовал в обсуждении «Критики чистого разума» в семинаре убитого в 1915 г. на войне в Галиции Эмиля Ласка<sup>172</sup>. Неужели, думалось на окраине сознания, эти 42 года сплошь потерянное время? И можно ли еще наверстать? Неужели я всегда жил лишь для того, чтобы было что вспоминать? Вспоминать, несомненно, есть что. И хорошее, и нехорошее, с примесью среднего; и верное, и ошибочное, с примесью грубых недоразумений; чудесное прекрасное — в природе, в истории, в любви, хоть и тут с отклонениями в безвкусицу и в отвратительно-безобразное. Но неужели же все это лишь одно непрерывное «le temps perdu»<sup>173</sup>? Если бы

<sup>171</sup> Карл Ясперс (1883—1969) — психиатр, философ; настаивал на внимании философии к разуму человека, к его общению, а не к «существованию». Автор книги «Way to Wisdom» (London, 1951).

<sup>172</sup> Эмиль Ласк (1875—1915) — профессор философии Гейдельбергского университета; студент А. Штейнберг участвовал в его семинаре и под его руководством написал диссертацию на тему: «Der Begriff der Realität» («О понятии реальности»).

<sup>173</sup> «Утраченное время» — реминисценция на эпопею М. Пруста «В поисках утраченного времени».

это было так, мне не остается ничего другого, кроме писания «мемуаров», о которых, конечно, я сумел бы снова «вспоминать» *post-factum*. Для того ли я вернулся из Швейцарии? Вопрос этот я ставлю как будто серьезно и сосредоточенно, с искренним как будто огорчением и все же не без легкой внутренней улыбки, как если бы настоящая его цель — вызвать в самом себе возмущение. И хоть возмущаться я по нынешним временам не стану, но чистосердечное признание, так и быть! — сделаю.

Нет, в архив, как говорится, я себя еще не собираюсь сдать. Даже если бы я засел за «мемуары», суть плана заключалась бы в попытках перебросить мост из отдаленного прошлого в не слишком далекое будущее. В последнем случае я непременно хочу вернуться из страны юношеского полуротчаяния — полу-восторга в полновесное настоящее. В это истинно настоящее я веру не потерял. Потому что, несмотря на все, что было и стало бывшим, одно не перестало во мне быть и жить, не подвластное времени, и это — моя вера, вера во мне, вера в то, что меня самого и все вокруг меня объемлет, несет, сохраняет; что настолько несравнимо ни с чем, что вне меня или во мне, настолько неподобно всему этому, что сама категория неподобия или несравнимости в сущности в данном случае неприменима. Одним словом, во всех странствиях верным моим спутником оставалось знание об Имени, которое не надо произносить вслух. О нем я не «вспоминаю» — оно есть, присутствует, определяет и направляет. В «воспоминаниях» Ему нет места. Но выключить его, взять его грубо материалистически или логически или литературно, психологически говоря, «за скобки» — это означало бы разворачивать непрерывно свиток лжи.

К этому надо сделать одно существенное примечание. «Свиток лжи» может быть, конечно, предметом моего сочинения. Но оно удалось бы мне лишь в том случае, если бы сама «ложь» была лишь средством для того, чтобы подсказать без слов святую истину, не высказанную, потому что несказуемую. Несказуемая ли она? Так ли это? Такова ли

она по своему существу или же по причине моей личной слабости, все равно, проявляется ли моя слабость в скромности или в страхе?

11 утра, под музыку (радио, скрипичный) концерт Бетховена, с пластинки). Неужели я всегда жил лишь для того, чтобы вспоминать?

#### **24. XII.1951.**

Проснулся на рассвете. За окном — яростные порывы ветра, дождь хлещет в стекла, еще совсем темно, а вокруг меня в постели островок тишины и какого-то незаслуженного уюта. В постели ближе к окну С. крепко спит, и можно различить ровное дыхание. Еще внимание отвлечено обрывками нерасшифрованных ребусов-снов, но уже все внешне-внутреннее и внутренне-внешнее отступает за пороги сознания, освобождая место для очевидного вопроса: «где?».

Это другая разновидность одного из пунктов моей всежизненной программы: найти и выразить линию либо разъединяющую, либо соединяющую на карте всезнания области, зарегистрированные в нашем словаре под терминами **Философия** и **Религия**.

Свистопляска за окном не унимается. Голова удобно покоится в глубоком полушарии подушки, рядом — равномерное дыхание, можно как следует, не торопясь, подумать. Направление: потусторонность и внутренняя замкнутость, или в обратном порядке — Творение и Творец, тварность — *natura-tum* — как внутреннее указание на потусторонность (...).

#### **Вторник, 12.1952.** Лондон.

Вижу, что я уже 30 и более лет тому назад мыслил, чувствовал и, главное, жил в однородной стихии. Это то, что называется «дух времени» и, не отставая от еврейских корней, я — осязательное подтверждение того, что мы — жизненный элемент объединяющегося рода человеческого.

---

## DIARY 12

### Подспорье памяти,

(все еще довольно сносной)

**Воскр. 3 мая 1953.** В 7.50 вылетел в Мадрид, после разговора на аэродроме с представительницей «News Service» — Мадрид, Лиссабон, Дакар. Легко и приятно. Чудесно в начале, мы над Бискаем. В Мадриде — мысли о хереме Ис. Абарбанеллы<sup>174</sup>. В Дакаре — после необыкновенного заката над Атлантикой — влажная черная ночь. Хороши сенегальцы (...).

**Понедельник 11.V.1953.** Буэнос-Айрес.

С утра звонки по поводу предстоящего визита (вместе с Львом Абрамовичем Лопакó<sup>175</sup>) у посла Израиля Якова Самойловича Цура (Черновица)<sup>176</sup>. Поехали к нему на це-

---

<sup>174</sup> Ицхак бен Иехуда Абарбанель (1437–1508) — государственный деятель, религиозный философ. Его херем (проклятие) относился к Вавилонской башне, когда человечество, ступив на путь технологического прогресса, удалилось от естественности природы.

<sup>175</sup> Л. А. Лопакó (Leon Lapaço) — доктор, представитель ВЕКА, член правления Союза русских евреев в Германии.

<sup>176</sup> Яков Цур (1906–1990) — дипломат, был послом Израиля в стра-

лый час — беседа по древнеевр<ейски>, идиш, по-русски, англ<ийски>, нем<ецки> и фр<анцузски>. Поехал обедать. Составили с «доном Бернардо» (мой секретарь) коммюнике для печати. Написал статью для Грузмана<sup>177</sup>. Диктовал письма синьорине Флоре Тоф<sup>178</sup> (...).

#### **Четверг 14.V.1953.**

Утром в бюро подписывал письма. За обедом Яков Шейницкий<sup>179</sup> рассказывал о музыкальной жизни. После обеда в отделе составлял план лекции «Всемирный еврейский народ в нынешнюю эпоху». Немного соснул (редкость!). Дописал письмо С. Был в актовом зале — 700–800 человек. Справился с задачей. Домой пошли с «Лопако». Все поздравляли с успехом.

**Четверг 21.V.1953.** По окончании праздника ко мне поступался Аврам Марголин — родственник, знавший Эльяшевых, и побеседовали до самого кафе, где меня принимала ИВО (...).

**15.VI.53** (...) В субботу, 13-го, проснулся поздно из-за оставшихся гореть ламп. Пришел за мной Venito, чтобы отвести в синагогу. Там много народу пришло слушать мою «проповедь». Говорил на тему: Mi-dei hodesh be-hodscho. Оттуда u-mi-dei Shabbath be-Shabbatho на обед к Шохеру Лякс<sup>180</sup>.

Листок из дневника: «Над океаном», между Рио-де-Жанейро и Докаром в Африке, в машине Эйр Франс, **14-го декабря 1954 г.**

---

нах Южной Америки: Аргентине, Чили, Уругвае, Парагвае, а также во Франции.

<sup>177</sup> Лейб Абрамович Грузман (1901–1961) — еврейский (идишский) журналист; с 1929 г. — редактор литературного журнала «Дэр Шпигл» в Буэнос-Айресе.

<sup>178</sup> Флора Тоф — секретарь Аргентинского Бюро ВЕКа.

<sup>179</sup> Член общины Буэнос-Айреса, сопровождавший Штейнберга.

<sup>180</sup> Начало цитаты: «каждый месяц» и продолжение: «каждую субботу» — две части одного стиха: Исая. 66:23.

Итоги путешествия из Лондона, в субботу вечером, 30-го октября, через Париж (воскр<есенье>, 31 окт.) (...) Свои обязанности по отношению к ВЕКу, за счет которого совершал путешествие, выполнил сполна. В отношении ревизии положения «провинции» Аргентины и «провинции» Уругвай в особенности, поскольку это касается работы и задач моего Культ<урного> Деп<артамента>. Повидал также добрых и не слишком добрых друзей в изобилии, как в Буэнос-Айресе, так и в Монтевидео (для симметрии!), познакомился с новыми «полезными» для Конгресса людьми, выступал публично, сотрудничал с Тураком<sup>181</sup>, Ригнером<sup>182</sup>, писал письма и давал инструкции в Лондон А. Г. К.<sup>183</sup>, в Нью-Йорк Блитбергу и т. д. Но главное — провел успешно участие в 8-й Генеральной конф<еренции> Юнеско (в Монтевидео). Даже сейчас, когда пишу эту запись, слева в кресле Авиньона сидит «прекрасная полячка» (Пушкин А. С. «Будрыс и его сыновья»), член делегации на конференции. Но это, разумеется, в квадратных скобках: []. Сверх всего сотрудничал в связи с конференцией с делегацией республики «Израиль» как в Буэнос-Айресе, так и в Монтевидео (Кубовицкий, Аллон, Авидор, Авида и т. д.) Продолжение следует (...)

Paris, “Stella” (Воскр<есенье> **24 апр<еля> 1955**) 7.30. (написано в аэроplane над Атлантическим океаном, между

<sup>181</sup> Марк Турак (Турков?) (1904–1983) — журналист, писатель (идиш) и общественный деятель. Родился в Варшаве. Получив театральное образование, в начале 1920-х гг. стал журналистом, членом редколлегии идишской газеты «Момент» и ее корреспондентом при Лиге Наций. С 1939 — в Буэнос-Айресе, с 1946 по 1954 гг. возглавлял ХИАС («Общество помощи еврейским эмигрантам») Южной Америки. Представитель Латинской Америки в ВЕКЕ.

<sup>182</sup> Гергард Ригнер (1911–2001) — генеральный секретарь ВЕКЕ (1965–1983). Первый, кто пытался сообщить миру о готовящемся Холокосте.

<sup>183</sup> Анна Григорьевна Клаузнер — секретарь А. Штейнберга по ВЕКу, верный его помощник и после завершения службы.

---

Рио-де-Жанейро и Дакар ом во вторник 7 ч. веч<ера> 14 декабря 1954 г. на отдельном здесь вложенном листке). Этим примечанием напоминаю себе, что в последний раз записывал в эту тетрадку 20 июня 1953 г. помимо второго путешествия в Южную Америку. Вот об этом надо будет прежде всего ради восстановления связи вспоминать. Готов вспоминать. Сейчас жду к себе ВЕКовских людей. Ох, какие два года! «Лучше не вспоминать?» Нет, всегда, в любых обстоятельствах: Да здравствует Память! Да скроется тьма! Мой вариант Пушкина!



---

## DIARY 13

Новая серия записей

**На вторник, 11 июня, 1957 г.**

Кончина Исаака 2 января повлекла за собою внутренний кризис, острую потребность подвести итоги не только его жизни, но и моей, протекавшей с самого начала в его присутствии, в сосуществовании с ним. Его нет, и во мне и со мною — его отсутствие. Только теперь я осознал, чем он был для меня и чем я был для него, несмотря на все расхождения и разногласия. Расстояние между нами было «между» нами и нас соединяло: во мне было направление к нему, в его сторону, навстречу его направленности ко мне. Это кончилось. Его больше нет, и оборвалась полоса моей жизни, которая тянулась с незапамятного детства. Обозревая его земной путь, ныне завершившийся, невольно вижу и свое прошлое — с первых дней общей детской до времени настоящего и предстоящего — как бы завершенным, и с некрологом, ему посвященным, связывается траурное, хотя и еще не надгробное слово о единственном брате моего брата, о самом себе. Созерцаю себя, как если бы и я сам отошел, и к мучительному вопросу, что оставил он после себя, при-

соединяется другой заостренный вопрос: что оставляю я и в чем смысл дальнейшего накопления жизненного опыта?

Итог, подведенный смертью, побуждает меня заняться подведением итогов заблаговременно, покуда еще живо сознание ответственности за еще не завершившуюся жизнь. Чувствую себя как бы наследником опустевшего престола. «Брат умер» — смогу ли воскликнуть: Да здравствует брат!?

**Вторник, 11-го июня, 10 веч.**

Перечитал написанное вчера. Все верно, как будто верно. Прошедший сегодня день — отрезок времени, но не приросший к пережитому прошлому, а отрезанный от вчера еще не бывшего будущего. Оно убавилось. А прибавилось ли что-либо к прошлому? Пошел ли истраченный отрезок впрок? Больше, чем когда-либо раньше, внимание направлено не от начала к концу, а от конца к началу. Неужели быть отныне одним расходом, без намека на приход? Добрый хозяин обязан быть честным счетоводом. Хозяйство у меня большое, а книги запущены. Как трачу я остаток будущего? Как тратил я его за прошедший день?

Проснулся в начале девятого. Сны рассеялись бесследно. Просмотрел утреннюю газету; сообщил кой-какие новости Сонюре — о болезни Айзенгау(э)ра (с непривычки пропустил-таки э-оборотное!), об алжирских бомбах, о вреде водородных взрывов и т. п. Занимался туалетом, комментируя в уме воспоминания, рассуждая и воображая; и, наконец, водворив некоторый порядок в портфеле, отправился в свое бюро в Доме Конгресса на Ново-Кэвендишской улице номер 55, в Лондонском участке В-1. Провел там больше шести часов подряд, из них — почти 2½ в разговоре с Истерманом, в который под конец ввязался и Росс<sup>184</sup>. Тема главная — внутренние трения между старшим и младшим поколением «деятелей». Я — между поколениями и равно сочувствую и тем, и другим. Другая тема: как наилучше связаться с отрезанными коленами Израиля. Моя задача — заботиться

<sup>184</sup> В календаре: Алексей Росс, сотрудник Штейнберга по ВЕК'у.

об их «культуре», которая моих собеседников, в сущности, совсем не интересует.

Сверх того, за эти шесть с лишком часов читал адресованные мне письма: из Америки, Северной и Южной, Германии, из Швейцарии, из Израиля, из «Италии и так далее». Диктовал сам письма стенографистке Шэрли, затем подписал переписанное на машинке, администрировал, отвечал на обращения по телефону, уславливался о встречах. Короче, действовал в соответствии со званием своим Главы культурного Департамента Всемирного Еврейского Конгресса. Это ли не дело? Это ли не сплошной расход? Может быть, стоит на этом остановиться и разобрать вопрос в подробностях. Неужели все это, как я склонен думать, не что иное, как размен будущего на мелкие минуты, бесследно испаряющиеся? Вопрос этот — целый сгусток вопросов, из которых каждый избородил не только мою жизнь, еще не завершившуюся, но и жизнь Исаака, итог под которой подвела неожиданная для него смерть. Среди этих вопросов, конечно, самый явный: наш общий вопрос — еврейский. Чем был он для него; что он для меня?

**Среда, 12 июня. 10.30 веч.**

К последнему пункту можно подойти с противоположного конца: чем был для Исаака, чем приходится мне вопрос «нееврейский», общечеловеческий, в частности, русский вопрос? Ведь не случайно пишу я для себя по-русски. Уже вчера, после того, как я поставил заключительный вопросительный знак, русская речь зазвучала во мне стихами.

Непревзойденная актриса,  
Белеет на небе луна —  
Серебрится скелет кипариса  
За четкой решеткой окна.

Японская ли то пантомима?  
Под китайскую тушью экран?  
Пусть скользит и зыблется мимо  
В глубину неисследованных стран...

...Все это правдиво и на тему: любовь моя к Нему вне закона, а потому незаконна. Она всегда побуждала отворачиваться от мира и его многообразия, б<ыть> м<ожет>, даже презирать его. Не в этом ли был всегда для меня соблазн монотеизма, а потому и пристрастие к еврейству? А если так, многое может объясниться и в мономаниях Исаака: всегда стремление и у него было — прочь от многообразия! Я радикальнее, но в последнем счете может быть столь же, в частности, антикультурен, как и он. Тут не толстовство и толстовское язычество, а настоящий коренной фанатизм еврейской исключительности, еврейской веры в Одного, в Одно — против многого и разного, еврейская извечная мономания.

Об этом буду думать и думать. Неужели так: если Бог у тебя один, то и ты сам одинок, как Бог, и лишь с ним можешь «незаконно» запереться в «келье любви»? Об этом еще буду писать, хорошенько подумав (...).

**Понед<ельник> 22-го февр<аля> 60-го г.!** (Британский Музей — Читальный зал, в ожидании книг для работы о Рабинкове) 1.15 поп<олудни>.

Скоро три года, как прикоснулся в последний раз к этой тетради. Тема, затронутая на ее первой странице, за это время разветвилась. В общем, «расход» будущего, трата его протекают в старом русле. Был за эти годы в Палестине в третий раз (июль—август 57 г.), несколько раз во Франции (в 57-ом, в частности, на «своем» съезде по евр<ейской> музыке в ноябре, в 58-м тоже в ноябре, два раза на 10 Генеральной Конф<еренции> ЮНЕСКО; в конце сентября 59-го г. — на собственном докладе: «Audace et timidité dans la pensée juive»<sup>185</sup>; в Швеции 4-я пленарная ассамблея Всем<ирного> Евр<ейского> конгресса в июле—августе 59 г.; в Голландии (всякие съезды, представляя ВЕК) — в янв<аре>—февр<але> этого года); в Швейцарии — в августе-сентябре 57 г. (Lugano), а авг<усте>—сент<ябре> 58 (Женева — съезд

<sup>185</sup> «Смелость и робость в еврейской мысли» (франц.)

ВЕК'а и Уши<sup>186</sup>), в авг<усте>—сент<ябре> 59 г. — снова Лугано, после Стокгольма. Но все это на фоне Hampstead'а в нашем богоспасаемом Лондоне.

**Среда, 24-го февраля**, полдень.

Продолжаю все в том же Читальном зале Брит. Музея в ожидании книг.

За эти годы писал немного и кое-что напечатал, напр<имер>, статьи о Г. Когене и об экзистенциализме на идиш в аргентинском трехмесячнике «Давке» и к 70-летию Лейвика, тоже на идиш, в тель-авивской «Золотой цепи» («Голдене кейт»). Читал доклад на иврите (древнееврейский) на съезде по Науке и еврейству в Иерусалиме об эволюции идеи Провидения под влиянием исторических обстоятельств (август 1957 г.). В Стокгольме, в авг<усте> прошлого года — об идее еврейского воспитания. Но все это — лишь эпизоды. Более соответствует моему нынешнему складу сравнительно обширный очерк Детства и Юношества брата для сборника его памяти (на идиш), печатающегося в Нью-Йорке<sup>187</sup>. И здесь, в Музее нахожусь для подобной же работы по-английски — жизнеописания, посвященного нашему учителю «Соломону Гесселевичу» Рабинкову.

Сейчас на этом остановлюсь, но стоило бы записать подробные наблюдения над работой памяти<sup>188</sup>, сопровождавшие писание биографии брата и размышления о том, что есть правдивое изложение. И ум, и воля проявлялись в связи с мобилизацией памяти прошлой весной в не совсем привычной обстановке. Буду теперь снова проверять качество воспоминаний.

Все там же **16 XII.1961**. 9.15 поп<олудни>.

Подражание своей собственной памяти.

<sup>186</sup> Уши (Ouchy) — замок XII века в Лозанне.

<sup>187</sup> Ицхок Нахмен Штейнбергс киндерун юнгст ёрн [Детские и юношеские годы Ицхака Нахмана Штейнберга] (1888–1914) // Ицхок-Нахмен Штейнберг. Дер менч. Зайн ворт. Зайн ойфто. [Человек. Его слово. Его достижения] 1888–1957. Нью-Йорк, 1961. С. 21–73.

<sup>188</sup> 16. XII.61

Пришло на ум поразившее меня воспоминание: я часто веду себя так, как если бы я подражал стихийной работе памяти. Она, подобно свободно текущей реке, влечет в себе все, что попадется, что бы ни попало: и плотно нагруженные судна ценимой и ценной эрудиции, и отражения высокого облака, и саму синеву неба, но и всякий сор, и вздор. Память — несущую и выносливую — я с детства ценю и все снова ей удивляюсь (мне она подарена в колыбели природою матери). И что же? Я сам в своем поведении на подмостках пространственного существования следую безотчетно работе памяти: собираю и сохраняю нужное и ненужное, не решаюсь иногда расстаться со случайной бумажкой, с запиской или письмом, а даже жалею бросить окурок. Никак не могу упрекнуть себя в скупости и вот я вдруг понял, что это «плюшкинство» (и оно проявлялось у матери!) есть скупость рыцаря, чья Прекрасная Дама — Память.

В более общей форме: душевная особенность проявляется не только в разрозненных действиях, диктуемых внешними обстоятельствами, но и во всей сплошной обстановке телесного физического бытия в качестве «предмета» среди предметов. Душевная природа определяет историю личности как особый внешний фактор, причем ударение падает на слово «внешний».

Это расширяется в возможность понимания «магии», например, как попытка распространения психических закономерностей на внешнюю, материальную природу<sup>189</sup>.

[надо записывать]

Правильность истолкования с виду загадочного поведения неожиданно подтверждается последней записью в этой тетради от 24 февр. 60-го года. Почти два года не прикасался к ней, но случайно ли, что с этой последней записью дело идет о «работе памяти» и «качестве воспоминаний»? Сегодня мне захотелось вернуться к записыванию именно в свя-

<sup>189</sup> 19.XII.1961. Ср.: “*Similia similibus evocanter*” (лат.) — Как и подобные звонки.

зи с открытием, что я веду себя в повседневной жизни в согласии с «работой» моей памяти. А что до ее «качества» или «заслуги», то они, прежде всего, — в той энергии, с которой она восстанавливает непрерывность «линейного» существования во времени и создает единство или характер перекликающихся узоров в ткани этого эмпирического существования (например, между этой записью и последней от 60-го года).

Не знаю, должен ли я избрать эту тему памяти как предмет очередной обработки; нет, однако, сомнения, что надо записывать и записывать, не полагаясь на одну лишь «работу памяти».

(Час спустя). Что было с февраля > 60-го года? Много, но «для памяти» напомним себе, что в марте 60-го г. я попал под машину, и сошло благополучно; что в начале апреля был в Париже для совещаний о съезде по Евр<ейскому> Воспитанию; что затем в июне снова отправился в Париж с С. для разных съездов и участвовал в Комиссии экспертов для выработки текста Конвенции против дискриминации в образовании (ЮНЕСКО). Затем вернулись в Лондон. В Париже встретились с С. и Ф. Капл<анами> (из Аннаполиса, Мэриленд и далекого прошлого). Затем с ними в августе-сент<ябре> в Беатенберге около Интерлакена и т. д.

**19-го фев<раля> 1962 г. Понед<ельник>.**

9-й день бронхита с сердцебиением и головокружениями. Лечит д-р Г. Лефман, тот самый, к которому я обратился почти 50 лет тому назад в Heidelberg'e (перед докторскими экзаменами). Следовало бы записать разные наблюдения и соображения по поводу их. Главное: уравнение отношения к самым различным содержаниям сознания.

**Воскр. 11 марта 62 г. 11.30**

Поправился и размышляю. Очень много накопилось материала для записей.

---

## DIARY 14<sup>190</sup>

Среда, 20-го января 1965 г.  
London, N. W.3 80 Eton Place  
Eton College Road  
tel: Primrose 9311 5 pm

\*\*\*

### **Запись I-ая в новейшей серии (20.I.1965)**

Возобновляю записи в «Дневник» (необычного формата, но вполне соответствующего необычным обстоятельствам моим).

Начну с обстоятельств внешних: после очень длинного промежутка у меня с этого лета снова «свой» письменный стол (со многими выдвижными ящиками, подходящими даже для листов этого формата); квартира наша снята на 5–7 лет, а так как мне идет 74-ый год, то я предполагаю,

---

<sup>190</sup> Дневник 14 был переработан в отдельное эссе: «Списки» Аарона Штейнберга / Публикация, вступительная заметка и примечания Н. Портновой // Параллели. Русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. М., 2005. 6/7. С. 173–185.



что это моя последняя земная обитель, и я хотел бы держать ее в порядке не только в смысле пространственном, но и в смысле временном, т.е. в отношении течения жизни одного, по крайней мере, из двух ее обитателей. Второй и главный для меня обитатель ее — Соня, но она не любит дневников, неохотно заглядывает вперед и не любит оглядываться назад. Таким образом, я здесь единственный хронограф и не могу уклониться от исполнения прямой своей обязанности.

Во-вторых, пишу по старой орфографии, как и все «прежние авторы» моих дневников (начиная с 15-летнего возраста), хотя могу, когда нужно, сообразоваться с «орфографией» новой. «Авторы» во множественном числе — не описка, а тезис, который, пожалуй, разъяснится, если эти записи будут благополучно множиться. Ограничусь сейчас лишь намеком: соблюдая верность себе и приятельнице детских лет — милой букве Ъ (ять) — я все же не могу не видеть, что я ныне сильно отличаюсь хотя бы от автора тетрадки, вчера случайно найденной с записями в Берлине за 1931–1932 гг., которая, кстати, дала толчок к возобновлению письменных рассуждений о самом себе и для самого себя. Между тем, тут расстояние всего лишь в одну треть века ( $1965 - 1932 = 33!$ ), моя же память, хорошо сохранившаяся, захватывает две трети столетия с лишком. Как же могу я смотреть на себя как на одного и того же автора в числе единственном? Само собою, память объединяет и сводит многообразие лиц, в которое преломилась моя жизнь, к какому-то общему знаменательному корню, но докопаться до него — нелегкая задача, и этой работе пусть будет посвящена отчасти настоящая серия записей. Говорю коротко: хочу обозреть течение жизни в ее несомненном единстве.

Несмотря на то, что я покинул Россию в последний раз в конце 1922 года, а последние 30 лет с лишком живу, с небольшими перерывами, в Англии, пишу по-русски, на языке моего общения и с Сонею, и, большей частью, с самим собою. Неслучайно моя последняя работа, написанная по-англий-

ски (с помощью Аси), посвящена Федору Михайловичу Достоевскому. Повторяю то, что я в свое время высказал в моем печатном ответе Льву Платоновичу Карсавину (в «Верстах»), а раньше, в 1920–1921 году, устно высказал Разумнику Васильевичу (Иванову-Разумнику), а именно, что, мол, не стоит спорить о том, русские ли русские евреи или евреи. Что в отношении «пишущего эти строки» верно, это, что он был и остался, хочет ли он того или не хочет, русским евреем. Говорю о себе в третьем лице для пушей объективности. И тут новый принцип единства: всегда стремился к объективной правде о самом себе, что может быть подтверждено документально всеми авторами моих дневников, начиная с 1907 г. Постараюсь их собрать и привести в хронологический порядок.

### Запись II-ая, от кануна Субботы

**22 января, 1965**, 2–30 попол<удни> Ashak <erev shabbath kodesh> Ithro<sup>191</sup>

Вчера не записывал, хотя и хотелось, продолжая составлять «Библиографию» к англ<ийской> книжке о Достоевском. Да и сейчас мало времени до наступления субботы (кстати, помимо русского языка и его старого дореволюционного правописания, и помимо также постоянного стремления к объективности в отношении самого себя, соблюдение субботы в свою очередь — явный симптом сохраняющегося единства — объявятся и другие!). Запишу для памяти лишь краткий список списков, которые хотел бы составить, чтобы на досуге обдумать в подробностях каждый из входящих в них номеров или пунктов.

Первый из этих списков пусть будет посвящен моим оправдавшимся в действительности предсказаниям. Очень возможно, что владеющая мною способность предвидения и предугадывания — главная причина моей незаинтересованности — относительной, конечно, — в личном будущем и в собственных творческих замыслах. Они — тема второго

<sup>191</sup> Канун Святой субботы. Недельная глава Итро.

«списка». Но сначала один пример из списка первого: в январе 1907 года, в Пернове, в состоянии полуболезненном, когда мне хотелось распротиться с жизнью, я в полусонном полубреде, с закрытыми глазами, но в ясном самосознании, стал после полуночи предсказывать вслух будущее Государства Российского. Брат стал записывать в присутствии младшей из сестер Островских, Мины Моисеевны, и тетрадка его сохранилась до нашего гейдельбергского периода (еще в 1911 г. я перечитывал ее в Москве). В моем предсказании была такая подробность: в Учредительном Собрании, которое соберется после победоносной революции, брат будет видным членом фракции партии Социалистов-Революционеров, что и исполнилось десять лет спустя. В начале 1907 г. ему шел лишь 19-ый год, а время было периодом глубокой общественной реакции после крушения революции 1905 года. Но делать правильные прогнозы с конкретным предсказанием отдельных событий я начал уже во время русско-японской войны 1904–1905 гг. Если составлю намеченный «Список № 1», он даст мне возможность, так сказать, с документами в руках, оценить значение одной из, по всей вероятности, весьма неблагоприятных способностей моих. Такое же значение могла иметь моя способность твердо помнить прошлое. Настоящее мое как бы «сплющивалось» меж будущим и прошедшим, меж молотом и наковальней.

Третий список пусть будет перечислением моих напечатанных работ, больших и малых, написанных мною на шести языках: по-русски, по-немецки, на идиш, по-английски, на иврите (ivrit), а также по-французски (замечу в скобках: многоязычие — тоже одна из сопровождающих меня «бед»).

\*\*\*

**Запись III-, от 27-го янв<аря> 65** (середа, 6.30 по<полудни>)

С вечера субботы, 23-го, порывался продолжать записывать, но нагромождались всякие препятствия. Кончи-

на Черчилля (утром в воскр<есень> 24-го) тоже сильно отвлекала. Образ его сопровождал меня со студенческих лет в Heidelberg'e. Ведь уже тогда, в 1908-м и в следующие годы <я> особенно интересовался английской политической жизнью, и с тех пор Черчилль то и дело появлялся на ее первом плане. С прибытием в Англию (8-го февраля 1934 г.) из нацистской Германии он стал чем-то вроде «героя» для меня, средоточием надежд, что «немецкий номер» не пройдет, и он действительно исполнил свою провиденциальную задачу. Эти последние дни я в уме и в длинных беседах с Соней старался подвести справедливый итог. Конечно, и медаль с изображением Уинстона Черчилля имеет свою обратную сторону, но, тем не менее, хронология, вычужденная на этой, сейчас затененной, стороне, богата событиями, определившими направление многих индивидуальных биографий — в том числе и моей — в провиденциальном смысле. Говоря грубо, дожили ли бы Соня и я до нынешнего дня, не будь у Англии в резерве этого потомка Мальбрукова, его бесстрашного внука? Об этом, мне кажется, я мог бы писать и писать, исписав больше, чем толстейшую тетрадь. Так пусть же эти строки будут знаком моей признательности Англии выразителю ее духа и судьбе, связавшей меня с ними, хотя, говоря словами Лермонтова, «я не Байрон, я другой» и воспринимаю мир совсем не как воспринимал его Уинстон, мир праху его.

Прибавлю к этому сегодня для памяти, что «список № 4-й», который я хотел бы составить, должен был бы перечислить начинания и предприятия — некоторые из них немаловажные, мною затеянные и осуществившиеся благодаря моей инициативе. Такова, например, Вольная Философская Ассоциация в Петербурге с 1918 г. или Возмещение убытков еврейскому народу Германией из моей Лондонской программы в 1942 г. Я сам склонен смотреть на себя как на человека не деятельного, так пусть список моих дел и деяний прольет объективный свет на функцию «такого характера», как мой, в рамках общественной деятельности широкого размаха.

Пятый список следовало бы посвятить вопросу «женскому». Он может разрастись в объемистую исповедь.

\*\*\*

**Запись IV-ая от 5-го февраля 1965 г. Пятница, 2 поп<олудни>**

Дни бегут стремительно. За эти девять дней (я все еще не выхожу из дома) — были здесь Гергарт Ригнер (из Женевы на пути в Нью-Йорк), в понедельник 1-го февраля, а вчера Мих<аил> Зильберберг, в связи с делами ИВО (YIVO), «президентом» Британского отделения которого я состою уже несколько лет и одним из основателей которого я был в 1924 г. в Берлине (вместе с покойным Н. Штифом<sup>192</sup>, И. М. Чериковером, «Великим Инквизитором» д-ром Ольшвангером — «ОЗЕ<Т>»<sup>193</sup> и с благополучно все еще здравствующим Як<овом> Дав<идовичем> Лещинским). Равви (R'!) Михаил-Моисей Зильберберг<sup>194</sup> провел здесь за чаем больше трех часов, безотчетно развертывая перед проникающим собеседником свитки своих «комплексов», перевитых суеверием и предрассудками. Мне это по-прежнему интерес-

<sup>192</sup> Нохум Ионович Штиф («Бааль-Димон», 1879–1933) — писатель, лингвист, исследователь идиша: «Еврейская стилистика», публицист. В 1915–1918 г. работал в ЕКОПО (Еврейское общество помощи жертва войны). Перевел на идиш первые два тома «Новейшей истории» С. Дубнова. Автор книги «Погромы на Украине» (1922). Один из инициаторов YVO. Вернулся в СССР в 1926 г., участвовал в создании Института еврейской культуры при АН Украины; в начале 1930-х гг. был обвинен в буржуазном национализме и изгнан из института.

<sup>193</sup> Илья (Эммануэль) Львович Ольшвангер (1878–1952) — врач, издатель, переводчик, общественный деятель. Редактор изданий «Общества здравоохранения среди евреев» (ОЗЕ, возникло в Петербурге в 1912 г.) «Рундшау» и «Ревю ОЗЕ» (Берлин и Париж).

<sup>194</sup> Михаил Зильберберг (1906–?) — журналист. В 1921 г. организовал книгоиздательство «Возрождение». Пережил Варшавское гетто. Представитель YVO в Лондоне, собиратель коллекции документов по антифашистскому польскому и еврейскому сопротивлению: Michael Zylberberg. A Warsaw Diary: 1939–1945. London, 1969.

но. Все это обогащает опыт, в накоплении которого я ненасытен, как в детстве, в юности, в молодости, в зрелом возрасте, вплоть до нынешнего возраста, несомненно «преклонного». Это во мне, по-видимому, наследственно, со стороны матери (ковенская бабка жадно продолжала «учиться» далеко за 80). В случае вчерашнем проявился, в частности, мой живой интерес к влиянию Римско-Католической церкви в еврейской среде, особенно в Польше. То, что Зил<ьберберг> желает меня втянуть в издание писем Шолома Аша к его жене Матильде в сотрудничестве с нею, имеет прямое отношение к этому. Но об этом у меня будет, пожалуй, отдельная запись.

**Запись V-я, 10-го февр<аля> (среда), 5.30 поп<олудни>**

Вчера, после долгого перерыва (по болезни), снова был в Бюро ВЕК'а (Всемирный Еврейский Конгресс = WJC), как условился с Асей (Анна Григорьевна Соломонович-Клаузнер), моей главной опорой в моем «Культурном департаменте», т. е. в Департаменте культуры. Публика хорошо встретила. Разговаривал и беседовал (в хронологическом порядке, т. е. между 3-мя — и 5-ю) с: Джэк<ом> Винокуром, редактором «домашнего журнала» «World Jewry»; с «Елизаветой Александровной» Эпплер, лингвисткой, как все венгерские евреи; с Мг. Джэксоном, обслуживающим Дом Конгресса, бывшим рудокопом, с которым меня связывает взаимная симпатия; с «д-ром» Франц-Лотаром Брасловым, нашим юрисконсультom, сотрудничающим теперь активно с нашим Cult<ure> Depart<ment>; с Иосиф Ivor Linton'ом<sup>195</sup>, бывшим израильским посланником в Японии, ассистентом отсутствующего А. Л. Истермана, главного спеца по делам международным; с Иосифом Френкелем<sup>196</sup>, тоже по-

<sup>195</sup> Ивор Иосиф Линтон (1900–1982) — дипломат. Эмигрировал из России в 1919 г., работал в Еврейском агентстве в Палестине. Был посланником Израиля в Австралии, Японии, Таиланде и Швейцарии, возглавлял израильскую делегацию на конференции ООН в Вене (1963).

<sup>196</sup> Иосиф Френкель (1903–1987) — австрийский и британский журналист. С 1939 г. — глава «Хиас» («Общество помощи еврейским эмигрантам»). Учился в Вене, сионист, выпустил в свет книгу «Герцль» (1946).

могающим своей журналистикой моему отделу; и, наконец, с барышней при Асе, Дианой Эггерт. Еще утром звонила мне до-мой Lady Reading<sup>197</sup>, член Конгрессного «Исполкома», по поводу богословских разногласий в британском еврействе.

Все перечисленное связано с темой «шестого списка»: дела, проведенные мною в течение моей службы в ВЕК'е, начиная с военных годов (1940 — и поныне), включая большие поездки, как, например, две в Южн<ую> Америку, в Индию, три в Палестину («Израиль»), 7-го октября (!) 65 г., в Британском Музее, после возобновления билета, срок которого истек сегодня, после вчерашнего поста, целиком проведенного в нашей Hampstead'ской синагоге. (2.45 поп<олудни>). До смягчающих вину (воздержания от писания) обстоятельств, надо перечислить «верстовые столбы» с 20-го февраля (больше 2½ месяцев) на так называемом жизненном пути. Постараюсь сделать это еще сегодняшним вечером, а сейчас надо торопиться в «ВЕК» (в Дом Конгресса на 55, New Cavendish Street).

### Блокнот 1966 г. 17—18.IX.1966.

Кончается восьмой месяц после ночи в этой самой комнате, где я не успел проститься с умиравшей Сонюрой и где я теперь лежу, спасенный якобы от смертельной опасности, но все же еще достаточно ослабевший и больной. Хочу на всякий случай успеть проститься с самим собой или, по меньшей мере, произнести молча первые слова прощания. Пишу по-русски, на языке, сопровождающем меня и сопровождаемом мною с самого начала моего сознания, сознания моего Я. В его объятиях сердце мое легко согре-

---

Был корреспондентом Еврейского телеграфного агентства, членом Ассоциации еврейских журналистов и писателей. Позже — издатель Департамента культуры ВЕКа («Еврейская пресса мира», 1967). Писал о работе Департамента культуры: «The Jewish Echo», «The Jewish Times», «Allgemeine», «Eedioth chadashoth», «Detroit Jewish News» и др.

<sup>197</sup> Леди Ева Ридинг — президент Британской секции Всемирного Еврейского Конгресса; в январе 1943 года обратилась к Черчиллю с просьбой помочь евреям спастись на Святой земле.

вается, в выемках его, в мягких его складках и наслоениях я нахожу удобные углубления для самоощущения и даже более требовательного самоощущивания.

Все это по-русски содержится в слове «прощание». Ясно, что проститься с самим собой значит простить самому себе: «Прости, прощай» — «Прощай, прости». Я не успел восемь месяцев тому назад проститься с Сонюрой — успею ли я теперь проститься с самим собой? Сколько времени осталось мне?

А просить у себя прощение у меня есть за многое, в сущности, за всю семидесятипятилетнюю жизнь. Сейчас я спокойно и рассудительно уверен, что я прожил жизнь не так, как надо было... Не все было плохо, но дурное и хорошее не составляется из равнозначных кубиков, и одно не вычитается из другого. Вся жизнь может оказаться дурной, если она как-нибудь в самом начале отклонялась на полу-волосок от предназначенного ей направления. А я именно полагаю, что моя — уже в незаметное для меня время ушла вкось. Чего же я добиваюсь? Хочу просить у себя перед окончательным концом прощения за то, что предал самого себя. Этим будут покрыты все другие мои предательства. А сумею ли я, предатель самого себя и многого другого, вообще простить; не предаю ли я в последний час самое свое прощение и покаяние, это покажет сама настоящая попытка, в которой, неровен час, может оказаться ключ ко всему. Дай Бог! Окажется ли при мне или после меня, когда, пожалуй, не будет никого, перед кем «оказаться», до этого мне дела нет: лишь бы оказался.

Да и разве я знаю, где моя жизнь и где не моя? Входит ли Еврейский Народ в мою жизнь или я в его? Входит ли Россия в мою жизнь или я лишь ее изгнанник? Ношу ли я в себе живую связь с родом, человечеством или я всего лишь один из выродков всечеловеческой семьи? Все это скажется в этой попытке. А потому, сдается мне, безразлично, с чего начать. Лишь бы это было живое и живое пережитое. Начну с улыбки Александра Блока<sup>198</sup>.

<sup>198</sup> См.: ЛА. 48–50.



---

## DIARY 15

London, 81 Eton Place, Eton College Road, Tel. PRI 93—11  
N-W3 93—11

**Воскр<есень> 10-го декабря 1967 г.** Дело происходило так. Вчера вечером после конца субботы я решил найти, наконец, среди своих бумаг в пустующем без меня из-за болезни кабинете какую-нибудь неиспользованную до конца старую тетрадку, которая могла бы пригодиться для случайных, не слишком длинных записей. В старые годы я называл такие тетрадки дневниками. Но постепенно я разочаровался в своем умении вести дневник аккуратно, с нужным постоянством, хотя бы в скромных размерах моих юных студенческих лет (1909—1921 гг., к примеру, которые, кстати, оказались в ящике моего письменного стола). Не буду сейчас обобщать и устанавливать «причины» моей неудачливости в этом отношении. Вложенная в эту вчера найденную полуиспользованную книжку рукописи 1923 г. «Возобновление старой привычки» — «Про себя» и «О себе» (от мая 1923 г.) содержит в себе, если не весь ключ, то, по меньшей мере, язычок ключа, которым можно было бы открыть мой замысловатый ларчик. Но поло-

жение значительно изменилось с тех пор. Это хочу отметить сейчас в первую очередь.

Мысли, образы, толкования теснятся во мне, и толпы их не остаются ни на минуту без движения — ни во сне, ни наяву. Я стеснен душевно и хотел бы облегчить это состояние так же примерно, как я лечусь от моей эмфиземы-астмы физической. Не то, что я хотел бы во что бы то ни стало продолжить жизнь, но моя юношеская мечта о самоубийстве потеряла свою привлекательность. Жизнь после смерти становится так же реальна, как смерть после жизни. Об этих наблюдениях хочу чернить по белому.

**Четверг, на 25 декабря, того же 1967-го года.** О том, чем кончил 10-го декабря, хотя и не писал, но много думал в прошедшие две полдюжины дней (кроме суббот?). В скобках могу спросить: ну к чему эти гримасы, эти выверты с «язычками» от ключей и с арифметическими упражнениями  $12 = 2 \times 6$ ? В скобках не могу ответить: это не для того, чтобы, а потому что, т.е. в психике моей действует постоянный протест против простоты, которая не случайно же отождествляется в русской речи с глуповатостью. Это все, конечно, сейчас в скобках, хоть по характеру поразительно совпадает с записью от мая 1923 г. и с более ранними — «самоубийственно-го» периода 1909–1911 гг. Короче говоря, имеешь дело с подчерком мысли, а как его изменишь? Можно его заменить, например, пишущей машинкой — но не изменить, чтобы тут же расписаться под этим замечанием в скобках подлинной «банковской» подписью, подчеркну, что фраза «в психике моей действует» как гримаса гораздо более отталкивающая, нежели мои для меня самого всегда неожиданные словесные выверты. Особенно теперь — «в смерти после жизни». Этими словами я закончил запись от 6-го декабря. Когда я их написал, мне показалось, что я из-за красного словца не жалею ни жизни своей, ни смерти. А между тем, это написалось как намек на некоторые откровения и о самом себе, и о жизни и смерти. Для того я и взялся сейчас за эту тетрадку, чтобы пояснить, к чему я склоняюсь все больше и больше.

Коротко и ясно: ощущаю реально, как это перо в моей руке, что я нахожусь на границе между жизнью и смертью, что хотя жизнь еще не совсем кончилась, но смерть уже началась — «смерть после жизни». Это не игра слов, а реальное ощущение, и мне хотелось его описать для самого себя с наивозможнейшей точностью. Должен снова прибавить в скобках, что пишу я это все действительно, только — и то в лучшем случае — для самого себя. Перечту ли я эти странички, неизвестно, а кроме меня, это решительно никому неинтересно. Ведь я уже умер — Бог простит, Он сам бессмертен и хочет, чтобы меня занимала не одна мысль о жизни после смерти, но и о смерти после жизни; чтобы еще при жизни ощутил я ее окончание, признаки ее и последствия. Все это не невозможно, если продолжаешь жить, осознав, что ты в сущности уже не живешь, или что жизнь твоя смерти подобна, как зеркальное отражение загробной жизни. Извне этого не поймешь, а изнутри это видно ясно и неопровержимо. Мне легче всего выразить это по-русски. Хоть когда я об этом думаю по ночам, я слышу разные языки и особенно часто библейский.

Первая задача, значит, описать, как это ощущается, что жизнь кончилась и продолжается внутри, как живая смерть. Нет сомнения, что моя страстная жажда смерти в юности (уже в начале 1907 г., то есть более шестидесяти лет тому назад) всю жизнь подготавливала меня к восприятию конца, как заключительной части сего жизненного пути со времени первых проблесков сознания; как некой тени, приютившейся в самой сокровенной его глубине. Что же могу я сказать, вернее, рассказать о моей ныне свершившейся смерти? Когда это произошло? Как это началось?

Два вечера спустя, т.е. суббота, 23 декабря, 1967 — отрывок Бытия об Иакове и сыновьях, сновидце Иосифе и его братьях, о Фараоне и его сановниках. Я взял тетрадку после того, как я вслух произнес одно слово — «Тоска!». Очевидно, это — сводка целых суток строгого соблюдения субботы и мимолетного «обмена мыслей» с черной сиделкой,

заменяющей ирландскую патриотку «Пат». Вспомнил, что в смерти при жизни не может быть даже «тоски» — какая там тоска, когда полная безжизненность. Значит, что же? Нарочито себя обманываю, чтобы легче примириться с тоскливым сиротством? А примириться — то зачем? Чтобы легче было коротать одинокую старость — так что ли? Иначе говоря, продолжается игра в прятки с самим собою, только облаеваю я ее в новые для меня словесные оттенки? Так что ли? Пройдусь по последним суткам.

С начала субботы (вчера, 22 декабря и 20-го Кислева) остался один в квартире, как обычно, с одной лампой в столовой, потому что я в субботу не считаю допустимым даже касаться к лампам, ни зажигать их и не тушить, хотя «по закону» мне как больному это вообще-то разрешается, тем более, когда речь идет о лампах электрических. Так это первое замечание — что? Смерть при жизни или самое обыкновенное продолжение моей нормальной жизни? Библия меня увлекает. 24 декабря 1967 г.<sup>199</sup>

По старому еврейскому обычаю в ночь на Рождество не полагается «учиться». Вспоминаются разные объяснения причудливого правила, включая версию Рабинкова, по которой в эту зимнюю ночь опасно было пускать еврейских детишек в их средневековые школы для вечерних занятий ввиду возбужденного состояния окружающего нееврейского населения: благоразумнее было не напоминать о преданности евреев старому учению и закону даже после появления их же «Спасителя». Записываю это характерное для Рабинкова предпочтение «простых» объяснений

---

<sup>199</sup> 15 января 1968 г. Штейнберг пишет Ф. Каплан: «В субботу 23-го декабря я записал вечером в дневник: «Библия меня увлекает», но разобраться в этом — как и почему? — не так-то легко. Вероятнее всего тут решает то, что эта по существу первая книга в моей жизни, остающаяся и последней, укрепляет грозящее распасться единство и одновременно воскрешает с необыкновенной яркостью образы, привидевшиеся и даже лишь приснившиеся с самого раннего детства (более семидесяти лет тому назад).

и спрашиваю себя вместе с тем, не нарушаю ли я уже одним этим освященного обычаем запрета. Разве толкование бытовых явлений не научное занятие и «фольклор», особенно еврейский, не под запретом в ночь на Рождество? А если так, то я должен воздержаться и от толкования собственной вчерашней фразы о том, что «Библия меня увлекает». Остановлюсь сегодня на этом. Постараюсь промолчать и по возможности не направлять никуда ход мысли.

**25 января 68 года.** За месяц с 24 декабря еще глубже «впал в детство». Писал об этом Ф. в Америку. Получил сегодня ее: «Что это значит?» Может быть, еще сегодня письменно поясню. Сейчас скажу лишь про себя, что мне трудно стало сжиматься в афоризмы и очень легко «растекаться мыслью» в необозримых сборищах разноцветных точек, полосок, узоров, как в раннем детстве перед погружением в безмятежный сон.

Дописывал в эти дни главу «Архипелага» о Шестове (Льве Исааковиче Шварцмане). «Архипелаг» — сокращенное название затеянной книги «Литературный архипелаг первой четверти века» — отчасти мои литературные воспоминания, отчасти описание собственной Одиссеи. Когда имею дело с целым, неодолимо влечет к «беспечальному детству». Эти слова Вал<ерия> Брюсова врезались в мою жизнь, особенно в лето 1913 г. в Петрограде<sup>200</sup>.

Уже 11 часов — на **15-ое мая 68 года.** Три с половиной месяца не прикасался к этой тетрадке. Она у меня под рукой, когда я в кровати. Боюсь ли я исписать ее слишком скоро? Возможно. Но два часа тому назад я сказал по телефону — по особому поводу — что я может быть, и в самом деле сойду с ума. Стал мысленно проверять ум свой и склонность к безумию. Захо-

<sup>200</sup> Из стихотворения В. Брюсова «К поэту» (1907): «Быть может, все в жизни лишь средство / Для ярко-певучих стихов, / И ты с беспечально-го детства / Ищи сочетания слов». Это «сочетание слов» «врезалось» в сознание не только Штейнберга: см. статью Д. Мережковского «Асфоделии и ромашка».

телось на случай решительного поступка, о котором не думал последние месяцы, оставить какой-нибудь след, который будет свидетельствовать, что — говоря по-канцелярски — «нарушено было равновесие рассудка» — моего, конечно. Однако, взявши в руку тетрадку, я стал перечитывать записи со стр. первой, от 10 дек<абря> по последней, от 25 января, и удивился, что все это еще так интересно мне. Признаков «нарушенного равновесия» не обнаружил; наоборот, — все в пределах здравого рассудка и твердой памяти. Последнее особенно убедительно. Не только 13 год правильно привлечен, но даже разноцветные сонмы точек (правильнее: «сонмы разноцветных точек»!) — неопровержимо яркое свидетельство весьма далекого относительно прошлого. Так было взаправду слишком семьдесят лет назад.

Тем не менее, думается мне, положение серьезное. То есть, смотря как: серьезное, если смотреть со стороны, считая, что продолжение моего физического существования имеет смысл само по себе. Но на мой собственный взгляд — изнутри и в созерцании духовном — мне здесь долгие оставаться незачем. Разве, что такова воля Божия. Это может мне открыться во сне. Конечно, я так и не удосужился до сих пор очернить себя по заслугам в откровенной исповеди. Пожалуй, с моей точки внутреннего зрения это теперь самое неотложное дело. Близкое будущее покажет, так ли это.<sup>201</sup>

**Воскр<есенье> 27.X.1968.** После всех праздников и Новолунный-Мархешван<sup>202</sup>. Поздно вечером. Писал за это время почти исключительно, не считая писем, связанные повести из моего

<sup>201</sup> Далее Штейнберг переписал текст на отдельные листы и назвал его: «Мое грехопадение». ПФ. 278–295. Рассказ прошел авторское рецензирование. 19 февраля 1969 г. Штейнберг записал в календаре: «Перед сном перечитывал “Грехопадение”: действительно хорошо. Описанное там по собственному детскому опыту, между прочим, помогло мне открыть раньше незамеченную “повесть” о “Сне смеш<ного> чел<овека>” и понять ее автобиографический смысл в “Дневнике” ФМД».

<sup>202</sup> Мархешван (или Хешван): восьмой, в позднейшей традиции — второй месяц еврейского года, соответствует октябрю — ноябрю.

прошлого. Пропускал мимо «влияния» пера (чернильницы!) отдельные короткие эпизоды из происходящего ныне, а также возникающие по поводу или без повода самодовлеющие на вид мысли. Возьму для примера соображения о шести днях творения, возникшие при чтении первых глав Книги Бытия, как это полагается в согласии с литургическим календарем. Скажу совсем коротко: Суббота — не увенчание шести дней творения, а трансцендентальная их предпосылка; для того, чтобы астрономическое время антропоморфизировалось и поддалось пригодной для рода человеческого периодизации, необходимо было ввести цезуру покоя («прерывность»?) она же и есть суббота, а затем пришлось лишь заполнить промежуточные шестидневные периоды содержанием. Содержание же создается различием, разделением, противопоставлением. Отсюда подчеркнутое значение понятия Havddalah<sup>203</sup> (пишу из-за звука «Н» по латыни). Я бы сказал: метод Творения — экспериментальный г(h)авдализм. «В начале» не «слово» и не «дело», а замысел, который сопрягает «бытие» с «небытием». Шесть дней творения могут быть оправданы лишь как подготовка субботы. Такая живая память о Первой Субботе сохранилась в Кабале Сафед и там, в Сафед<sup>204</sup>, она воскресла и во мне. Я не только не на своем месте, но у меня нет и своего времени. Никогда не примирялся, и уже теперь не могу примириться с буднями. Yom bet, de-rosh khodesh Adar alef 5729 20.2.1969. «И был вечер, и было утро — день первый»<sup>205</sup>.

### **С 19-го на 20—3-е февраля 69.**

Холодно, время бежит все быстрее, врач не понимает, что я нуждаюсь в большем количестве — не пилюль и таблеток — а рабочих часов. Надо значит изобрести свою фармакологию (...).

<sup>203</sup> Букв.: «отделение». Молитва и церемония отделения субботы и праздника от наступающих будней. Из-за отсутствия в русском языке буквы h это слово пишется «авдала».

<sup>204</sup> Сафед, Цфат — город, центр Кабалы и еврейской мистики в XVII в.

<sup>205</sup> Бытие. 1: 5—6.

---

## DIARY 16

London, NW3

81 Eton Place, Eton College Road,

**После Пасхи 5729 г.**

Ve-izrat ha-Shem Mozaei shabbath shmini. Yom 6 le-omer<sup>206</sup>

О всякой всячине — в хронологическом беспорядке (спутник дневников, писем, а также работа «литературного» характера, на разных языках)

**12.IV.69** — 11.55 pm

Кончилась суббота, вскрыл два письма: от С<емена> из Аннаполиса, МД (т. е. из СА Штата Мэриленд) по поводу продолжения хлопот об издании «Религии разума» Когена по-английски вместе с «моим» Ригнером от С<емена> из Аннаполиса, МД (т. е. из СА. Штата Мэриленд по поводу продолжения хлопот об издании «Религии Разума» Когена по-англ. вместе с «моим» Ригнером) и письмо из Парижа, скороспешный ответ Мадлэн Флег на мою поздравительную пасхальную телеграмму (отсюда 9-го апр. по-француз-

---

<sup>206</sup> Благословенно Имя Твое. Исход 8-й Субботы. 6 день Омера (букв. — «снопа», счет со второго дня Песаха).



ски через Доротею, временно заменяющую «Пат»). Другими словами, благодаря А<се Клаузнер>, пережил в традиционном стиле и порядке четвертую Пасху после отплытия С<они>. Моя загробная жизнь в лондонской квартире продолжается. Но вчера, после освящения субботы, сделал ряд открытий в «Литве»<sup>207</sup>.

**Воскр<есень> (10-е «Омера») 13-го апреля 1969, 4 рп**

Сейчас за обедом, старательно приготовленном коричневой карибеанкой (мать — гваделупянка, отец — тринидабиянин), прочел в последнем номере «Литературного приложения» к «Таймс» (TLS от 10-го апр<еля> № 3502, стр. 382) статью (без подписи, б. м. Ис<ая> Б<ерлин>?) о Евг. Ив. Замятине<sup>208</sup> и о «сходстве» его «Мы» с «1984» Жоржа Орвелла. Зависимость второго от первого давно была отмечена мною в моих частных беседах. Но в Англии и в Америке мало кто слышал о существовании Замятина. В сей-час прочитанной статье отсутствует даже упоминание его театральной работы («Блоха», «Рычи, Китай»), а как раз на ее-то продолжение он и рассчитывал, когда выбрался из России в 1931 г. Запишу вкратце то, что мне о нем известно «по первоисточникам».

«Открыл» его как писателя Р. И. Иванов-Разумник, редактор еженедельника «Заветы» (в 1912 г.). В новый «толстый» журнал посыпались горы беллетристики со всех концов России. Чтобы добросовестно оценить материал и не пропустить чего-нибудь самоцветного, бедная личным составом редакция выработала особую технику сортирования стихотворений, рассказов, повестей и романов и мобилизовала «жен и детей», т. е. членов семейств, так или иначе прикосновенных в «Заветам»<sup>209</sup>. «Но обработка лите-

<sup>207</sup> Видимо: Lite (Lithuania). Vol. I. N.Y., 1951; Vol. II. Tel-Aviv, 1968.

<sup>208</sup> Отдельные отрывки из этой записи процитированы в комментариях к главе «Самоцветные слова»: ЛА.356–358.

<sup>209</sup> Штейнберг допускает неточности. В. Иванов-Разумник и его жена, строго говоря, не были «первооткрывателями» Замятина, первая по-

ратурной руды, — шутил впоследствии при мне Разумник Васильевич, — оплачивалась сполна. Попадались иногда крупнейшие таланты, настоящие самородки... Вот, например, Замятин! И должен по справедливости прибавить, что честь его открытия принадлежит всецело Варваре Николаевне». Жена Иванова-Разумника, как обычно в таких случаях, зарумянилась, запротестовала, но не смогла мне помешать узнать во всех подробностях, как безвестный инженер на Урале сразу очутился в первых рядах русской литературы.

Разумник Васильевич был человек строгих принципов. Решив, что долг редактора — ничего не отметить без убедительной проверки, он присоединил к тесному помещению редакции в городе свою более просторную царско-сельскую квартиру, куда он то и дело привозил кипы еще «не обработанного» сырого материала. Варвара Николаевна не спорила и старалась помочь, как могла. «Смотри!» — встрепенулась она однажды, сидя за поздним чаем в столовой со стопкой рукописей около самовара, — это что-то странное.. как будто необычный, неправильный язык, а какая прелесть! Сразу захватывает...» При всей своей усталости, зная очень спокойный нрав Варвары Николаевны, Разумник сообразил, что она взволновалась не без причины, и что следует тут же «отработать» еще и эту «находку», благо рукопись не была слишком объемистой.

На последней странице была ничего не говорящая подпись «Замятин», сопроводительное письмо «М. Г. Господину Редактору» было сухо по-провинциальному трафарет-

---

весть которого, «Осколки», появилась в печати в 1912 г. Редактирование ежемесячного литературно-политического журнала «Заветы» (1912–1914) осуществлялось также зарубежными редакторами. Замятин в памяти современников был связан с «Заветами»: «заветный друг», — обращался к нему Н. Постников. Писатель родился в г. Лебедяни Тамбовской губ., получил образование в Петербурге на факультете ко-раблестроения.

но, но энергично и настойчиво, как и можно было ожидать от «инженера». «Сначала, мол, прочти, а потом суди!».

Когда Разумник Васильевич передал мне эту подробность у себя в Царском в 1919 г., я уже знал Евгения Ивановича и по произведениям его, да немного и лично. «Язык Замятина», чтобы выразиться не по-замятински, стал «притчей во языцех». В начале следующего 1920 года, при обсуждении плана составления Словаря Рифм и Перечня «стереометрических» слов (с многосмысленной структурой) — этой новой затее акмеиста Н. С. Гумилева, на которое он пригласил, кроме А. Ф. Кони и Е. И. Замятина, также и меня в качестве знатока синтаксиса Ветхого Завета, я услышал из уст Анатолия Федоровича, патриарха русской академической стилистики, настоящее похвальное слово в честь не явившегося на совещание Замятина. Кони не скрывал своего разочарования. Время шло — дольше ждать принявшего накануне приглашение Евгения Ивановича было невозможно. Гумилев, как бы оправдываясь, заметил: «Это опять верно Горький помешал: он исключительно жадный любитель драгоценностей».

«Вот именно драгоценности! — ухватился Кони за последнее слово, — самоцветные камни! Недаром новоявленный классик наш обнаружился на Урале»<sup>210</sup>. Вдохновленный собственной метафорой, А. Ф. Кони экспромтом развил ее, как это не раз удавалось ему при мне и впоследствии, в законченный этюд об особенностях замятинского языка. Меня больше всего поразило в этой литературно-критической миниатюре — иначе не назовешь — органическая гармония между геологией и этимологией. «Как образуется так называемый неологизм, коими столь изобилует замятинская проза?» — задавал своим двум слушателям риторический вопрос наш маститый оратор. И тут же ответил: «Так же точно, как алмазные россыпи...». Словесному минералу надо пролежать под спудом века, ему надо сверхъестественно отвердеть, налить-

<sup>210</sup> См. комментарий к ЛА. 356.

сияющим светом, как бы осознать свое собственное благородное происхождение, говоря, конечно, метафорически, чтобы дожидаться, в конце концов, своего гениального искателя, одним словом, своего Замятина».

Алексей Максимович, т.е. Горький, к тому времени уже упрочившийся во главе своей собственной грандиозной затеи — издательства «Всемирная литература» — действительно задумал воспитать своей всеобъемлющей серией классиков, заново переведенных лучшими знатоками иностранных литератур на чистейший русский язык, не только всю толщу населения социалистического отечества, но задом «перевоспитать» на этой тщательно организованной литературной работе и самих писателей-литературоведов. Заручившись благословением «Наркомпроса» Луначарского и даже самого Ленина, Горький повел кампанию уловления отдельных писательских душ. В отношении финансов горьковская «Всемирная литература» шла в Питере далеко впереди академических учреждений, не исключая бывшего Императорского университета и самой Академии Наук. Ловцу душ, особенно малодушных, любимцу Компартии и Кремлевского правительства обходным его путем нередко удавалось постепенно приручать даже заклятых врагов большевистской диктатуры, превращая их в лояльных сотрудников сперва одной лишь «Всемирной литературы», а, в конце концов, — «Всемирной революционной диктатуры». «От Горького на Пантелеймоновской (улица, где помещалась редакция «Всемирной литературы») до сладенького в «Бродячей собаке» (последнее кафе старого стиля), — шутил неунывающий Борис Викторович Шкловский, — всего лишь один ложный шаг». Однако, поскольку дело шло о Замятине, успех Горького в отвлечении его от первоначально открывших его «народников-фантазеров» из уже успевшего захиреть «Заветов» Иванова-Разумника и в заполнении его солидной библиотекой объединенных классиков всех литератур и народов определялся меньше материальными выгодами, которые сулила такая смена вех, сколько са-

мим нутром перебежчика<sup>211</sup>. «Инженер всегда инженер», — говорил другой тогдашний мечтатель, близкий к «Заветам» К. А. Эрберг — «Солнечный град для него сказка для детей, еще не четырех правил арифметики — а вот сложить штабелями тысячи прекрасно отпечатанных томов в прекрасных переплетах — это предприятие, захватывающее дух».

Но Александр Блок не был «инженером» по профессии, а профессиональным, так сказать, поэтом. Между тем, оставаясь самим собой, и он запутался в сетях литературной всемирщины. Очевидно, и в случае с Замятиним имело значение не одно его «нутро» инженера, но также и нечто от нутра ловца человеков<sup>212</sup> «Максима Горького». Уже летом этого же 1920 года мне пришлось самому услышать от Александра Александровича робкое признание: «Если я там, во «Всемирной литературе» — это потому, что у меня с Горьким роман». Блок видел, что Горький им очарован и от всей души прощает ему его мистическую мечтательность; так и он сам прощал Алексею Максимовичу его почти правоверный большевизм, не сопротивляясь исходившим от него примитивным чарам (Об этом подробнее в моих записях «Встречи и столкновения с Горьким»).

Образовался причудливый многоугольник: Замятина признали и оценили и Кони, и Иванов-Разумник, и Блок,

---

<sup>211</sup> В своем очерке «М. Горький» Е. Замятин рассказал, какие качества Горького-Пешкова ему нравились: активное отношение к жизни, романтизм, способность учиться всю жизнь, доверчивость и талант рассказчика. Успех издательства «Всемирной литературы» Замятин объяснял умением «заразить скептических петербуржцев»: *Замятин Е.* Лица. New York, 1967. С. 83–97. В. Вейдле тоже иначе, нежели Штейнберг, оценивал «Всемирную историю»: издательство «было учреждением благотворительности. Деньги были казенные, нужда среди неслужилой интеллигенции была велика ... виновны в её безвременной кончине были не те, кто проводил ее в жизнь (...), а тупость и произвол властей предрержащих» (*Вейдле В.* Воспоминания. С. 104, 105).

<sup>212</sup> Центральный образ этих воспоминаний мог быть навеян рассказом Е. Замятина «Ловцы человеков» (1921).

и Гумилев, и Горький. Но Горький отвергал и Разумника, и Гумилева, так же, как оба они, хотя и каждый по-своему, не скрывали своей глубоко засевшей в них неприязни к Горькому. Чтобы очертить этот узор литературных притяжений и отталкиваний еще точнее, надо прибавить, что Гумилев и Разумник, в свою очередь, были промеж себя в состоянии перманентной пикировки и что «Конст<антин> Эрберг» отвергал «офицера Гумилева» не менее решительно, чем «инженера» Замятина. Все эти пересекающиеся симпатии и антипатии имели то или иное отношение к дальнейшей судьбе Евгения Ивановича<sup>213</sup>.

[Вставка]: Вторник 3 февраля 1970 г. скончался 97-и лет отроду Бертран Russel: он отпал от меня вместе с «1-м философским конгрессом в России», когда казнен был Н<иколай> Ст<епанович> Гумилев<sup>214</sup>. А как связать? Подумать!<sup>215</sup>

Еще приписка о Ев. Ив. Зам<ятине>: в воскр<есенье> 8. II-го, в Sunday Times, стр. 56, обзор Cyril Connolly<sup>216</sup> двух книг в связи с Зам<ятиным>: англ<ийский> перевод «Мы» и книги Калифорн. UP в 300 стр. — биография и творчество и фотография<sup>217</sup> — не похожа! История, что, мол, Сталин дал ему возможность уехать — неправдоподобна!<sup>218</sup> Надо, значит, продолжать!

<sup>213</sup> 25.IV.64. *Asa (ase?) akharei moth kdoshim. Факты? Штрихи, перенятые мной.*

<sup>214</sup> Бертран Рассел (1872–1970) — британский философ, математик, логик, основатель английского неопозитивизма, атеист. Штейнберг не касается мировоззрения Рассела, социалиста, атеиста, разочаровавшегося в большевизме во время своих посещений России, — но подозрителен к нему, ведущему двойную игру. Не очень ясно, какими подозрениями руководствовался Штейнберг, обвиняя Рассела в провале проекта созыва Философского конгресса, если план сорвался в связи с Н. Гумилевым, расстрелянным по делу Таганцева (ЛА. 111).

<sup>215</sup> *После «Заветов» — «Островитяне» и т. д., а затем — «Мы». 12.VIII.1969.*

<sup>216</sup> Сирил Вернон Конолли (1933–1974) — английский писатель и литературный критик, редактор журнала «Horizon» и автор афоризмов.

<sup>217</sup> *Alex M. Shane. The Life and Works of Evgenij Zamiatin. Berkeley, 1968.*

<sup>218</sup> На самом деле история «задержанной эмиграции» Е. Замятина не бы-

Отсутствие человека иногда сводит людей ближе и скорее, чем его присутствие. Когда мы простились с А. Ф. Кони у его пролетки, предоставленной ему властями в виде особой привилегии за старые и новые заслуги, Гумилев предложил мне посетить его независимо от Кони и от того, удастся ли «похитить» Замятина у Горького: «Мы, — слегка шепелявя, сказал он, сообщая мне свой частный адрес, — пожалуй, и вдвоем сумеем сделать почин, а там видно будет...».

---

ла столь однозначной; он писал просьбы официальным органам, потом Сталину и, наконец, М. Горькому: *Галушкин А.* У «Зеленой стены» // Русская мысль. 1997. № 4191—4193, 4195. Сам Е. Замятин рассказал финал своего ходатайства. Горький: «Ваше дело устроено. Но вы можете, если хотите, вернуть паспорт и не ехать». Я сказал, что поеду» (*Замятин Е.* Лица. С. 97). Об истории «задержанной эмиграции» Замятина см. также: *Хазан Владимир.* Повесть о том, как все вышло на оборот. Жизнь и творчество Андрея Соболя. СПб., 2015. С.390.

---

## DIARY 17

(продолжение гейдельбергской черной тетрадки 1923 и 1923–30 гг.)

**Воскр<сенье> 23 мая 1969** (Наг Shavu'oth, На-tashkat<sup>219</sup>). После двух дней праздников, когда я не мог записывать, с особенным удовлетворением беру перо, чтобы пройтись по этим с марта месяца заготовленным листкам. Мыслить и воображать, лежа на спине или сидя в кресле со сложенными неподвижно руками, положительно вредно. Это завлекает в излишество, от которого пьянеешь, как от лишней рюмки водки. Потом — эти пересекающиеся коридоры мысли, с их насквозь прозрачными стеклянными стенами, в которых ты пойман, как в непрерывно расширяющемся и сгущающемся лабиринте... Их надо «перебить» в обоих смыслах: как надтреснутую, грозящую разлететься посуду и как безответственные словесные излияния. Испishi два-три листка бумаги «между делом», и в бурлящем потоке радужных мысле-образов вдруг оплотнеет, как каменная, бу-

---

<sup>219</sup> Праздник Шавуот. 5729.



мажная плотина, с которой легко обозреть, откуда и куда, кем и чем, к добру ли или к худу все направляется. Сейчас вот я и очутился, после двух дней праздника Откровения на Горе Синае, на такой дозорной плотине. Попытаюсь обвести кругозор циркулем.

**Понед<ельник>, 26-го мая.** На днях (22-го в четверг, накануне Праздника написал Ф<анни> в Аннаполис, что отдался в последние месяцы «стихии мысли», как бы подготавливая новое, исправленное издание «хроники собственной эволюции» и, продолжал я, насколько помнится, «сколь-ко ошибок нашел я! От простых опечаток до зловреднейших «иллюзий! Это верно и точно совпадает с вчерашней записью, но нуждается в подробном пояснении, чтобы концы сошлись с концами.

Для начала скажу так. То, что в прошлом казалось прямой линией мысли, настроения и поведения, ведущей из года в год и из десятилетия в десятилетие как бы через защищенный со всех сторон, непроницаемый извне туннель душевной жизни, обнажается теперь, под конец моих семидесятих годов, как некая равнодействующая разнообразных силовых линий. Чтобы не выродиться, надо сознательно и неуклонно оберегать свою родовитость и ни в коем случае не следует смешивать запоздалую смелость мысли с припадками старческого слабоумия.

После этого «общего введения», с которого меня учили начинать «сочинения» уже в гимназии, дам иллюстрацию из моего нынешнего движения по прозрачным лабиринтам разбушевавшейся умственной стихии («лабиринты» в множественном числе точнее передают движение мысли, не стесненной плотинами сводок и обобщений). Вот первая иллюстрация.

Занятый собиранием материала для составления всеобъемлющего предсмертного покаяния, я, опрокинутый лавиной обрушившегося на память «прошлогоднего» снега и льда, стал, карабкаясь, цепляться за торчащие из сплошной массы фактов острые ребра методической классифика-

ции. Один из опытов в этом направлении, рассказ «О моем грехопадении», на шестом году жизни, сослужил свою службу. Будь на этот метод достаточно времени, я мог бы в розницу добиться результата, задуманного огулом. Однако, захваченный потоком последних месяцев, я теперь вынужден «методически» развить розничный способ писания. Вставив еще и эту рамку ближайшей «иллюстрации», перейду к ней самой. Назову ее «Евгений Юльевич».

9.30 вечера. Сидя за кухонным столом, чтобы, как мне полагается по режиму, съесть оставленный Патрицией «ужин», я подумал, а не поздно ли уже и писать, будь то «в розницу» или «огулом»? Решил проверить по написанному вчера и сегодня на этих страничках. Сейчас это сделал и нахожу, что «почерк мысли» (мое старое обозначение индивидуального стиля) не изменился: сложность по-прежнему немного преувеличена, но может быть оправдана преувеличенным стремлением к простоте. Остается верным и то, что не все имеет свою географию (например, я сам), но всё, даже сама география, имеет свою историю — 9.40 — того же понедельника на вторник, 27-го мая}

Там же. А теперь, **29-го, воскресенье, но не мая, а июня**, около 4-х пополудни.

Иносказательно? Темно? Но все же правдиво и внушено не ослабевающей любовью к правде (до сих пор, когда в молитвеннике попадает само слово «правда» («emeth») — я стараюсь прикоснуться к нему губами, поцеловать его, как в детстве целовал руку матери, отходя ко сну). Но не ради этого примечания вспомнил я снова об этом блокноте.

Вспоминая о том, что было и осталось неясным за эту неделю, кончившуюся вчера, в «долгую» субботу, я задержался мыслью, щедро иллюстрированной разноцветными картинками, на двух фактах: в среду, 25-го июня (12-го по стар<ому> стилю в России XIX века, где я родился) мне исполнилось 78 лет, а назавтра, 26-го, в 4.30 поп<олудни>, меня посетила в сопровождении подруги появившаяся проездом двадцатилетняя дочь покойной племянницы

Ады<sup>220</sup> («Адочки», 1918 г. рожд., в подмосковной Малаховке), которую видел в последний раз под Нью-Йорком в начале 1957 года, когда она, тогда осьмилетняя сиротка — Эстер Зигель — справляла в доме овдовевшего отца, Давида Зигеля из Канадского Торонто, свой день рождения. Я прилетел тогда в Нью-Йорк из Лондона (по телефонному звонку в три часа ночи) на похороны брата, для которого кончина старшей дочери на сороковом году от рака, была роковым ударом. Встреча здесь с дочерью «Адочки» в начале моего 79 года, мне кажется, произошла для того, чтобы дочь её еще успела услышать от последнего очевидца, последнего, оставшегося в живых, живой рассказ о детстве и юности ее матери. Обнаружилось, что она знала еще меньше, чем я ожидал. Даже рассказ, напечатанный в конце 1956 г. и написанный мною по просьбе брата в Индии, ей был неизвестен<sup>221</sup>. Почему? Я счет своим долгом передать ей, в присутствии ее подруги, сколько мог для сохранения в памяти своеобразного силуэта матери, а сегодня вот вернулся к вопросу «Почему?».

Как объяснить это непонятное разъединение в лоне, казалось бы, дружной семьи? Америка? Съезживание личной жизни до пределов голой занятости только собою самим? Всеобщий, так сказать, «собизм»? Это навело меня на мысль, что они там, в Америке, грешат не против нашей обычной морали, но даже против эвклидовой геометрии.

Чтобы выразить это *more geometric*<sup>222</sup>: по-американски, прямая — кратчайшее расстояние между одной точкой и другой, между тем, как по Эвклиду она кратчайшее расстояние между двумя точками. Тут нет одной и другой: обе точки даны сразу, а не как первая и — упаси Бог — вторая. Если это так, то вполне естественно, что осиротевшая

<sup>220</sup> Ада Сигель — племянница, корреспондент ВВС в Канаде.

<sup>221</sup> Ada, my brothers' child (letter from India), машинопись. November 1956.

На идиш: «O'fn Shvell №1–2 (118–119). Jan–Febr 1957, N.-Y.

<sup>222</sup> «Геометричнее» (англ.).

13 лет тому назад внучка брата так и осталась до сих пор сироткой.

**Того же 29-го июня**, 11 ч. веч<ера>.

Около 5-ти приехала, как условились, «Женя» (Евгения Борисовна Гурвич), о которой ее покойный, друживший со мной, дядюшка Евсей Савельевич всегда любил говорить, что у нее «золотое сердце». Проверая «хронику моей эволюции», я не хотел бы вычеркнуть из приложенного к ней (в конце) списка золотых сердец, — скорее короткого, чем длинного — ни одного единственного имени. Именно с этой целью я рассказал Жене историю трехлетней Ады и новых ее ботинок в опустошенной Москве 1920-го года. Она прослезилась, и сказалось золото высокой пробы. И, тем не менее, распря ее с «Полей», дружба с которой продержалась сорок с лишним лет, остается в списке моих незаконченных дел. Я рассказал, за что я так признателен Полине Юльевне Ошер (ович, урожд<енной> Ауэрбах), с которой познакомился в 47-ом году в Нью-Йорке, куда я приехал с <оней> для редактирования энциклопедии на идиш — благодаря посредничеству Жени. Пол<ина> Юльевна пришла на мою лекцию, а затем сразу обратила мое внимание на то, что говоря, как я это делаю «на музыкальный лад», т.е. вечно забегая вперед, я не замечаю, что большинство слушателей не верят моему простодушию и видят в нем лишнее подтверждение распространившегося подозрения, что я подослан из Лондона для секретной пропаганды среди американских евреев. Женя об этом никогда раньше не слышала, и рассказ мой сразу поднял в ее глазах умственный престиж «Поли», а с тем вместе и ее право на известное признание.

«Какое тебе дело до кошки!» — оборвал меня брат в Дуббельне на даче в 1901 г., когда я старался очистить подоконник от осколков, грозивших повредить лапки серо-белой кошки, привыкшей прыгать со двора через это окно в дом и даже греться на солнце на этом самом усыпанном битым стеклом подоконнике. И действительно: какое мне дело

до «кошек», подравшихся над океаном между Америкой и Англией? Но мне удалось ссылкой на дуббельнское изречение понятным, что есть нечто общее, семейное между интересом к кошке на Рижском взморье и интересом к судьбе бруклинской вдовы, от которой отрекаются американские родные, оправдываемые Женей. Снова забило «золотое сердце».

Регистрирую это как «успех». Но не прав ли все же брат, покойный дед Адопкиной дочки: какое же, однако, тебе до всего этого дело?

Ответ — мое имя: Аарон (Aharon). Только вчера узнал из объяснений Раши к описанию смерти Аарона, что слово «гора» (har) в центре имени еще более знаменательно, чем я сам до сих пор предполагал. Я всегда толковал, что это — гора, завершающая жизнь «миролюбца» (rodef shalom) т.е. «гора горы» Ног На-har, но вчера я узнал, что это «гора на горе» — одна их трех духовных вершин, возвышающихся над всем горизонтом Израиля такого же духовного значения, как гора Синай и гора Нево, Мавзолей Моисея. Выходит, что Мавзолей Аарона — в самом сердце живого его имени, и отсюда — опять more geometric — я делаю заключение, что полностью мое имя должно звучать: Ahar Na-Naron<sup>223</sup>, а что «миролюбец» гора — на горе, а какое мне дело до всего этого — об этом отдельно (на 30 июня 12.20 ночи) (...)<sup>224</sup>

<sup>223</sup> *Ср. Ararat!*

<sup>224</sup> Комментарий к этой записи см.: ЛА. 293. Игра слов и букв («творить созвучия» — в духе начала XX века: Ремизов, Шестов, Розанов), а также привлечение разных языков — один из важнейших способов философствования для Штейнберга. «Записать до Пасхи целую массу мыслей не вслух: «Король гол!» Например, «разоблачение» не только в прямом, но и в переносном смысле, и не только самого короля, но и всего двора... вплоть до человеческого легковерия вообще. «Зло» легко размножается и в природе, и в языке (сравни словарь: есть «злословить», но не добрословить», злопамятный, но не... и т.д.): Календарь 11.IV.1970.

**На вторник 15 июля**, канун новолуния. Внеочередная вставка — 1969.

В ожидании звонка у входной двери в мой № 81. Снова приехали Сеня и Ф<анни> из Аннаполиса — вернее, прилетели — как все эти годы и до, и после кончины С<они> в 66 г. Размышляю в ожидании, спрашиваю себя самого. В то же время стараюсь понять.

В связи с замечанием, оброненным Сеней перед отъездом в прошлом году (27 сент. 68 в пятницу вечером?)<sup>225</sup> о моей вине перед братом, среди ночи на прошлой неделе я наткнулся на примеры старательной защиты его чести («революционной»), вопреки запросам собственной совести, старался вспомнить главное лицо в эпизоде с гейдельбергской «фальшивкой» на имя студента Солдатова<sup>226</sup>. Он, эпизод этот, растянулся с берега Неккара в 1912 г. до берега Москва-реки в 1913 г. и перекинулся в Berlin и Париж, когда брат уже имел позади участие в Ленинском Совнаркоме в 1918–1919 гг.<sup>227</sup>, «а главное лицо» в этом эпизоде, тоже бывший с.-р., очутился в Париже главным редактором ежедневной газеты С. Д. Т. («Confederation général du Travail») «Le populaire...»<sup>228</sup> Видел.

Видел — кто кого? Кто что? — Не помню, как хотел продолжать, но суть в том, что этот «редактор», крайне небрежно относящийся к бывшему товарищу, был тот самый Василий Васильевич Сухомлин<sup>229</sup>, сын народовольца-каторжа-

<sup>225</sup> Прямо удивительно!!!

<sup>226</sup> 9.Х.69! В последний четверг упомянул об этом М. Абрамск<ий> (см. дальше)

<sup>227</sup> Ошибка: И.-Н. Штейнберг был министром юстиции в составе ленинского правительства с 12 декабря 1917 по 15 марта 1918 г.

<sup>228</sup> Confederation général du Travail. Всеобщая конфедерация труда. CGT. Le Populaire, journal revue hebdomadaire de propagande socialiste et internationaliste.

<sup>229</sup> Василий Васильевич Сухомлин (1885–1963) — участник революционного движения, эсер, член Исполкома II Интернационала. То, о чем Штейнберг говорит осторожно и догадками, Р. Гуль называет прямо:

нина и еврейской матери, которого брат в Москве отказался приютить в своей легальной квартире (у старого Лурье) на Патриарших прудах, когда у того «провалилась» гейльдербергская фальшивка на имя «Солдатова» и он покинул гостиницу без вещей<sup>230</sup>. Я об этом узнал в следующем году в Heidelberg'e же от Бориса Давид<овича> (Каца-Камкова<sup>231</sup> в присутствии «дедушки», Чернявского<sup>232</sup>), но брат об этом совершенно забыл, и я ему, само собою, не напомнил, а в посмертной биографии (1888–1914) обратил случай в его противоположность. Накануне 15-го июля долго бился ночью, чтобы вспомнить имя «отвергнутого» братом товарища и почему-то подумал, что м. б. «Каплан» поможет мне, хотя память у него несравненно хуже моей, да и всю эту с.-р.-овскую «бесовщину» он проклинает безоговорочно и без проверки. Что же оказалось? Когда уже тут я произнес имя «Сухомлин» в связи с именем Евг<ения> Юльев<ича> Левина<sup>233</sup>, Сеня сказал: «Ну вот, это уже относится ко времени после нашего периода в послереволюционной России!». Я подтвердил и нашел неожиданное подтверждение

---

«Как оказалось, провокатором у эсеров Сухомлин был десятилетия (...) Когда Сухомлин бежал в СССР, то получил там «персональную пенсию». Было за что» (Роман Гуль. Я унес Россию. Апология эмиграции. Т. II. Россия во Франции. N. Y., 1984. С.177–178).

<sup>230</sup> По словам Абрамского, урожд<енного> Гальперина, лишь недавно скончавшегося в Париже.

<sup>231</sup> Борис Давидович Кац-Камков (1885–1938) — один из организаторов партии левых эсеров. Учился в Гейдельбергском университете (до 1911 г.), в годы войны — интернационалист. Многократно арестовывался. Соредактор газеты «Наш путь». Штейнберг обращался к работе Б. Камкова о П. Л. Лаврове (Белоус. II.634).

<sup>232</sup> Владимир Степанович Чернявский (1889–1948) — поэт и чтец, был членом-соревнователем Вольфилы.

<sup>233</sup> Евгений Юльевич Левин (Левинé, 1883–1919), немецкий коммунист, одновременно — член партии эсеров в России. Участник образования Баварской советской республики (апрель-май 1919 г.), глава ее Исполнительного комитета. Расстрелян вместе с другими лидерами после падения республики в июне 1919 г.

для другой своей гипотезы, что отец В. В. Сухомлина, которого я видел лишь раз, когда он приехал к сыну из Парижа «совершенным французом», приоткрывает занавес над рядом других загадочных фактов, в том числе — касающихся связей парижских троцкистов и даже меньшевиков с «Великим Востоком» (Влад. Зензинов, М. В. Вишняк и даже Евг<ения> Андр<еевна> Романова-Комкова)<sup>234</sup>.

Если это так (все должно быть еще продумано и проверено!), то мой отказ последовать совету Никол<ая> Александровича Касьянова<sup>235</sup>, биолога из Москвы, работавшего в 1911–1913 г. в Институте Büchli в Heidelberg'e<sup>236</sup>, оправдан еще из одного или еще под одним углом<sup>237</sup>.

(Прервал в 7.30, когда приехала «Женя» — Евг<ения> Бор<исовна> Гурвич — рассказала, как она слетала к больной «Поле» — Полине Юльевне Ауэр-Ошер в санаторий в Bodeit под Ульрихом — «золотое сердце» — таки сказало, и нашло применение мое имя собственное. Сравни стр. 10–13, и эту 10-го августа 69 г., около полуночи!).

### **Воскр<есенье> 17-го авг<уста> 69 г. 4.30 утра**

В ожидании «визита» доброго друга Джэксона, швейцара ВЕК'а в мои последние годы там, утверждающего в унисон со своей супругой, что я был там «единственным

<sup>234</sup> Штейнберг называет известных российских участников ложи «Великого Востока народов России», филиала парижского центра Grand Orient: Владимира Михайловича Зензинова (1880-1953), левого эсера, учившегося в германских университетах (в том числе, в Гейдельберге), известном «каменщике»; Марка Вениаминовича Вишняка (1883-1976) — юриста, публициста, тоже левого эсера, с 1919 г. — в эмиграции (Париж), редактора «Современных записок». Евгения Андреевна Камкова-Романова — жена Б. Д. Кац-Камкова.

<sup>235</sup> Он постоянно убеждал меня примкнуть и стать «братом» в его влиятельной «ложе», когда мне было 22!

<sup>236</sup> В Зоологическом институте Отто Бючли (1948–1920) училось до Первой мировой войны множество петербургских биологов.

<sup>237</sup> А в четверг услышал, что Сухомлин — сотрудник Пражской «Воли России» — стал советским агентом и года два тому назад умер в России, а до того якобы был агентом немецким (м. б. — двойным?).



джентльменом». Он сам — бывший рудокоп из графства Дэргам. Все это характерно для неунывающей старой Англии. До этого, вслед за обедом, беседа с Дорофеей Тринидадской, заменяющей временно постоянную сиделку Патрицию Ульстерскую, о ее видах на будущее в качестве доучивающейся певицы. Это одна из моих забот. Надеюсь на интерес Жени.

До этого, за обедом из кошерного мяса, соображал в уме не без улыбки на лице, что некоторым людям дашь медяк в руку, и он тут же, без всякой химии, превратится в червонец, а у других — целые пригоршни червонцев так же автоматически превращаются в заплесневелые гроши. Это, по всей вероятности, эпиграмматическая вариация русского выражения «сыпать бисер перед свиньей», которое я впервые услышал от страхового агента Ярхо, отца автора повести «Отец» (по-немецки) «Гришки» Ярхо (брата Раечки и Фриды, а также «офицера» Изи — NB<sup>238</sup> с 1918 г.), в нашей гостиной в Двинске, когда его прославленное красноречие в интересах страхового общества «Якорь» не дало практического результата (в 1901 г.)

Набиваю фразу подробностями так туго, чтобы наскоро иллюстрировать «идею», как можно было бы превратить «медный» эпизод с несвершившейся страховкой в полноценный, благородного металла рассказ, даже повесть, о семье Ярхо<sup>239</sup>. А что до случаев с обратным знаком: пример — мои старания в областях педагогической, литературной и общественной — конечно, со значительными исключениями.

5.30 pm Вильям (Биль) Джэксон остался как будто доволен беседой не меньше, чем я сам. Жена его, Мэри Этель, передаст по моей просьбе при случае своей сестре Маргот

<sup>238</sup> NB! — nota bene! — «обратить внимание!» (лат.)

<sup>239</sup> Страховое общество «Якорь» основано в Петербурге в 1872 г. (страхование грузов, пароходов, вагонов). В Двинске оно разорилось из-за регулярных пожаров и махинаций.

мою «просьбу» повидать, когда вернется с мужем-французом на Ривьеру, m-me Флег<sup>240</sup> в Бовалоне, чтобы сообщить ей, что я в Лондоне жив и здоров. Цель моя — подчеркнуть в обоих направлениях, что идея «равенства» и в наши дни не химера на храме Нотр-Дам.

Запишу в реальной связи с этим, что есть такие-сякие, которые производят кой-кого (хотя бы меня самого) из рядовых в поручики лишь для того, чтобы иметь возможность разжаловать «старшого» в подпоручики. И еще прибавлю для памяти, что в пятницу, третьего дня, в двухсотлетие рождения Наполеона Бонапарта, при чтении рецензии на англ<ийский> перевод Анны Браун книги Лашука о «славе» корсиканца<sup>241</sup>, пришла на ум другая англ<ийская> книга: о «Ста Днях» Филиппа Гедаллы<sup>242</sup>, автор которой послужил некогда соратнику по ВЕКу, Истерману, средством своего возвеличения в моих глазах: «Друг моего друга, мол, сам наследник английского престола...» Это было не двести, а лишь около тридцати лет тому назад, а ныне мне кажется, что я тогда был на тысячу лет моложе и на целый эон простодушнее.

Предпочитаю стареть и набираться по-прежнему ума-разума, даже пересоленного.

**25-го августа 1969 г.** Около 11 веч<ера>

Завтра, как обычно, будет врач и, по всей вероятности, подтвердит свой обычный «диагноз»: «Без изменений». Я давно смирился и лишь желаю продолжать желать; или, если это чересчур, исчезнуть совсем из собственного сознания. Сейчас мне почему-то захотелось прибавить листок, заполненный не на тему, намеченную выше, а в связи с роковым для меня и потому всеобъемлющим вопросом: мо-

---

<sup>240</sup> Жена французского поэта, драматурга и эссеиста Эдмона Флега (1874–1963).

<sup>241</sup> *Лашук Анри*. Наполеон. Походы и битвы. 1796–1815. 1957.

<sup>242</sup> Филипп Гедалла (1889–1994) — английский писатель. Его «Сто дней» (1934) называли «виндзорским» отчетом о кризисе отречения.

жет ли живущий среди живых «смертник» продолжать «желать» без Бога и якобы вне зависимости от Него?

Мой новый опыт с 18-го марта 1966-го года мне все настойчивее подсказывает, что с иссяканием личного Боговедения (Daath Н.<sup>243</sup>) все возможные желания слепляются в одно — в единственное желание ничего не желать. Эта та резиновая пробка в горлышке — а чем я лучше бутылки? — в узком дыхательном пути от моего индивидуального телесного существования к внешней земной атмосфере. При таком одном исключительном желании «ничего не желать» я как психофизическая особь задыхаюсь.

Еще я барахтаюсь, как мышь, тонущая под напором сильной водопроводной струи, смывающей ее в раструб канализации, как я сам наблюдал это с год тому назад здесь в квартире. Иначе, как мог бы я сейчас исписать эти две последние странички? Но если им, страничкам этим, действительно суждено стать «последними», пусть всякий, кто их после меня прочтет, уразумеет, что я в самом большом отчаянии и в самом отчаянном своем унижении, барахтаясь уже не как сын человеческий, а «как мышь, рожденная в подполье», все еще молился о вере, о надежде и любви.

Да смилостивится надо мной Господь.

**На четверг, 4-го сентября, 1969 г.**

12.15 час. ночи.

Перечитал последние странички. Сегодня, с 2-х до 6-ти пон<едельника>, разговор А<си> и вернувшейся Пат Ультерской в присутствии сменяющей ее Дорофеи Тринидадской о моем состоянии и враче. В итоге: если сам не разберусь, помощи ждать могу лишь от наития свыше. Никогда еще не ощущал себя до такой степени «наедине»... наедине, Бог даст, с Творцом.

7.30 вечера.

<sup>243</sup> Притчи Соломоновы 2:5 («...постигнешь страх перед Господом и обретешь познание Б-га»).

**11-го Тишрей, 5730-го г., т.е. 23 сент<ября> 1969 г.** по общепринятому календарю, вторник, после вчерашнего Судного дня (Yom Ha-Kippurim) и третьей годовщины операции, которая (годовщина!) мне казалась почему-то многообещающим событием, днем отпущения души на покаяние в Елисейских Полях. Вчера был как раз понедельник, день псалма, завершающего словами «Al mot», и я не раз повторил стих из Йоны, сына Амитая: *Ve-atta H. kah na eth nafshi, ki tov moti me hayai*<sup>244</sup>.

С этим у меня связывается реалистический рассказ из моего синагогального опыта последних лет <нрзб>. Но сегодня записываю это лишь для того, чтобы подтвердить, что такие печальные события и явления, как неожиданная кончина (проф.) Иосифа Вейса, любителя мистики и диалектики, которому так и не удалось потолковать со мною<sup>245</sup>, и тоже несколько неожиданная весть из совершенно другого мира, полученное вчера письмо с острова в Ламанше (от Алистера<sup>246</sup>), что все эти ростки на том же поле, которое я, — увы! — оставляю под паром. Могу лишь и после Дня Покаяния и Всепрошения повторить то, что ощущаю всю жизнь: самая вредная сорная трава — пестроцветная иллюзия.

**В тот же вечер, 23.IX. 11 ч.**

Вот как это происходит в пределах моего сознания.

*Quem perdore vult, prius dementat*<sup>247</sup> — автоматически всплывает древняя мудрость, открытая мне еще в гимназические годы. Не совсем случайно: то и дело разговор заходит о лю-

<sup>244</sup> Псалом 48: «Он будет вести нас вечно». Йона, 4. «И ты, Всевышний, возьми мою жизнь, ибо лучше мне умереть, чем жить».

<sup>245</sup> Джозеф Г. Вайс (1918–1969) — специалист по еврейской мистике и хасидизму. Учился в Еврейском университете у проф. Г. Шолема. В Англии работал в еврейской школе; преподавал в университетах. Директор Института иудаики Университетского колледжа Лондона.

<sup>246</sup> Видимо, Алистер Маклин (1922–1987) — британский писатель. Служил во флоте, автор остросюжетных романов на морскую и военную темы.

<sup>247</sup> «Кого Бог хочет погубить, того он прежде всего лишает разума».

дах, к которым применяют диагноз «помешательство». А судьи кто? Большею частью те, кто предназначены фактически «погубить»; чтобы сделать это самым безопасным для делателя способом, он первым делом прилагает к объекту замысла этикетку душевного заболевания; отсюда убедительное истолкование конца как результата болезненного саморазрушения, принявшего в век нынешний и без того эпидемический характер. А почему это так? На эту тему у меня скопился, и по сей вечер находится в полной сохранности огромный материал со времени пробуждения моего интереса к таким «сумасшедшим», как Фридрих Ницше (с 1908 г!), и к литературе предмета (с того же приблизительно времени, т. е. свыше шестидесяти лет тому назад). Вспоминаю невольно, как Карл Ясперс, ставший авторитетным психиатром, в зиму 1929–1930-х гг. внимательно прислушивался к моему толкованию взаимоотношений между философией и безумием, которым, как я тогда, в его кабинете на Pläcker Heidelberg, выразился, она, философия, часто оплодотворяется... Еще в прошлом году, под конец своей продолжительной и очень деятельной жизни, 85-ти лет отроду, он в письме из Базеля помянул эти heidelberg'sкие беседы наши... Автоматически пересекают поток воспоминаний о «психиатрии» в моей умственной эволюции — под разными углами, в различных плоскостях — такие своеобразные происшествия, как успешная симуляция умопомешательства — в Судный День, именно в Йом-Кипур, 1917 г. (Раппенау, Heidelberg, «Наумыч», роль того же Ясперса, проф. Nomburger<sup>248</sup>, Ниссль<sup>249</sup>, Эми Ледерер<sup>250</sup>) — мое вы-

<sup>248</sup> Эрик Хомбургер (1902–1994) — немецкий психолог и психоаналитик. В 1933 г. ему пришлось бежать в Данию, а потом — в США. Фрейдист, но в направлении развития личности; положил начало психо-историческому методу исследования.

<sup>249</sup> Франц Ниссль (1860–1919) — немецкий психиатр и невропатолог. С 1904 г. — профессор Гейдельбергского университета; изучал строение мозгового вещества.

<sup>250</sup> Эмиль Ледерер (1882–1930) — австрийский и немецкий экономист и социолог. Профессор Гейдельбергского университета в 1922–1930 гг.,

сокомерие по отношению к «крэпелиновой науке» о циркулярной мании<sup>251</sup> и предостережение дяди Исидора, специалиста-невролога и «профессионального» писателя-психолога по поводу моих насмешек в большевистском Петрограде, в его квартире на Васильевском, в 1918 году — есть шагаловская гравюра, и еще, и еще...)<sup>252</sup>.

В сознании все это проносится, пересекается и сливается, не теряя характерных очертаний, с быстротой распространения света, и вот, когда пытаешься удержать этот поток в русле писанных слов — с целый час, как ни комкаешь, не справляешься и с сотой долей того, что следовало бы с разных точек зрения запечатлеть. Ведь эта именно латинская поговорка о “dementi”<sup>253</sup> вызвала у меня сегодня вечером интерес к пункту программы BBC (третьей, в 9.50 pm) о «шахматах в России», и именно, прослушав двадцатиминутное сообщение, мне захотелось закрепить на бумаге собственные наблюдения и догадки (мое знакомство с Эммануилом Ласкером<sup>254</sup>, дядя Моисей-«Эльяшев» Алексей Алексеевич Чебышев-Дмитриев из нашей питерской Вольфины, Ботвинник, Решевский, Романовский и Боголюбов в германском плену<sup>255</sup>, мнение Р. В. (Разумника Васильеви-

---

затем — Берлинского (1930–1933). Несомненно, что автору было близко положение Э. Ледереру о преобладающей роли идей в историческом развитии и о стихийной силе личности. С приходом к власти нацистов покинул Германию, работал в Нью-Йорке.

<sup>251</sup> Эмиль Исакович Крепелин (1856–1926) — немецкий психиатр, автор классификации психических заболеваний и людей, которые могут ими заболеть, в том числе, «циркулярной мании».

<sup>252</sup> См. запись об этом «своеобразном происшествии»: «С четверга на пятницу 28-го сентября», Раппенау.

<sup>253</sup> Dementia (англ.) — слабоумие.

<sup>254</sup> Эммануил Ласкер (1868–1941) — второй чемпион мира, философ и математик. К 1929 г. он уже прошел пик своего шахматного творчества (26 лет удерживал звание чемпиона мира), но продолжал выигрывать.

<sup>255</sup> А. А. Чебышев-Дмитриев (1877–1942?) — математик, член-соревнователь Вольфины, вел кружок «Введение в философию математики» и шахматный кружок, оппонент А. Штейнберга: ЛА. 203–205; ФС. 580,

ча), сам Ив<анов>-Раз<умник> и многое другое, переводящее от современной политики к философии истории и общей, и еврейской; интересные разговоры по поводу моего включения шахмат в книгу о России под редакцией Маргариты Cole, в 1941 г.<sup>256</sup>, завистливость Н. и Б. и т. д. и т. п.). Все это надо подать под горячим соусом пикантных подробностей в благовременьи, а не как сейчас, далеко за полночь 24-го сентяб<ря> 1969 г.<sup>257</sup>

В следующий вечер 24-го сент. 1969 г. за полчаса до полуночи.

Как работает та же «голова» под воздействием явлений из «внешнего мира», показывает сегодняшний случай.

Около 11 утра на телефонный звонок откликается, как обычно, сиделка — «няня» (nurse) и сообщает, что хочет меня видеть человек из Америки по имени Meyer Rubin. Он не знает, что я на больничном положении, дает свой адрес — Лондонский отель — и просит меня осведомить, что мы встречались в годы войны. Теперь я знаю, в чем дело.

Лишь накануне я неожиданно сам о нем вспомнил, стараясь разобраться в природе присущего мне чутья в прогностических упражнениях — не в «ясновиденьи», как заявил не так давно другой гость из Америки, друг Жени «Витя» (Виктор Юльевич Ауэр<sup>258</sup>), вспоминая, как верно я предви-

---

606–607, 580, 599, 616. Михаил Моисеевич Ботвинник (1911–1995) — чемпион мира, 7-кратный чемпион СССР, кандидат технических наук; Самуэль Герман Решевский (1911–1992, Польша) — 8-кратный чемпион США); Петр Арсеньевич Романовский (1892–1964) — советский шахматист; Ефим Дмитриевич Боголюбов (1889–1952) — в 1914 г. был интернирован («в германском плену», как А. Штейнберг), на турнирах представлял Россию, Германию, СССР.

<sup>256</sup> Книга, о которой пишет А. Ш., не найдена.

<sup>257</sup> Календарь на 25 марта 1970: «Решаю задачу Александра Петрова [1794–1867] «мат в 12 ходов» по поводу Наполеона, которого в 12-м году русские партизаны выгнали из Москвы, чтобы дать мат в Париже (Решил с диаграммы)». Шахматная задача подтверждала единство мира.

<sup>258</sup> Виктор Юльевич Ауэр — знакомый Штейнберга, актер-любитель. Полина Юльевна Ауэр-Ошер — его сестра.

дел события в Палестине в середине 1947 г., а — как я экспромтом поправил его — в ясном видении реальных сочетаний реальных фактов<sup>259</sup>. Раздумывая об этом в день Всепрощения в покаянном моем состоянии, я наткнулся на ... М. Рубина, с которым столкнула меня война весной 40-го года. И вот сегодня он и сам появился в Cumberland Hotel'e, очевидно, желая использовать меня снова как оракула — «ясновидца». Это именно чувство ответственности за предсказание без достаточно разумных оснований и подсказало мне разграничение между «ясновидением» и «ясным видением» в разговоре у себя с Виктором Юльевичем 31-го августа. Был я к этому давно подготовлен (и учителем С. Г. Рабинковым, да и собственным опытом). Но в большинстве люди предпочитают «верить» ясновидцам, нежели трудиться над усовершенствованием собственного «зрения» путем его очищения (нравственного!) до «прорицательной», если можно так выразиться, ясности. Очень характерен в этом смысле появившийся сегодня на моем горизонте румынский Рубин, навсегда «пораженный» моим восклицанием: «Ага, попался!..»

Дело было в начале мая 1940 г., когда передали по радио, что Невилл Чемберлен подал в отставку<sup>260</sup> и приглашен во дворец как кандидат в премьеры Уинстон Черчилль. Я чуть не подскочил и выразил одним словом, что, мол, теперь злой волк (Гитлер) не может не поплатиться. Когда годы спустя М. Рубин, слышавший, с каким восторженным предвосхищением я встретил передачу власти премьерера Черчиллю, снова очутился в Лондоне, он первым делом (в присутствии С<они>) с блеском восхищения в глазах спросил меня, часто ли я воспроизводил в уме в последующие годы свое ни с чем не сравнимое «Ага, попался!». И он

<sup>259</sup> Кантово «эстетическое» *interesseloses schauen!* (смотреть бескорыстно — Н. П.). Примечание > 30.IX. 69, 5 ат). К этому примечание > 12.X.: не «*schauen*», а «*gefallen*» (не смотреть, а нравиться).

<sup>260</sup> Артур Невилл Чемберлен (1869—1940) подал в отставку в мае 1940 г.



добавил, что восклицание это не переставало воскресать в его сознании каждый раз, когда возникали сомнения, но что-то ведь еще может повернуть ход событий в дурную сторону. «Нет! Никогда — звучало у него в ушах. — Попался, так попался... Раз навсегда!».

Не буду больше о госте из Америки, а поясню лучше на этом примере, что надо понимать под «ясным видением».

(Продолжение следует — уже опять далеко за полночь, 25. IX)

А сегодня, в четверг и почти в самый канун Кушей 5730 г., т. е. без  $\frac{1}{4}$  12 **25-го сентября**, прибавлю лишь два слова в виде предварительного замечания: недаром, как все эти годы, я приобрел сегодня традиционные виды растений (пальмовую ветвь, мирты и т. д. — «арба миним» в просторечии)<sup>261</sup> как гимнастические принадлежности для усовершенствования ясности зрения. Соблюдаю упрямо обряды, «чтобы сохранить славу оригинала»? Это характерное верхоглядство. «Оригинальность» естественная (ср. с Ф. М. Дост<оевским>!) культивируется и сознательно — несомненно. «Наука горька, но плоды ее сладки», или в применении к данному случаю: чем больше «возделываешь» свою природу, тем плодотворнее ее подпочва. На этом «предпраздничном» замечании приостановлю «сбор фруктов» в рассаднике собственных размышлений. Уже перевалило за полночь, а завтра и по лунному, и по солнечному календарю — уже сегодня Erev Hag Issuf — канун Праздника Сбора<sup>262</sup>.

**Поздно вечером в воскр<есенье> 12-го окт<ября>**, то есть, в Первый День Новолуния Хешван 5730, после Субботы. «В Начале» — *Vara-shit-bara*<sup>263</sup> — празднования были мои гости из Аннаполиса с 1 по 5 окт<ября>, рассказывал, старался разъяснить, набрался еще новый короб догадок, а теперь вкратце!

<sup>261</sup> 4 вида растений: этрог, лулав, мирт и арава (ива).

<sup>262</sup> Суккот называется также праздником Сбора (урожая).

<sup>263</sup> *Shmo ithbarekh!*

В беспорядке — несколько гвоздиков, чтобы повесить на резинках памяти занятные побрякушки:

1. «Каждый может написать одну, по крайней мере, интересную книгу: историю собственной жизни». Выказал впервые в русском «реферате» под заглавием «Искусство и Критика», давшем мне под конец 1910 академического года, во время каникул в Москве, повод поставить тему о новейших течениях в немецкой эстетике в самом начале списка тем, намеченных мною по предложению Вал<ерия> Як<овлевича> Брюсова для «Русской мысли» (напечатано в феврале 1911 г.)<sup>264</sup>. Брат присутствовал на нашем студенческом собрании, и опыт (доклад) не одобрил. Однако, когда он почти лет пятнадцать спустя получил премию имени Goethe за свою первую пьесу на конкурсе Бременского театра<sup>265</sup> (он и Leo Lenia! — венгерский эмигрант), и я, поздравляя его, пожелал ему, чтобы книги его плодились и множились (Кен: уйбу!) он заметил: «Кто-то сказал, что любой человек может написать одну интересную книгу — моя драма такого именно сорта». Кстати, псевдоним его «Левадин» не был, как он думал, лишь комбинацией имен детей, «Левы» и «Ады»; он, помимо его сознания, одновременно обнаруживал его замкнутость в самом себе: по-еврейски-библейски: Levado (Левадо) — божественный атрибут: «Он один» «и нет с Ним никого» (Ve-yen od).

2. Только заголовок: Змей-искуситель агум (самый «мудрый» среди тварей) и егом «нагой», но именно змий nakhash соблазнил Еву и Адама «узнать», что они наги и устыдиться — чего? — того, что называют по-английски теперь “The naked are”<sup>266</sup>. А глагол nakhesh означает колдовство посредством змеиного шипения-нашептывания, а сверх того — нагой, склизкий, хитрый змей образует круг, свивается

<sup>264</sup> Об этом дебюте: ЛА. 40—41.

<sup>265</sup> Драма «Тернистый путь» (1927). Опубликовано по-немецки в Варшаве в 1928 г.

<sup>266</sup> Т. е. змееподобны! (пояснение 29/X/ — 5 рт).

в кольцо, как и плоды с дерева познания, он символизируется линией без начала и конца, как орбиты небесных тел, оправдывающие, по слову В. В. Розанова, его собственную склонность лгать (в его полемике с редактором «Русской Мысли» П. Б. Струве, которому Брюсов рекомендовал меня в трех своих письмах конца 1910 года) ЛА. 44–47.

3. Мое толкование (из мифического «Мидраша Аарона») — титул, который переняли скончавшиеся недавно еврейские писатели И. Мангер<sup>267</sup> и Соломон Бикель (восхвалявший меня по заказу ВЕКа к моему 70-летию)<sup>268</sup>, относится к “am kshe oref” — «жестковому народу» (Исход, гл. 32–34 — об Аароне, Моисее, Господе Боге и Золотом тельце) — мораль: упрямство этически нейтрально (Вавилонская Башня): Sham maim = shamaim — naase lanu shem<sup>269</sup>

5. Творение начинается с “Havddalah”, значит ему предшествует суббота. — Shev v-al taase. Va-yehi erev va-y-yehi bok-er.<sup>270</sup>

6. Неподвижность 248 членов организма = в солнечной системе 365 дням круговращения<sup>271</sup>. И еще и еще!

<sup>267</sup> Ицик Мангер (1901-1968) — идишский поэт, драматург, прозаик и эссеист. В 1928–1938 — в Варшаве, с 1938 — в Париже, откуда уехал в Лондон, затем — в Нью-Йорк. С 1967 — в Израиле. На его стихи написаны десятки песен. По инициативе ЮНЕСКО (а значит с участием Штейнберга) включен в «Антологию мировой поэзии». Премия его имени присуждается идишским писателям.

<sup>268</sup> Соломон (Шлойме) Бикель (1896-1969) — еврейский писатель-очеркист, критик (идиш). Президент идишского Пен-клуба, представлял Румынию в YVO.

<sup>269</sup> Имя воды — небо. «Сделаем себе имя [чтоб не рассеялись по лицу земли]» (Берешит 11:4).

<sup>270</sup> «Садись и ничего не делай!». Из Мишны. «И был вечер, и было утро [день один]» (Берешит 1:5).

<sup>271</sup> «613 заповедей было дано Моше [из них] 248 повелевающих — по числу органов человеческого тела — и 365 запрещающих — по числу дней в году».

7. Напр., еще до Пятницы. Вторник с 1 на 2 ч. 22-е окт. 1969

Shalakh lakhmekha al pnei hamaim ki berov haiamim thimzaenu<sup>272</sup>

Noi kol zame lkhu lamaim — ein maim ela Tora (Baba Kamta 82 a)<sup>273</sup>

8. Св. Франциск проповедовал птицам и рыбам, когда не было слушателей в образе людей, не только слушателей в образе людей, не только слушающих, но и якобы понимающих, и в подобных обстоятельствах ему было безразлично, продолжали ли они щебетать по-своему или же оставались немые, как рыбы. Поэтому-то он мог поднять храм, как поднос, и сохранить блюдо соблюдения века не остывшим. Мораль в моем положении ясна: пиши для неграмотных<sup>274</sup>.

**Среда, 29 октября 1969 г. около 6 рт**

9. Еще из «Аронова Мидраша»<sup>275</sup>: до сотворения Евы — процессия всех зверей, Адам «нарицает» (уже отмечено в «Системе свободы ФМД»: “нарицающий Адам”)<sup>276</sup>, но не находит подходящего друга, покуда не появляется «Иша», этимологически и биологически «взятая» из звуко-сочетания «Иш» = муж, мужчина <Ср. «Адам» и «Адама»

<sup>272</sup> «Пошли хлеб твой по водам и спустя много дней ты найдешь его» (Экклезиаст. 11:1).

<sup>273</sup> Фраза из двух частей: «Все жаждающие, идите к водам!» (Исайя 55:1) и трудно переводимого выражения из Вавилонского Талмуда (Бава Кама, 82а). «Сказано в Торе (Шмот 15:22): «И шли они три дня по пустыне и не нашли воды». Толкователи говорят: нет другой воды, кроме Торы...» Точнее по-русски: «Вода не что иное, как Тора» или: «Когда говорят “вода”, подразумевается “Тора”».

<sup>274</sup> *Перечитал 28 окт. 1069 г. в 5 рт — надо кое-где подправить.*

<sup>275</sup> В календаре 2 января 1970 записано: «Снова о Иосифе, деде в Ковно, 1898, мать, все сыны Иосифа — пары, «колосья», коровы — пища скота, а затем людей — все это типичный «Мидраш Аарона»».

<sup>276</sup> «Нельзя познавать добро и зло, оставаясь в раю и в райском неведении, и не напрасно подстерегает премудрый змий нарекающего Адама...»: ФС. 104.

(Земля) и «Дам» (Кровь) и Адом (красный) — комментарии устные и в уме». Но не означает ли это также, что женщина как бы человекоподобное животное, искони включенное в прообраз человеческого организма? Тайна сия велика, но применение к Микро и к Макрокосму очевидно: первый «предшествует» второму; вселенная изначально была вселена в одушевленный «прах» («афар»). Это, кстати, сразу показалось вразумительным в конце 1956 г. Сарвенапалли Радхакришнану<sup>277</sup> в моем разговоре с ним в его доме в Нью-Дели (он был тогда вице-президентом Индии), после смерти его жены в Мадрасе и нашей Ады в Нью-Йорке.

10. А теперь после свадьбы сына ее Даниила в Америке (1-го октября), о котором его отец написал не по моему адресу *post-factum*, я написал Мите, племяннице, младшей дочери брата, что это не столько «fait», сколько «fête» *accomplie*<sup>278</sup> (Мита специализируется во французской грамматике).

**На пятницу 31 окт. 69 (11 pm)**

Нечто «новое». Объяснение, если можно так выразиться, восклицания: «Я на самой границе последнего отчаяния». Во-первых, вслух при свидетельнице (А. в шесть час. вечера), в ответ на предложение «улыбнуться». Пусть будет след моего итога в подведении моего собственного счета с моим Творцом на нашей планете среди моих сверстников, людей начала третьей трети двадцатого века по общепринятому календарю. Повторяю и подчеркиваю, что этот «мой» счет, твари, сознающей свое место и время, свой адрес и свое календарное число. А все? Об этом хочу...

<sup>277</sup> Сарвенапалли Радхакришнан (1888–1975) — философ и государственный деятель, с 1952 — вице-президент, с 1962 по 1967 — президент Индии. Встреча с ним описана в эссе Штейнберга о смерти Ады.

<sup>278</sup> Игра слов по-французски: не столько «совершившийся факт», сколько «произошедший праздник».

---

## Из DIARY 20

**Воскр<есень> 27-го сент. 1970, 7.30**

(Опять серенькой ручкой после ухода «ИВ»-иковых людей М. З. и Цанга)<sup>279</sup>

Продолжаю, что начал на 15-ое сентября в день отъезда обратно в Америку С. Н. и Ф. Я. <Капланов>, прощально-го разговора по телефону утром в 10 ч. Упоминаю об этом в данном случае потому, что замечание Вити о зависти могло бы быть ключом к загадочному игнорированию моих «идей» о сути еврейской веры и писаний моих и моих друзей (например, покойного Леона Roth'a<sup>280</sup>) со стороны бывшего ученика с 1914 г. «Сени»: зависть от боязни поскольз-

---

<sup>279</sup> «Серенькая ручка», которой писала покойная С. В. Штейнберг. Сотрудники YIVO М. Зильберберг и Иоэль Цанг. В календаре того же дня: «М. З.+ Цанг — “ивиковы журавли”» (реминисценция на одноименную балладу В. А Жуковского, 1813).

<sup>280</sup> Леон Рот (1896–1963) — брат С. Рота, философ. Учился в университетах Лондона и Кембриджа, с 1928 г. — профессор философии, ректор Еврейского университета. Исследователь рационалистической традиции и еврейской философии: *Jewish Thought as a Factor in Civilization* by Leon Roth. Paris, 1954.

нуться в сострадании, в соперничестве, в соревновании, а также в боязни второй степени — в страхе признаться самому себе в неблагоприятном чувстве<sup>281</sup>. Примеров такого отношения ученика к учителю много, хотя бы того же N. Hartmann'a к Когену или земледельца Каина к скотоводу Абелью (земледелие, как известно, следует за сознательным разведением скота). Нередко, как в мифологической морали, зависть переходит в ненависть, и льется кровь братоубийства. Недаром сохранилась еврейская поговорка: «Всем люди завидуют, но отец не завидует сыну и учитель ученику». Отсюда следует, что ученик может завидовать учителю и что это так же легко возможно, как невозможно обратное; есть слово «отцеубийство, но нет готового термина для убийства сына. Талмудическое узаконение о праве самообороны отца против подкапывающегося сына («*Va-makhtereth imatse ha-ganav*»<sup>282</sup>) но не наоборот, можно распространить также на столкновение учителя с учителем. Однако добиться толку во всем этом вчера за этим столом по окончании субботы с гостями из Америки было бы невозможно из-за боязни признаться самому себе в дурных чувствах. Я поступил, как и Витя, и перенял для виду дурное нравственное «произношение». Но это еще не самое плохое. Гораздо хуже как будто то, что сознающие свои дурные чувства иногда боятся признаться в них тем, к кому дурно относятся, из опасения, что не встретят взаимности. И это следует подчеркнуть как один из источников, мало заметных, моральной заразы. Когда кто-нибудь боится

<sup>281</sup> См. характеристику «Сеньки» в Дневнике 4. В календаре за 26 сентября подробности этой субботней встречи: «Бурное обличение «бойкота» исторического учения еврейства, вроде снобизма, безответственности и «зависти» к учителю. А затем — *havdala* и прощание, как если бы навсегда. До того — конец именного указателя к «Религии разума» Когена». 27-го: «Не записал о боязни не встретить взаимности во вражде».

<sup>282</sup> «Если вор пойман при подкопе [и забит до смерти, за его кровь не взыскивают]» (Исход. 22, 2).

признаться в любви из страха быть отвергнутым, не нашедшая выражения любовь грозит несчастно влюбленным крушением личности и даже смертью от собственной руки. Наверяд ли, однако, можно представить себе общественность, разлагающуюся от эпидемий обреченной на молчание любви. До недавнего времени в наших широтах почти везде женщины были в таком положении из боязни нарушить приличия, все равно привел ли бы их почин в признании к взаимному признанию или к отклику, подобному онегинскому ответу на письмо Татьяны. Тем не менее, жизнь шла своим чередом и довела нас до уравнивания женщин в правах, в частности, в праве объясниться в любви с половиной мужской. Иное дело — объяснения — вернее, боязнь объяснения — в ненависти.

Народы, классы и расы, охваченные пароксизмом ненависти, громко провозглашают свои злостные чувства и не сомневаются, что встретят, вызовут, обнаружат взаимную ненависть. Страх потерпеть «неудачу» в этом отношении между особями — его редко подмечают. Его подводят под категорию лицемерия и под знаменитую формулу Ларошфуко о дани, приносимой пороком добродетели<sup>283</sup>, формулу, снабженную мною много лет назад примечанием: предпочитаю порок, приносящий дань добродетели, добродетели, приносящей дань пороку<sup>284</sup>. Но оказывается, дело сложнее, и мой опыт этому меня научил. Большинство ненавидящих меня людей — пусть из-за зависти — боялись в этом признаться из опасения, что я не стану платить им той же монетой и тем еще больше раздую пламя зависти,

<sup>283</sup> Франсуа де Ларошфуко (1613–1680): «Лицемерие — это дань уважения, которую порок платит добродетели».

<sup>284</sup> Это была запись в Дневнике 8 от 29 августа 1946: «...чтобы возобновить привычку: “Даровому коню в зубы не смотрят”, но просвечивают рентгеновскими лучами сердце даящего. Или: “Лицемерие — дань порока добродетели” — только там, где добродетель все еще у власти. Или: “Честность — самая лучшая политика”, относительно же хорошо мошенничество и т. д. и т. д. для “Нового Ларошфуко”».



терзающей их сердце, создавая так нескончаемый запал горячего для их ненависти. Тут верховенство добра порождает зло, и зло, быть может, отравляет, таким образом, общество ядом, против которого еще нет противоядия. Надо эту диалектику зла разобрать до ниточки, особенно в эту неделю перед Покаянием (...)

Воскр<есенье> 31 января 1971 г., без пяти двенадцать — там же.

Еще до конца месяца января хочу возобновить писание в этой тетрадке. А есть о чем. За последние десять дней почтовой забастовки мои «повести» ограничены разговорами на месте, включая автоматические телефонные, и прибоем мыслей, напирающих с исключительной настойчивостью. Причина понятна. Приходится самому сочинять за других не прибывающие письма. Может быть, удостоюсь сейчас расставить кой-какие вехи. Все еще с 31 января на 1 февр. 1971 — все еще в Лондоне.

Уже 2-е февр., на вторник, 10 час. вечера. «Вехи» были вчера расставлены, но уже с закрытыми глазами — перед сном.

За последние две недели были тут у меня посетители из Нью-Йорка, Оксфорда и по телефону — с подробностями — с окраины здешнего «Луганска». Все это повлекло еще раз подумать, как свиваются, перевиваются и развиваются события частной жизни — иногда до самого конца ее.

Эта вот «веха» — образец. Была «Шура», покойница, которую я не могу вспоминать без ее истинного титула: «бедная» — «Бедная Шура»<sup>285</sup> (...).

---

<sup>285</sup> Далее, в развитие темы «зависть-любовь-ненависть» Штейнберг излагает свою версию «не-отношений» с А. Л. Векслер.

II

ДОСТОЕВСКИЙ  
В ЛОНДОНЕ

ПОВЕСТЬ В ЧЕТЫРЁХ  
ДЕЙСТВИЯХ

(1931)



---

### Действующие лица

Достоевский, Фёдор Михайлович

Полина

Герцен, Александр Иванович

Натали, Наталья Алексеевна Огарёва

Лассаль, Фердинанд

Маркс, Карл

Женни, его жена

Лаура, их дочь

Мисс Сарра

Жюль

Гарсон, хозяйка пивной, хозяин, Лили, их племянница,  
матросы, глухонемой, уличный торговец, приказчики,  
молодой человек, дама в чёрном.

Действие происходит в Лондоне в июльский день 1862 года.

---

## I. С ТОГО БЕРЕГА<sup>1</sup>

*(Гостиная, окна распахнуты настежь;  
сквозь опущенные шторы доносится глухо городской шум)*

### 1. Натали, мисс Сарра

Натали (*на диване, на столе раскрытый томик с золотым об-  
резом*)... и, пожалуйста, мисс Сарра, накройте  
на террасе.

Сарра (*у двери направо*). Ещё бы, миссис, в такую жару. Како-  
во-то сегодня в городе! (*обмахивается платоч-  
ком*). Значит, на три персоны, на террасе. Мо-  
роженое, если позволите...

### 2. Те же и Герцен

Герцен (*входит через противоположную дверь с распечатанным  
письмом в руке*). Нет, мисс Сарра, на этот раз  
вы ошиблись. Не на три, а на четыре, а может  
быть, даже на пять.

---

<sup>1</sup> Реминисценция к книге А. И. Герцена «С того берега» 1850 г.

- Натали. Одну секунду, Сарра. Как, Александр, опять неожиданные гости?
- Герцен. Гости или гость, сам еще толком не разобрал. (*Читает*): «Очутившись волею судьбы со спутницею своею в Лондоне для кратковременного пребывания, позволю себе завтра около полудня лично выразить Вам мое почтение. Искренне преданный Вам и уважающий Вас, Эф. Эм. Достоевский»... Что скажешь?
- Натали. Ах, как я рада! Это настоящий сюрприз! Помнишь, что рассказывал нам о нём Тургенев? Ругал, ругал, и чем больше ругал, тем больше хотелось его узнать... Мисс Сарра, завтрак, значит, не на три, а на пять персон.
- Сарра. На пять?!
- Герцен. Но, Натали, ведь он ничего не пишет, что будет выражать почтение вкупе и влюбсе со своей спутницей.
- Натали. Да ведь это само собой разумеется. Наверно, тоже соотечественница, и где же он ее оставит?
- Сарра. Простите, миссис, в последнюю минуту еще две персоны... У меня и мороженого не хватит... Колдунья я, что ли?..
- Герцен. Но, мисс Сарра, миссис, право, не виновата, что я так поздно заметил письмо... Это меня надо оставить без сладкого! Как сказано в Писании — *mea, mea maxima culpa!*<sup>2</sup>
- Сарра (просияв). Ну да, мистеру всё шутки, а бедная девушка разбирайся тут во французских половицах.
- Герцен (*вдогонку уходящей Сарре*)...и в русских прибаутках.

<sup>2</sup> «Моя, моя великая вина» (*лат.*) — первые слова покаянной католической молитвы. К. Р.

### 3. Натали, Герцен

Натали. Ты, Саша, я вижу, в чудеснейшем расположении.

Герцен (*присаживается, кладет письмо на стол*). А ты разве чем-нибудь недовольна?

Натали. Недовольна? Нет, но какое-то смутное беспокойство. С того часа, как ты мне сказал, что у нас будет к завтраку Лассаль, мне как-то не по себе. В обществе, говорят, он не сносен.

Герцен. Ага, опять предчувствие... Полно, Наташа, мы отлично справимся с ним. Нам ли, сарацинам, Львиного Сердца страшиться! Впрочем, откровенно говоря, как ни хотелось бы мне серьёзно потолковать с Лассалем о польском вопросе, сейчас меня больше всего занимает неожиданный пришелец из всероссийского нашего «Мёртвого дома». Я всё ещё не оставляю надежды, что найдётся художник, который окрылит наше вольное слово, раскалит его пророческим жаром, придаст ему упругость стиля... Кто знает, быть может, Фёдор Михайлович Достоевский...

Натали. Неужели прошлогодний опыт с Толстым тебя ничему не научил?<sup>3</sup>

Герцен. То граф, а это каторжник. Кроме того...

*(Слышно цоканье копыт)*

Натали. Постой, как будто к нам (*приподнимает за собой штору*). Это он, да! По экипажу видать.

<sup>3</sup> А. И. Герцен и Л. Н. Толстой встречались в Лондоне в марте 1861 г. Высоко ценя талант друг друга, они расходились во взглядах: на отношение России и Запада (Герцен считал необходимым европейское влияние, Толстой — был не согласен), на оценку реформ. Толстой также считал, что Герцен отгораживается от русской жизни.

Герцен. Натали, прошу тебя, будь всё-таки любезна с ним... А что с корректурой будет! Обязательно до часу дня надо в типографию сдать.

#### 4. Те же и Жюль

Жюль (*у второй двери налево*). Мсье де Лассаль (*отступает, Герцен идёт навстречу*).

#### 5. Натали, Герцен, Лассаль

Герцен. Искренне рад приветствовать вас у себя!

*(Лассаль церемонно кланяется, Герцен берет его под руку и ведет к Натали)*

Герцен. Позвольте представить Вас (*Натали протягивает руку, которую Лассаль подносит к губам*).

Лассаль. Счастлив с вами познакомиться (*просит взглядом разрешения и опускается в кресло; Герцен садится с противоположного края*).

Натали. Я очень рада, что Вам у нас нравится.

Герцен. И притом мы, в сущности, как будто под Москвой.

Лассаль. Желаю от души, особенно Вам, милостивая государыня, чтобы это «как будто» стало наконец реальностью.

Натали. Мне кажется, что Александр ещё больше тоскует по родине, чем я.

Лассаль. Простите, сударыня, против этого я позволю себе решительно протестовать. Герцен стоит на высокой башне, и звон его «Колокола» в буквальном смысле слова потрясает стены Кремля. Но душа женщины не может довольствоваться одним созерцанием, ей нужно соприкоснуться с тем, что ей мило. Мужской патриотизм — идея, патриотизм женщины — чувство, чувство дочери, подруги.



- Герцен. Дорогой Лассаль, Вы сильно преувеличиваете патриотизм русских.
- Лассаль. Если не считать ветхозаветных евреев, я не знаю другого народа, который был бы так кровно связан со своей землёй, как русские: она для них одновременно и страна рабства, и земля обетованная.
- Герцен. И пустыня, по которой они беспрестанно странствуют. Пустыня без конца и без края, без границ естественных и исторических, страна, в которой, куда ни кинешь взгляд, земля везде сливается с небом. Heimatgefühl<sup>4</sup> — слово, не переводимое на русский.
- Натали. Тут я держусь иного взгляда.
- Лассаль. Иного чувства, сударыня, не скованного идеей. Чувство родины врождённо. Мы, социалисты, не должны отрицать его, мы должны снять его в высшем синтезе. Сколько народов, столько космополитизмов. Я готов признать, что многим русским идея всемирности заменяет чувство родины, но от этого русский космополитизм не перестаёт быть русским (*поворачивается к Герцену*). В самом абсолютировании Вашей идеи отражаются и колоссальные размеры Вашей родины, и даже... русский абсолютизм<sup>5</sup>.
- Герцен (*поднявшись*). Дорогой Лассаль, Вы бьете метко в цель. Смею ли я после этого задать Вам вопрос: не осуждена ли всечеловечность немцев оста-

<sup>4</sup> Чувство родины (*нем.*) К. Р.

<sup>5</sup> В эссе «Россия и Польша» Герцен писал: «Развитой человек может любить по сердцу, по уму, по привычке свою родину, служить ей, умереть за нее, *но патриотом* не может быть». Собр. соч. Т. 7. М., 1958. С. 192. «Мы не рабы любви нашей к родине, как не рабы ни в чем». Письма к противнику. Там же. Т. 8. С. 241.

- Лассаль. ваться столь же узкосердечной, как узки пределы многочисленных немецких отечеств?
- Лассаль. Нет! Ни в коем случае! В интересах мира каждый немецкий социалист должен быть и будет поборником Великой Германии. Россия родилась великаном, Германия должна стать им.
- Герцен. Будет ли Великая Германия способствовать воскрешению Польши?
- Лассаль. Способствует ли этому Великая Россия?<sup>6</sup>
- Герцен. Мы...
- Лассаль. Вы говорите «мы», а мне чудится, что устами Вашими говорит абсолютная власть... абсолютизм Вашей личной идеи.
- Герцен. Носителем идеи является и Фердинанд Лассаль. Что он думает о Польше?
- Лассаль. Маркс сказал бы: восстановление Польши в ее исторических границах — реакционная фантазия. Я же полагаю...

### 6. Те же и Жюль

- Жюль. Мсье, Вас спрашивает мсье Достоевский и мадам.
- Натали (*к Герцену*). Вот видишь, я сказала, что он будет не один.
- Герцен (*к Лассалю*). Простите, одну секунду! (*Выходит, за ним Жюль*).

---

<sup>6</sup> Для Герцена поддержка русским народом Польши была бы проявлением его «всеединства»: «Не имея ни отечества для спасения, ни мира для покорения, все бросились на полицейское усмирение Польши, на полицейское водворение русского элемента, на полицейскую пропаганду православия, на чиновничью демократизацию края... Такой исток патриотизма слишком отдаёт нашим Петербургом, и мы не видим в нем русского народного чувства». Там же. С. 241.

### 7. Натали и Лассаль

- Натали. А я еще не успела Вас предупредить, что мы завтракаем сегодня, для нас самих неожиданно, в обществе очень интересных приезжих из России (*берет со стола письмо Достоевского и прячет его в ридикюль*).
- Лассаль. Приезжие из России редко бывают неинтересны.
- Натали. Мсье Достоевский — человек с совершенно исключительной судьбой.
- Лассаль. Мне кажется, что я это имя уже где-то слышал.
- Натали. В очень молодые годы он был осужден на казнь, в последнюю минуту помилован, сослан в Сибирь и вот теперь он здесь.
- Лассаль. Это звучит как роман. И жена его была всё время с ним?
- Натали. Жена?.. Не знаю, право... Впрочем, он сам романист.
- Лассаль. Как в России всё необыкновенно!

### 8. Те же, Полина, Достоевский и Герцен

Герцен (*пропуская Полину и Достоевского*). Ну-с, дорогие друзья, будьте знакомы.

*(Натали поднимается навстречу, Лассаль встает и стоит со скрещенными руками, Достоевский отвешивает общий поклон. Полина быстрыми шагами направляется к Натали, проходя мимо Лассалья, смеривает его взглядом).*

Полина (*протягивая обе руки к Натали*). Наконец-то мы у Вас! Насилу уломал меня Фёдор Михайлович... В такую даль и в такую жару.. Но мне очень, очень хотелось побывать у Вас. До сих пор я знала Александра Ивановича только по портретам.

*(Достоевский, полускрытый Полиной, низко кланяется Натали, обменивается рукопожатием с Лассалем, который снова скрещивает руки на груди)*

Герцен *(подвигая кресло Достоевскому, в сторону Полины)*.  
И что же? Откровенно: лучше я или хуже, чем на портрете?

Натали *(увлекая Полину на диван)* На портретах ты, по крайней мере, не задаёшь ненужных вопросов.

Достоевский *(осторожно опускаясь в кресло рядом с Лассалем и вытирая лоб большим платком)*. Вопросы Герцена никогда... *(смущённо умолкает)*.

Герцен *(к Лассалю)*. Ради Бога, простите! Я ещё не представил Вас... даме.

Полина *(подаёт через стол руку Лассалю)*. Герцен уже успел нам внизу кое-что рассказать о Вас.

Достоевский *(Полине)*. Я Вам ещё в Париже тоже упоминал по одному поводу..

Полина *(не глядя в его сторону)*. Да? Не помню что-то...

Лассаль *(сядаясь)*. Мне очень приятно, что дом Ваших соотечественников и я для Вас не совсем чужой.

Достоевский *(косясь на Лассаля)*. У нас и в России много немцев, особенно в высшем свете.

*(Неловкое молчание.)*

*Натали переглядывается с Герценом)*

Натали. Вы прямо из Петербурга?

Достоевский. Оттуда, да. То есть с остановкой в Берлине, да уж, конечно, и в Париже. Из Питера — недели три, прямо в Лондон. Очень уж хотелось на Выставке побывать.

Полина. Очень хотелось на Выставку, третьи сутки здесь, а всё ещё не собрались.

Достоевский *(Полине)*. Я давеча, по пути сюда, говорил Вам: для нас тут, что ни взять, всё выставка.

- Полина. А я Вам резонно возразила: то всё прошлое, это Аббатство и так далее, а там современность.
- Герцен. Чудесно сказано! Бьющая через край современность и, стало быть, долею уже и будущее.
- Лассаль. Заглянуть в это будущее хотелось бы и мне в Лондоне. До сих пор удалось, однако, лишь раза два пройтись по Хрустальному Дворцу. Слишком много друзей, да и иероглифы в Музее слишком увлекательны.
- Достоевский (*поворачиваясь всем корпусом к Лассалю*). Вы в них разбираетесь?
- Лассаль. До известной степени. И иногда кажется, что тут скрыт какой-то ключ к самым трудным задачам наших дней.
- Достоевский. Искренне, искренне завидую Вам!
- Лассаль (*с улыбкой*). О, этому вовсе не так трудно научиться. Сверх того, я уже в студенческие годы много занимался древностями.
- Герцен. Quandoque bonus dormitat Homeros... Когда добрый Гомер дремлет...<sup>7</sup>
- Достоевский. Для Гомеров нужна чертовская память... У меня же, при моей болезни... (смущённо осекается).
- Натали (*участливо*). Вы не совсем здоровы, Фёдор Михайлович?
- Достоевский. Не то чтобы очень был болен, однако же на память действует нехорошо, подчас совсем отшибает.
- Полина. У Фёдора Михайловича бывают очень тяжёлые припадки. Сама ни разу не видела, только с его слов знаю.
- Герцен. Фёдор Михайлович, я мог бы Вам порекомендовать весьма дельного здешнего врача.

<sup>7</sup> Гораций. *Ars poetica*. V. 359. Близко русской поговорке «На всякого мудреца довольно простоты» (Большой толково-фразеологический словарь русского языка Михельсона / Подготовка текста Е. Ачеркан. М., 2004). К. Р.

- Лассаль. Если это припадки нервного свойства, то нет лучшего знатока...
- Достоевский (*быстро кивает головою*). Благодарю Вас, господа, сердечно благодарю. Я уже консультировался и в Берлине, и в Париже. Тут врачи вряд ли помогут. Одна надежда на... Да и остаюсь я за границей самый короткий срок, а в Лондоне и того меньше.
- Герцен. И не думайте, Фёдор Михайлович! Только познакомились и уже раззнакамливаться собираетесь. Нам многое надо обговорить. Не торопясь, не с салфеткой на груди. Кое-что мы Вам порасскажем, ещё больше порасспросим. Скучать, одним словом, не станем.
- Достоевский. Право, не знаю... Остаться долго на положении туриста...
- Герцен. Зачем же туриста!
- Лассаль. Надеюсь, господа, я не мешаю?
- Герцен. Нисколько, нисколько! Напротив, я рассчитываю найти в Вас поддержку.
- Натали. Александр, ты так увлечён своей мыслью, что забыл предложить гостям сигареты.

*(Герцен достаёт из кармана сигарочницу, подаёт её гостям.  
Лассаль, Достоевский и Герцен закуривают)*

- Натали (*к Полине*). В России, говорят, теперь и женщины стали курить?
- Полина. Курят, как же! Больше из глупого подражания мужчинам. Будь моя воля, я бы и мужчинам запретила. (*Достоевский машинально кладёт закуренную папиросу в пепельницу*). Пустая европейская привычка!
- Лассаль (*улыбаясь*). Строго говоря, американская (*затягивается*).
- Полина. Та же Европа, сортом похуже.

- Лассаль (*улыбаясь*). Но ведь Вы так интересуетесь Всемирной выставкой, и Вы увидите, русский отдел на ней, пожалуй, самый бесцветный. Я говорю не об искусствах, а о промышленности.
- Полина. Бьюсь об заклад, при беглом осмотре Вы на него и должного внимания не обратили. Может быть, главного и не заметили.
- Лассаль (*продолжая улыбаться*). Искренне сожалею, что не имел Вас гидом, (*учтиво кланяясь*) и был бы Вам весьма благодарен, если бы Вы согласились взять на себя эту роль.
- Достоевский (*поспешно*). У нас уже решено. Ещё до обеда, сегодня... Непременно сегодня...
- Лассаль. Какое счастливое совпадение! И я сегодня к пятичасовому чаю должен быть там.
- Достоевский. Не знаю, право...
- Полина. Ах, эти вечные Ваши колебания! Решено, так решено. Лучше, чем мсье Лассаль, никто нам Выставку не объяснит. Это, небось, не вычурное Ваше Аббатство.
- Достоевский (*волнуясь*). Конечно, конечно, не Вестминстерское Аббатство, не храм, не христианский монумент. Да и откуда взяться там христианству, коли во всём Лондоне, в целой, может быть, Европе, только и осталось оно на кладбищах, да на памятниках старинных.
- Герцен. Вы несправедливы, Фёдор Михайлович. На месте отжившей веры в Европе народилась новая вера: движение работников.
- Полина. Видите, то же, что я говорила!
- Герцен. И прежде чем составить себе окончательное мнение, Вы должны непременно соприкоснуться с новой этой верой. Один американец, Карл Шуц, — (*к Лассалю*) — Вы знаете! — спросил меня: «При столь дурном мнении о Европе, почему Вы не переезжаете за оке-

- ан?» Я ответил, как тот немец, который на вопрос, почему он не поселится в Берлине, сказал: «У меня в Швабии мой король». Так и я. У меня в Европе моя Россия и — Социализм.
- Лассаль. Я вижу, дорогой Герцен, что мы во многом, в очень многом, одного мнения. Да! Социализм — кратчайший путь к новой вере, к самой прочной уверенности, что истина и справедливость окончательно восторжествуют. Как выразительны глаза толпы!
- Полина (*к Достоевскому*). Что бы и Вам примкнуть?
- Натали. Ну, так скоро такие дела не делаются, милая mlle... m-me...<sup>8</sup>
- Полина. Зовите меня просто Полина! Под этим именем Достоевский хочет вывести меня в следующем романе.
- Достоевский (*тихо*). Боже мой, как Вы торопливы...
- Герцен. А я нахожу, что милая Полина совершенно права: быка и даже самого Юпитера надо брать за рога... Судьбы мира тесно связались в один узел. Стоит ступить на Выставку, и всякое сомнение пропадает. Этот узел уже никак не развязать; его следует разрубить, а без...
- Лассаль. Александра...
- Герцен ...а без России, не России Александра II... Впрочем, если Вы имеете в виду меня лично, я готов принять Ваш вызов. Без усилий любого из нас меч никогда не будет поднят.
- Лассаль. О, конечно!
- Достоевский. Александр Иванович, моя, самая заветная моя мысль! За всё, за всех спросится с России. За всех на Страшном Суде отвечать будем. Мы, именно мы...

<sup>8</sup> Мадемуазель... мадам... (*фр.*) К. Р.



- Натали (*дрогнувшим голосом*). Как оживает в Ваших словах старая забываемая Москва!
- Герцен. И будущая, ещё не сбывшаяся, чаемая... Проснувшийся богатырь расправляет члены.
- Достоевский. Уже расправил, уже встал на ноги! С первого часа освобождения Россия двинулась вперёд, ринулась без оглядки... Нет той силы на свете, которая могла бы ее удержать!
- Лассаль. Куда ринулась? Не на Стамбул ли, не в Азию ли?
- Герцен. Нет, нет, Лассаль! Имейте терпение. Последнее слово в России не за Зимним Дворцом, а за крестьянскою избою. Ещё между нами и вами стена недоразумений, но она рухнет, мы найдём общий язык: не русский, не французский — общечеловеческий. Когда ко мне доносится голос с того берега, как вот сейчас, я вижу, что я на верной дороге. Фёдор Михайлович, ваш энтузиазм должен сослужить службу общему делу! Грех говорить шопотом, с арканом на шее, когда Вас может услышать целый мир.
- Достоевский. Хоть бы шопотом, лишь бы от полного сердца...
- Герцен. Ваше сердце не будет пустовать и здесь.
- Достоевский. Как через границу перевалил, так и ущемила тоска, словно голод без утоления. Не могу себя и представить изгнанником... А может быть, всё это от незнакомства, отчуждённости. Коли до дна изучил бы, верно, обернулась бы и с другой стороны жизнь-то здешняя.
- Герцен. Именно! Именно! Вы должны изучить Европу до дна, а не торопиться, скользнув по поверхности, домой восвояси.
- Достоевский. Да я и не тороплюсь.
- Герцен. Кстати, Натали, у меня мысль! Не побывать ли и нам сегодня на Выставке?

- Натали. Отлично! Мы можем там и чаю напиться в своём обществе.
- Достоевский (*с поклоном Натали*). Душевно Вам благодарен.
- Полина. Bravo, bravo, Герцен! Наполовину Вы с этим упрямым уже сладили. Дайте сигарету!
- Лассаль (*быстро пододвигает ей сигарочницу, зажигает спичку*). Вы запретили бы табак всему свету, только не себе.
- Полина (*закуривая*). Я не курящая, мне ничего.
- Лассаль. «Ничего» — это, кажется, самое употребительное русское слово<sup>9</sup>.
- Достоевский (*резко*). Да.
- Натали. Ну, Фёдор Михайлович, я бы не сказала это так категорически.
- Достоевский (*более спокойно*). У каждого русского невысказанный девиз: всё или ничего.
- Лассаль. В средней Европе люди, естественно, склоняются к середине, к «или».
- Герцен. В этом пункте русские моли бы стать их учителями. Для средневропейских социалистов скоро наступит экзамен: польский вопрос. В некотором роде — *experimentum crucis*<sup>10</sup>!
- Лассаль. Мне действительно кажется, что в этом вопросе я мог бы с Вами сговориться.

### 9. Те же и мисс Сарра

- Сарра (*у двери направо*). Вас, мистер, уже четверть часа дожидается посыльный из типографии... (*загибая пальцы, шепотом*). Три, четыре, пять... Миссис, стол на террасе накрыт (*уходит*).
- Герцен. Так и знал, что не успею!.. Господа, очень прошу простить. Через пять минут буду к Вашим услугам (*уходит налево*).

<sup>9</sup> Реминисценция к эссе Л. Шестова «Творчество из ничего (А. П. Чехов)». 1908.

<sup>10</sup> Решающий опыт (*лат.*) К. Р.

**10. Натали, Лассаль, Полина, Достоевский**

Натали (*встаёт*). Прошу, господа.

*(Все поднимаются с мест. Полина идёт рядом с Натали, за ними Лассаль. Достоевский секунду стоит неподвижно, затем быстро обгоняет Лассалья и хватает Полину за руку).*

Натали (*у двери, обернувшись к Лассалю*). Пожалуйста, пройдите вперёд. (*Лассаль проходит. К Достоевскому и Полине*). Здесь прямо, через стеклянную дверь, по лестнице вниз (*выходит и закрывает за собою дверь*).

**11. Полина, Достоевский**

Полина (*сдавленным голосом*). Вы с ума спятили! Вы срамите меня перед целым домом!

Достоевский (*задыхаясь*). Я в бешенстве, ты меня нарочно терзаешь!

Полина. Стыдно, стыдно!

Достоевский. Знать не хочу я этого хлыща! Как ты смела без меня уговариваться?

Полина. Не разыгрывай плантатора, не к лицу тебе. Не нравится, ступай к своему ненаглядному Мюнстеру<sup>11</sup>, а я с Герценами туда.

Достоевский. Не о них я, а об этом гнусном Ласкале.

Полина. Не ломайтесь, Вам отлично известно его имя, и низко так выражаться о благородной личности!

Достоевский. Благородная личность! Паяц, Дон Жуан... с бритыми пейсами.

Полина. Стыдно, Фёдор Михайлович, сам потом жалеть будешь! На коленках ползать будешь...

Достоевский. Мучительница!

<sup>11</sup> Томас Мюнцер (1490–1525) — проповедник, один из руководителей Крестьянской войны в Германии в 1525 г.

- 
- Полина. Вы изверг! В чужом доме сцены устраивает. Слышно ведь там всё (*кивает головой в сторону противоположной двери*).
- Достоевский. Наплевать, что слышно! Наплевать! На всех наплевать! Проклинаю день и час, когда вздумал ехать сюда!

*Занавес*

---

## II. ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ

*(Веранда ресторана. За столиком Маркс, Женни, Лаура, Лассаль, за соседним столиком весёлая компания; три ступеньки ведут с веранды к дорожке, по которой проходит нарядная публика вглубь, к входу в главное здание Выставки. В отдалении — шум машин, порою раздаётся бравурная музыка).*

### 1. Маркс, Женни, Лаура, Лассаль

- Лаура. Всё-таки не понимаю, папочка. Разве проволока не пустая внутри?
- Маркс. Конечно нет, Лаура. Всё дело в действии электрического тока. Я тебе потом объясню. Без чертежа это не легко понять.
- Лассаль. Представьте себе, м-ль Лаура, что Вы вздрогнули, где-нибудь в другом конце города находится близкое Вашему сердцу существо...
- Женни. Для Вашего воображаемого телеграфа как будто и проволоки не надо.
- Маркс. Проволоку Лассалю заменяет сила воображения.

- Лассаль. Без фантазии, дорогой Маркс, ни Морзе, ни наш Рейс<sup>12</sup> не построили бы своих удивительных аппаратов.
- Маркс. Разумеется! И всё же ты навряд ли станешь оспаривать, что электрический телеграф не случайно занимает столь почётное место как раз на Выставке 62-го года. Когда темп развития мирового рынка ещё больше ускорится, среди экспонатов — в каком-нибудь Сан-Франциско — появится, пожалуй, и телеграф без проволоки. И твоя внучка, Лаурочка...
- Лаура. Па-п-па!
- Лассаль. ...будет ему удивляться не меньше, чем м-ль Лаура, и так же к ней будет доноситься назойливая музыка из «Фрейшютца», как доносились она к нашим бабушкам<sup>13</sup>.
- Женни (*прислушивается*). Действительно, это из Вебера!
- Маркс. Но инструменты, на которых будут её исполнять, будут, пожалуй, иные, а слушатели...
- Лассаль. Послушать тебя, дорогой Маркс, и невольно навязывается вывод, что не инструмент слушит музыканту, а музыкант инструменту.
- Маркс. Ты упускаешь из виду, что и композитор, и слушатель — сами инструменты высшей потенции, орудия сил, которые равно господствуют над тем и другим.

*(За соседним столиком начинают подпевать)*

- Лассаль. Мне никогда и в голову не приходило отрицать значение производительных сил; тем не менее, я полагаю, что эмансипация человека...

<sup>12</sup> Иоганн Филипп Рейс (1834–1874) — немецкий физик, изобретатель телефона (1861).

<sup>13</sup> Иначе: «Вольный стрелок» (1921) — романтическая опера К. М. Вебера (1786–1826) национального направления.

- Маркс. Ты повторяешь слова, которые были высказаны чуть ли не двадцать лет тому назад. Мы, однако, не остановились на спекулятивном понятии человека, мы стараемся наполнить абстракцию конкретным содержанием. Человек расчленяется для нас на его реальные разновидности: на землевладельца, буржуа, пролетария...
- Лассаль. При всём том пролетарий не перестаёт быть человеком (*узнаёт среди проходящих по дорожке знакомых, элегантную пару, приветствует и вежливо раскланивается*).
- Маркс. На твоём месте я бы подчеркнул: и буржуа не перестаёт быть человеком.
- Лассаль. В конце концов, и ты будешь вынужден с этим согласиться.
- Женни. О, Карл только в теории так непримирим.
- Лассаль. Да ведь вся наша беседа — одна теория.
- Маркс. Разумеется, разумеется! И именно поэтому я хотел бы ещё прибавить: как во всей природе борьба за существование приводит к затвердению видовых форм...
- Лассаль. Прекрасная мысль! Ты заставляешь и Дарвина работать на тебя.
- Маркс. А, ты его уже знаешь! Тем лучше. Да, я думаю, что теория происхождения видов создает естественнонаучную базу для всего нашего учения. В горниле классовой борьбы выковывается особый вид буржуа и особый — пролетария. Чем больше разовьётся эта борьба вширь и вглубь, тем оба вида всё меньше и меньше будут походить друг на друга. Наконец наступит такой момент, когда тот и другой будут отрицать друг за другом даже самое право именовать человека. Классовое сознание вступит в свой наивысший фазис: в фазис самосозна-

ния... Впрочем, до этого ещё далеко. В сущности, я против того, чтобы заглядывать в будущее, которого ещё нет. С нас достаточно будущего, которое есть.

Лаура. Как странно ты говоришь, папочка. Будущего ведь всегда ещё нет?

Лассаль. Напротив, напротив, м-ль Лаура! Время, в волнах которого мы несёмся, можно сравнить с потоком лавы, всегда сплавленной из прошлого и будущего.

Маркс (*глядя прямо перед собою*). Я бы сказал это точнее: тенденции развития всегда налицо. Разве не ясно здесь на Выставке, что ручной труд окончательно вытесняется машиной, что богатство скопится там, где стужается пар, что вместе с тем изобилие производимых товаров выступает из берегов национальных государств, сдвигает теснее национальные рынки — и создаёт на наших глазах один мировой рынок для единого мирового хозяйства. Вся эта Выставка не что иное, как маленькая модель организующейся Всемирной ярмарки.

Лассаль. А работники?

Маркс. Ты спрашиваешь за Лауру или это твой собственный вопрос?

Лассаль. Ты меня неправильно понял. Тебе неизвестно то мучительное чувство, которое охватывает подчас, когда начинаешь сомневаться, будет ли солидарность работников расти так же быстро, как единство мирового рынка...

Маркс. Должна расти, не может не расти! Интернационал капитала требует своей естественной антитезы в интернационале труда. И он будет!

Лассаль. Что до меня, я, по правде признаться, считал бы свою задачу исполненной, если бы мне удалось вызвать к настоящей жизни хотя бы



один немецкий отдел этого ещё не родившегося всемирного союза.

Маркс.

Он ещё не родился, но он уже зачат. Освобождение белых негров в России и чёрных мужиков в Америке — в противоположность Энгельсу я не сомневаюсь, что победят Соединённые Штаты — окончательно освободит скованные силы капитализма и обострит до крайности подтачивающее его внутренне противоречие. Взрыв тогда неминуем.

*(По дорожке проходит сбившаяся в кучку группа. За соседним столиком вскакивают, раздаются возгласы «Vive l'empereur», из группы отвечают «Vive la France»<sup>14</sup>. Проходящие с любопытством оглядываются)*

Женни.

В чём дело?

Лаура.

Кто это?

Лассаль.

Это делегаты французских работников<sup>15</sup>. Маленький Наполеон ведь иного мнения, чем наш милый Маркс: он думает, что наглядный урок, который получают на Выставке работники, пойдёт на пользу его империи<sup>16</sup>.

Маркс.

Обречённый режим всегда осуждён рыть самому себе могилу.

Лассаль.

Но куда он в неё не свалится, яма часто наполняется ничем не повинными жертвами.

<sup>14</sup> Да здравствует император... Да здравствует Франция (*фр.*) К. Р.

<sup>15</sup> На Лондонскую Выставку приехали французские рабочие делегации из Парижа, Амьена, Лиона, представители рабочих Германии.

<sup>16</sup> «Маленький Наполеон» — Луи Бонапарт (1808–1873) после революции 1848 г. был избран на пост президента республики, а 2 декабря 1852 г. провозгласил себя Императором Второй империи. Однако в новом французском государстве в монархической форме осуществлялись республиканские принципы.

Маркс. Да, этого авантюриста я боюсь больше, чем всяких Пальмерстонов<sup>17</sup> и не меньше, чем...

## 2. Те же, Герцен, Полина, Натали и Достоевский

*(Лассаль быстро поднимается, подходит к балюстраде. На дорожке, направляясь к Главному зданию, показываются Герцен и Полина, за ними следом — Натали и Достоевский)*

Лассаль *(с приветливым жестом)*. А, наконец-то и вы!

Герцен *(скользнув взглядом по сидящим на веранде)*. Мы ещё на минутку в Palace<sup>18</sup>.

Полина. Герцен хочет поговорить со мною по телеграфу.

Лассаль. Вот оно что! Да, да, это очень забавно... Я вас там скоро разыщу *(снова садится)*.

*(Герцен с Полиной проходят, Натали за ними, несколько отставший Достоевский остановился прямо против сидящих на веранде и, не замечая задевающих его прохожих, не спускает глаз с Маркса)*

Натали *(берёт его под руку)*. Идёмте же, Фёдор Михайлович! *(Проходят)*.

## 3. Маркс, Женни, Лаура, Лассаль

Женни. У Вас действительно бездна знакомых.

Лассаль. Это русские, с которыми...

<sup>17</sup> Генри Джон Пальмерстон (1784–1865) — британский дипломат и государственный деятель. Действовал смело и решительно, возбуждая против Англии правительства Европы.

<sup>18</sup> Для 1-й Всемирной выставки в Лондоне (1851) в Гайд-парке Дж. Пакстоном был построен павильон из чугуна и стекла; последующие выставки стали называться Хрустальными дворцами (англ. Crystal Palace). 3-я выставка (с 1 мая по 1 сентября 1862 г.) была размещена в Южном Кенсингтоне, ее посетило 6,28 млн. человек.

- Маркс. На России ты меня как раз и прервал. Я хотел сказать, что колосса на глиняных ногах я боюсь не меньше, чем карлика на ходулях.
- Лассаль. Но, мой дорогой Маркс, нельзя же смешивать в одну кучу Александра Герцена с Александром II.
- Маркс. Так и думал, что это он! Казачий лорд... Несмотря на всю его прекраснуюдушную мировую скорбь, он такой же панславист, как и его царь: один процент высокого и прекрасного, девяносто девять — панславизм.
- Лассаль. Я с ним сегодня утром беседовал о польском народе и, уверяю тебя, у него очень здоровые мысли на этот счёт.
- Маркс. В последнюю минуту все они окажутся предателями... Бакуниными<sup>19</sup>. Кто помельче, кто покрупнее калибром.
- Женни. Но Карл, ведь это добрые друзья Лассаля! В такие душные дни, как сегодня, ты, право, несносен.
- Лассаль. Добрые друзья — это немножко преувеличено. Россия для меня главным образом интересный объект изучения, нечто вроде иероглифов и сфинксов. Вы заметили этого бледнолицого, который чуть было не съел нашего милого мавра глазами? Он из их же компании: писатель, уже успевший побывать в Сибири и приехавший в Лондон чуть ли не прямо оттуда.
- Маркс. За неимением более забавных предметов царю не остаётся ничего другого, как посылать на Выставку своих верноподданных.

<sup>19</sup> Анархист М. А. Бакунин (1814–1876) в 1848–1849 гг. призывал к разрушению всех государств, был приговорен к пожизненному заключению. Из Петропавловской крепости писал царю в 1851 г. о своих идеалах: «самостоятельности мысли, гордой безбоязненности чистой совести и т. д. К.Маркс не признавал его панславизма.

- Лассаль. А заодно и Его Императорского Величества революционеров, как, например, спутницу этого чудака и его самого — не берусь правильно произнести его фамилию, как-то на «ски»... Герцен хотел бы, чтобы он остался здесь и писал для его «Колокола».
- Маркс. Даже названия их «революционных» листовк отдают поповщиной!
- Женни. Дама, что шла с ним, это и есть мадам Ски?
- Лассаль. Нет, нет.. Это та, что была впереди, с Герценом. Кстати сказать, фамилии русских дам часто не совпадают с фамилиями их спутников жизни...
- Женни (*бросает беспокойный взгляд на Лауру. Марксу*). Тебе, Карл, не слишком поздно?
- Маркс (*вставляет монокль, глядит направо вдаль. Герцен и Полина вошли во Дворец, живо жестикулирующий Достоевский и Натали остановились у скамейки*). Конечно, мы сейчас отправимся (*К Лассалью*). Тебя сегодня уж, верно, не увидим. Смотри, твои новые объекты наблюдения уселись на скамейку. Они ждут, очевидно, своего наблюдателя. Но прости, ты хотел ещё что-то рассказать о царской революционерке.

(*Французы за соседним столом подзывают Гарсона, расплачиваются*)

- Лассаль. О, ничего особенного. Я условился с ней посетить вместе Русский Отдел.
- Маркс. Из этнографического интереса?
- Лассаль (*живо*). Что ж, я и в самом деле того мнения, что самое интересное из всего, что Россия нам до сих пор показала — люди.
- Маркс. Это можно сказать и об Австралии, особенно если наряду с папуасами вспомнить папуасок.
- Женни (*с укоризной*). Карл!

*(Маркс знаком подзывает убирающего за соседним столом Гарсона, тот подходит).*

Маркс. Три стакана содовой! *(Достаёт из кошелька бумажку, Гарсон исчезает).*

Лассаль. Парирую твой удар! С папуасами мне не сговориться, а рубящая с плеча м-ль Ски мне понятнее и, пожалуй, ближе, чем наши доморощенные Гретхен...

*(Женни встаёт, срывается с места и задумчиво слушающая Лаура<sup>20</sup>, за ними вслед поднимаются Лассаль и Маркс)*

Маркс. Ну, иди, иди. Я вижу, что ты нетерпелив. Только как бы тебе самому из наблюдателя не превратиться в объект наблюдения.

Женни. Глаз у варваров острый!

Лассаль. А у нас зато монокль, не правда ли? *(Вернувшись со сдачей Гарсону).* Этот столик остаётся за мною. Минут через десять принесите две порции чаю, крепкого. *(Провожает Марксов, прощается с ними и направляется по дорожке вглубь. Натали и Достоевский поднимаются со скамейки и идут к нему навстречу).*

#### 4. Гарсон

Гарсон *(у баллюстрады).* На каких только господ не насмотришься на этой проклятой Выставке! *(Уходит).*

#### 5. Лассаль, Натали, Достоевский

*(Лассаль и Натали поднимаются по ступенькам на веранду. Достоевский с опущенной головой медленно следует за ними)*

<sup>20</sup> В дальнейшем Лаура посвятила свою жизнь социалистическому движению и распространению марксизма; в 1911 г. вместе с мужем П. Лафаргом, тоже социалистом, отравилась.

Лассаль. Я тут на всякий случай занял столик. Тут под вечер особенно большое скопление народу. Пожалуйста! (*Пододвигает стул Натали*). А теперь разыщу остальных друзей. (*Сбегаёт по ступенькам и быстро удаляется вглубь*).

### 6. Натали, Достоевский

Достоевский. Ишь как шибко бегаёт.

Натали. Да, русский, сколько ни живи здесь, всё с развалышем ходит будет.

Достоевский. Ах, Наталья Алексеевна, не знаю, как и сказать Вам. Тоска, тоска одолевает. Чем дальше, тем больше. Некстати и голова разболелась. Эта толпа, давка... В ушах трезвон, визг и вой машин, свистопляска, чистый шабаш.

Натали. Вы утомились, Фёдор Михайлович, не надо бы столько впечатлений зараз. Выпьем чаю, и по домам. Отдышитесь, придёте в себя...

Достоевский. Куда там — в себя! Наяву снится и мерещиться будет. Такое на всю жизнь в сердце западает. Как всё это колоссально, могущественно, какая мрачная красота разлита во всё. Не увидел бы своими глазами, никогда не поверил бы. Библейская картина, Вавилон какой-то! И эти люди, текущие со всего света... Взгляните, вот. — Это кто? Индия, что ли?

*(Мимо веранды проплывает раджа со свитой)*

Натали. Индусы, а те, что раньше мимо нашей скамейки прошли, то были креолы, американцы.

Достоевский. Креолы... Подлинно, подлинно: «единое стадо», а пастырь — кто пастырь? Скажите, Наталья Алексеевна, ну разве уживётся, разве может ужитья всё это несметное множество под одним кровом, под одним куполом, без единого водителя?

- Натали. Да ведь Александр Иванович Вам давеча показывал надпись... Ту, наверху, золотыми буквами: «*Domini est...*»<sup>21</sup>, или что-то в этом роде. Ну, Вы знаете.
- Достоевский. *Domini*-то *Domini*... Только кто этот Хозяин земли и всей полноты её, кто Господин — Господь ли?
- Натали. А то кто же?
- Достоевский. То-то и есть! Господь ли или вековечный его супротивник?.. Не видите Вы разве, что стекаются сюда со всего света не Господу поклониться, не Сыну Человеческому, а огромному, страшному, небывалых размеров Идолищу, рода человеческого врагу и искустителю. Самому себе человек тут фимиам курит, самому себе поклоняется. Со всех концов приволок он свои сокровища, расставил, разложил, на разряды поделил и упивается своим богатством, успехом. Тут — триумф, тут — победа, тут что-то уже почти окончательное, чему трудно не поддаться, не подпасть. Куда до всего этого нашему гладенькому, причёсанному Петербургу, порфиноносной нашей вдовы племяннику!.. Щенок он перед этой могучей, мохнатой силой. Не устоять, не устоять ему перед ней...
- Натали. Устояли всё-таки в минувшую войну.
- Достоевский. Извне глядя, хоть покачнулись, да устояли, и польза даже была, что покачнулись. Мужикам, как-никак, волю дали. Таких тумачков дай Бог почаще. Но не о том я, не о внешнем. Я о лице народном говорю, о личности его... Как бы и ему не соблазниться, внутренне не преклониться...

<sup>21</sup> Господня [земля и что наполняет её] (*лат.*) — первая строка 24 (в Синодальном переводе 23) псалма, выгравированная на фасаде Королевской биржи. К. Р.

Натали. Современное европейское образование...  
Достоевский. Господи, да разве я против образования, против цивилизации? Против плодов её? Неужели я враг ей? Напротив! Я всемерно ей сочувствую, стою за неё, жажду её гармонии... Против чего я восстаю — не гармония её, а тон её фальшивый, этот визг и вой в ушах, этот неизбывный стон, точно замученное существо какое-то надрывается. (*Настораживается*). Слышите, слышите? Не то пила паровая, не то котёночку на хвост наступили... Это он, это он, всепокоряющий Ваал!<sup>22</sup> Над всем и всеми воцарившийся истукан. И сколько ещё казней египетских наслёт он на нашу бедную планету, сколько горя, сколько муки...

Натали. Фёдор Михайлович, Вам положительно вредно так волноваться... Вы весь дрожите.  
Достоевский. Вы думаете — нервическая чепуха, как говорил покойник Белинский<sup>23</sup>. Нервы расшатались? Не у меня одного! Во всём организме человеческого нервы расшатались. Я только со-ответствую, со-дрожу, так сказать, как тот вот микрограф, что нам показывали нынче у немцев. Заносу мельчайшими каракулями, что

---

<sup>22</sup> В 5 главе «Зимних заметок...»: «Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы; — не конец ли тут? не это ли уж и в самом деле, «едино стадо» (...) много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала».

<sup>23</sup> «Нервической чепухой» называл В. Г. Белинский написанные Достоевским повести после «Бедных людей».



- гигантскими письменами проступает на странице исторической...
- Натали. Вам теперь, Фёдор Михайлович, не писать, а отдыхать надо. Вы лечиться поехали.
- Достоевский. Какое уж тут лечение, когда на сердце жернов, а в голове тучей мошкары мысли, одна назойливее другой...
- Натали. Вам надо очень, очень себя беречь.
- Достоевский. Я и берегу, и потакаю, всякие поблажки делаю, да вдруг выдаться денёк как сегодня, со всех это сторон на тебя наваливается... Поэтому я и сбивчиво так... Вы уж простите, Наталья Алексеевна. Да и воздух — мутный кипяток какой-то. От одного этого знойного тумана голова закружится. И всё это скандирую про себя: Ваал-Ваал... (*Гарсон приносит чай, Достоевский машинально наливает себе и жадно пьёт*). Господи, Бог ты мой, какой я, однако, невежа...
- Натали. Что Вы, что Вы, Фёдор Михайлович! Пожалуйста, пейте на здоровье. У меня ещё и охоты нет.
- Достоевский. Ваал, говорю себе... Хорошо, Ваал. А где же жрецы его? Кто тут верховный жрец? Потому что какое же это капище без верховного, без главного-то жреца? Ккакие люди? Какой народ? Эти — в цилиндрах, с барынями своими и малютками — как бы и не господа вовсе, будто больше вроде надсмотрщиков, временных управляющих. Не наше, дескать, добро, сами в услужении... Лица сумрачные, губы поджаты, аршин проглотили, а выплюнуть не могут... Нет, не они. Так кто же, кто? Тут-то Вы мне и показали настоящего.
- Натали. Вы думаете, этого немецкого...
- Достоевский. Того! Того самого, на чьём месте я сейчас сижу. Поразительное лицо, знаменательное. С пер-

вого взгляда нельзя не узнать. Вот он, верховный-то наместник, местоблюститель престола антихристового. Нужды нет, что эмигрант и не признан...

Натали. Александр называет его в шутку «неузнанный гений».

Достоевский. Александр Иванович смеётся, смеётся, да шутками своими невзначай попадает не в бровь, а в глаз... самому себе. Страсть как любим мы съездить кулаком по собственной башке. И поверите ли, Наталья Алексеевна, как увидел я — уж не прогневайтесь — сверчка утрешнего в дружеской беседе с этим Саваофом, так я и к нему сразу переменялся. Даже завидно стало. (*Задумчиво*). Какой победоносный взгляд, какая прочная уверенность в себе, и так идёт к нему эта смуглость... Что-то исконное, восточное...

Натали. Он и есть из жидов.

Достоевский. Тоже? А я-то всё время ломаю себе голову... Ну, значит, дело верное... Коли уж они уцепились, то мир вверх дном перевернут, а на своём поставят.

Натали. Говорили, помнится, что крещёный он...

Достоевский. Эх, Наталья Алексеевна, пусть оно и грешно, а всё-таки позвольте Вам сказать, кровь, она погуще будет святой воды. Хоть бы и трижды крещён был, никак от Промыслителя своего не отступится. Кровь всегда пересилит. Это уж наверное. Александр Иванович мне, пожалуй, на вид поставит, что они к тому же неверующие. Так что же? В бездне неверия иногда самая-то горячая вера и скрывается, а еврея неверующего как-то и представить себе невозможно.

Натали. Какие парадоксы!

Достоевский. Что поделаешь! Время уж такое парадоксальное. Однако я всё со своим вздором, а Вы по доброте душевной...

Натали. Господь с Вами, Фёдор Михайлович. Я очень рада, что с Вами встретились, и ни в коем случае, ни за что Вас так скоро не отпустим.

Достоевский. Благодарствуйте, Наталья Алексеевна, благодарствуйте... Да вот и они (*резким движением откидывается назад*).

*(Оживлённо разговаривая, по ступенькам взбегают Полина, Лассаль и Герцен)*

### **7. Те же, Полина, Лассаль, Герцен**

Полина (*усаживаясь*). Ах, как интересно... Какое это жуткое чувство: сидишь с лентой в руке, тянется она, тянется... Точно призрак диктует.

*(Герцен и Лассаль садятся)*

Достоевский (*нахмурившись, Лассалю*). Вы тоже диктовали?

Лассаль. Нет, я больше мешал диктовать. Никак не мог оторвать их от аппарата. Чай уже, верно, остыл?

Достоевский. Мы пили горячий. Впрочем, пил-то всего я один.

*(Лассаль знаком подзывает Гарсона)*

Герцен. Никак невозможно! Разрешите мне.

Лассаль. Позвольте, ведь инициатива этой встречи принадлежит мне.

Достоевский. У нас уже с утра решено было.

Полина. Как Вам не совестно, господа! Что за смешные церемонии! (*Гарсону*) Ещё несколько порций... ну, три (*Гарсон уходит*).

Натали (*Полине*). А в Русском Отделе Вы побывали с мсье Лассалем?

- Полина. Так и не успели. После чая пойдём.
- Натали. Фёдор Михайлович очень устал. Ему бы после чая полезнее сразу в отель.
- Полина (*Достоевскому*). Верно? Что ж Вы прямо не скажете? (*к Лассалю*). Надеюсь, Вы не откажетесь проводить меня обратно в отель. (*Лассаль кланяется. К Достоевскому*). Как скоро Вы, однако, устаёте!
- Герцен. Я думаю. При впечатлительности Фёдора Михайловича на этой ярмарке с дворцами вместо балаганов, с пушками вместо рогаток...
- Достоевский. Нет, я больше не от частных утомился, а от общего. От толкотни, от людей.
- Натали. Фёдор Михайлович говорит, что он просто подавлен несметным количеством.
- Лассаль. Замечательно, как мы все с разных концов подходим к одному и тому же. Не дальше, как четверть часа тому назад, за этим же столиком мы тоже пришли к выводу, что в известном смысле люди здесь — самый занимательный экспонат.
- Герцен. Прибавьте — людские страсти, сомнения и надежды. И притом — какая смесь одежд и лиц...

*(Гарсон приносит чай)*

- Достоевский (*Лассалю*). Это кто же сказал, что самый занимательный экспонат? Марк?
- Лассаль. Вы хотите сказать — Маркс? Да, отчасти и он.
- Достоевский. Как-то непохоже на него.
- Герцен. Есть слова, столь же непохожие на нас, как мы сами непохожи на наших детей.
- Лассаль (*Достоевскому*). В каком смысле непохоже?
- Полина. В самом деле, объяснитесь! Это интересно. Ведь Вы его совсем не знаете.
- Натали. Вас возмущает, что он человека приравнял слу- чайным вещам?

- Достоевский. Какие же тут случайные вещи! Тут все на подбор, одна к одной. Нет, это куда ни шло, это, может быть, в его вкусе, а вот что «самый занимательный» — как-то не верится.
- Полина. То есть почему же?
- Достоевский. Очень уж заметно он мимо человека смотрит, как-то насквозь. Именно насквозь, не внутрь, не проникновенно, и не поверх, а как через пустое место. Глядит он на Вас, а Вас как бы и нет вовсе.
- Герцен. Видишь, Натали! Что я тебе говорил?
- Натали. Постой, Александр, тут недоразумение.
- Лассаль. И это Вы всё заметили с первого взгляда?
- Полина. Достоевский — литератор, он всегда что-нибудь выдумает.
- Лассаль. И всегда его выдумки так реалистичны?
- Герцен. Как! Et tu quoque? И ты, Брут?
- Лассаль. Могу лишь повторить слова мадам: *quid pro quo*<sup>24</sup>.
- Полина. Что это вы, господа, всё загадками перекидываетесь? Вы скажите толком!
- Лассаль. Милостивая государыня, я полагаю, что мсье подметил в Марксе, быть может, самую характерную его черту, и всё же Маркс, автор манифеста коммунистов — мой учитель...
- Полина. Что же, и Вы нас за людей не считаете?
- Достоевский. Ах, как Вы торопитесь! Не в том всё дело. Да неужели он всех, так без изъятия, взял да и разжаловал в пустое место? Не видели Вы этих дам в мантильках? Жену, что ли, дочку? (*Лассаль утвердительно кивает головой*). Так же, наверно, жалеет их, как всякий добрый семьянин. Не в том вовсе дело.
- Лассаль. Вы совершенно правы.
- Достоевский. А в том дело, что человеческий муравейник в виде вот Дворца Хрустального ему ми-

<sup>24</sup> То за это (*лат.*), услуга за услугу. К. Р.

лее и дороже всего на свете: и отца родного, и жены с дочкой, и уж подавно — чего тут требовать? — меня с вами.

Полина (*Лассалю*). И Вам тоже дороже?

Лассаль. Как строго Вы спрашиваете.

Полина. Признаться, что ли, стыдно?

Лассаль. Признаться, что я расхожусь в чём-либо с Марксом? Наоборот, я это публично, и частным образом, да вот и только что ему самому определённо высказал. Он понятие человека отождествляет...

Герцен. С разновидностью обезьяны?

Лассаль. Не совсем так. Отождествляет с суммой человеческих разновидностей. Между общечеловеческим в человеке и однажды только существующей личностью он вдвигает некий непроницаемый экран: земледелец, буржуа, работник. Человеческая личность раскалывается надвое. Я же считаю, что прав старик Гёте: высшее счастье сынов земли — личность<sup>25</sup>, цельная и нераздельная.

Полина. Отлично выражено, Лассаль! В таком случае, мы союзники. Дайте руку (*Лассаль протягивает ей руку, она энергично трясёт её*).

Достоевский. Погодите заключать союз. Гёте и Шиллер, всё это очень хорошо. А вот как до дела дойдёт, тут-то и скажется.

Полина. До какого дела?

Достоевский. До личного.

Натали. Личные дела исключаются, Фёдор Михайлович.

---

<sup>25</sup> Гете, «Западно-Восточный диван», «Книга Зулейки». Этот отрывок впервые передан соответствующим стихотворным размером в классическом переводе В. Левика (см. напр., издание под редакцией И. Брагинского: М., 1988), где он выглядит так: «Счастлив мира обитатель / Только личностью своей». К. Р.

- Герцен. Ну, когда речь идёт о личности, дела её, пожалуй, и не исключишь.
- Лассаль. Ведь мы ведём разговор, в сущности, академический.
- Достоевский. Вот то-то и есть.
- Лассаль. Что именно?
- Достоевский. Что сколько бы Вы с Вашим учителем не спорили, а в последнем счёте Вы с ним заодно.
- Лассаль. Не понимаю!
- Достоевский. Сказали же Вы, что личность для Вас только академический вопрос.
- Лассаль. Этого я не сказал.
- Достоевский. Не сказали, а проговорились.
- Натали. Фёдор Михайлович!
- Лассаль. Я всё-таки в толк не возьму, куда Вы клоните.
- Достоевский. К тому клоню, что как бы высоко Гёте и те, кто на него ссылаются, ни ставили человека, они всегда подразумевают при этом не каждого человека, не ближних своих, не прочих всех, а себя, самих себя. Так что аноним не так уж трудно расшифровать.
- Лассаль. Обвинение в эгоизме?
- Достоевский (*сильно волнуясь*). Да, в грубом, животном, материалистическом эгоизме. В необузданной жадности над всем властвовать, всем владеть, всё покорить себе. Нет ничего, что другому свято и чего нельзя было бы прибрать к рукам, захватить, втоптать в грязь... во имя... во имя личности, во имя...
- Лассаль. Обвинение пламенное! Надеюсь всё же, если не академическое, то, по крайней мере... поэтического свойства?
- Герцен. Достоевский хочет выразить...
- Достоевский. Я Вам сказал, что аноним не так трудно разгадать. (*Отвернувшись*). Простачком прикидывается...

- Лассаль. Милостивый государь!
- Герцен. Господа, вы решительно не хотите понять друг друга! (*К Достоевскому*). Не правда ли, для Вас только тот личность, кто раз навсегда отказался от всего личного?
- Достоевский (*по-прежнему отвернувшись*). Кто готов отказаться, а не тот, кто влюблён...
- Лассаль. ...в ближних, как в самого себя.
- Достоевский (*резко повернувшись, к Лассалю*). Вы передёргиваете!
- Лассаль (*вскочив*). Милостивый государь!
- Герцен. Позвольте, господа! (*Хватает Лассалья за руку. Натали старается отвести тоже вставшего Достоевского в сторону; неподвижна одна Полина. Появляется Гарсон, на дорожке перед верандой прохожие останавливаются*).
- Лассаль (*отчеканивая слова*). Милостивый государь, этот разговор будет окончен в другое время и... при других обстоятельствах!
- Полина (*вскакивает*). Фёдор Михайлович, немедленно тут же на месте просите у него прощения! Вы не имеете никакого права бросать оскорбления! Сейчас же просите! Немедленно!

*(Лассаль, поклонившись дамам, с тростью, перчаткой и шляпой в руке направляется к выходу. Герцен пытается его вернуть. Достоевский стоит молча, отвернувшись в сторону)*

- Полина. Так вот Вы какой! Знать Вас больше не желаю... (*быстро сбегает по ступенькам вслед за Лассалем, оба исчезают в толпе*).

### 8. Натали, Достоевский, Герцен

- Достоевский (*с дрожащим подбородком*). Ради Бога, ради Бога, простите, что я в Вашем присутствии...



Герцен. Полноте, Фёдор Михайлович, сядьте, успокойтесь. Вот (*наливает ему*), отпейте, отпейте глоток...

*(Достоевский садится,  
присаживаются также Натали и Герцен)*

Натали. И как мы это не предотвратили... С утра предчувствовала, что что-то случится, и именно из-за него, из-за Лассалья.

Герцен. Ну, может быть, всё ещё уладится...

Достоевский. Как уладится?! Ах, милые друзья, вы её не знаете. Совсем новое поколение, уже не ваше и не моё. Ужасно своенравное существо, пылкое, стремительное, идёт без оглядки, шагает через все препятствия... Ну как тут не сорваться.

Герцен. Но адрес её Вы знаете?

Достоевский. Да как же, в одном отеле остановились.

Герцен. Хотите, я с Вами пойду?

Натали. Конечно, поезжай.

Герцен. А если Лассаль... Всё-таки он ужасный человек.

Достоевский. Как? Что? Ах, он-то и совсем из памяти выскочил... А ведь я его, действительно, ни за что ни про что обидел. То есть...

Герцен. Ну, с ним я постараюсь как-нибудь уладить.

Достоевский. Да просить-то прощения я должен.

Герцен. Как? Вы готовы у него просить прощения? Ведь он за обиду заплатил не менее обидной угрозой.

Достоевский. Да? Что, что он сказал?

Герцен. Он как будто грозился секундантов прислать. Это ужасный человек. С него всё станется. По сути, Вы были чрезвычайно близки к истине.

Натали. И Вы примете вызов?

- Достоевский. Не знаю... Ничего не знаю. Совсем соображать не могу. Простите... ради Бога, простите. Сперва с мыслями собраться надо, в себя прийти... побыть одному.. Уж простите, ежели я теперь...
- Герцен. Само собою, Фёдор Михайлович, само собою!
- Натали. Только завтра с самого утра Вы должны быть у нас (*протягивает ему руку, держит его руку в своей*). Обещаете, Фёдор Михайлович?
- Достоевский. Душевно, душевно благодарю. Буду, непременно буду.

(Все встают)

### 9. Те же и Гарсон

- Гарсон. Кому из джентльменов угодно будет платить?
- Достоевский (*поспешно вытаскивает кошелёк*). Я! Я! За всё, за всё я расплачиваюсь!<sup>26</sup>

*Занавес*

---

<sup>26</sup> Для мировоззрения Достоевского характерна тема личной ответственности за коллектив. Ср., напр., знаменитую фразу «всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех» из рассказа о брате старца Зосимы в приложениях к «Братьям Карамазовым». К. Р.

---

### III. ДНО

*(Портерная в подвале, за стойкой Хозяйка, перед стойкой Хозяин на деревяшке с костылём, за ближайшим к стойке столом Глухонемой, в противоположном углу Матросы играют в кости; за низкими окнами мелькают ноги прохожих. Сумерки)*

#### **1. Хозяйка, Хозяин, Глухонемой, 1-ый и 2-ой Матрос**

1-ый Матрос *(с трубкой в зубах, опрокидывает кожаный стакан с костями)*. Тринадцать! *(Передаёт стакан)*.

2-ой матрос. Клянусь огнями Св. Эльма, тебе сегодня не везёт *(перетряхивает кости)*.

1-ый Матрос. Тряси, тряси, авось вытрусил.

2-ой Матрос *(опрокидывает)*. Тьфу! Тоже чёртова дюжина.

1-ый Матрос. Ага, попался!

2-ой Матрос. Оба два проиграли. Ты мне, я — тебе.

1-ый Матрос. Врёшь, Джэк. Моя легла первая.

2-ой Матрос. Ладно! Ты выиграл, я выиграл. Милэди, ещё две. Ему от меня, мне от него.

Хозяйка. Бравый моряк из всякого положения вывернется.

Глухонемой. Мм... мэ-мэ... ммммм...

Хозяйка. И Вам, мистер, заодно?

- Глухонемой. Мэ... мэ... о... о... мм.
- Хозяин. Невдомёк, что ли? Человеческим языком сказано (*ковыляет к столу матросом, забирает рюмки. Хозяйка наливает Глухонемому*).
- 2-ой Матрос (*вдогонку*). Что, хозяин, вприпрыжку веселее будет?
- Хозяин. Кому вприпрыжку, кому в раскачку! (*Хозяйке*). Для господ капитанов.
- 1-ый Матрос. Ишь, о трёх ногах, а как огрызается... Валяй, Джэк, дальше, нечего время терять.
- Хозяин (*приносит полные рюмки*). Для моряков хозяйюшке ничего не жалко, через край перегнула.
- 2-й Матрос. Наш шкипер юнгу ищет. Что бы милорду новую карьеру начать?
- Хозяин. Поздно, капитан. Греха молодости не поправишь.
- 1-ый Матрос. Какому дьяволу молишься?
- Хозяин (*указывая на свою деревяшку*). Моё место в правом приделе, у Св. Фургония.
- 2-ой Матрос. Он, что ли, ногу оттяпал?
- Хозяин. Он самый. Безвозмездно показал бы след на мостовой — благо, за углом, — да собаки на чисто слизали.
- 1-ый Матрос. Сладкая, верно, кровь была.
- Глухонемой. Ммм...
- Хозяин. Простите, господа, почтенный гость побеседовать желают (*отходит, делает на ходу знаки руками*).
- 1-ый Матрос. Валяй, Джэк!
- 2-ой Матрос. Момент, Джим. Для храбрости спервоначалу не глотнём?
- 1-ый Матрос. Мо-о-жно... (*берёт рюмку*).
- 2-ой Матрос. За отдавленную ногу мистера концессионера<sup>27</sup>! (*Пьёт*).

<sup>27</sup> Согласно английскому законодательству, розничная продажа спиртных напитков осуществлялась на основе государственной лицензии. К. Р.

1-ый Матрос. За смолу с перцем...

2-ой Матрос. Знаю, знаю... Пей... Тост потом доскажешь.

1-ый Матрос (*нёт*). Что, не любишь?

*(Дверь на скрипучем блоке отворяется, показывается большой ящик, за ним несущий его на ремне Уличный Торговец)*

## 2. Те же и Торговец

Торговец. Многоуважаемому собранию добрый вечер! Хотя на дворе ещё светло, да наш день кончился.

Хозяйка. А, мистер Саймон! Давненько мы Вас не видели... (*Хозяину*). Сбегай, дружок, за спичкой. И впрямь темень.

*(Хозяин исчезает за дверью направо, снова появляется, взбирается на табурет и зажигает газ)*

Торговец (*ставит ящик на пол, опускается у стола рядом с Глухонемым*). Имею честь, Саймон без компании, старая фирма.

Глухонемой. Ооо... а... ммм...

Торговец. Ооо-мм? Как же, как же, слышал. Приходилось, не раз приходилось. Рад познакомиться.

1-ый Матрос. Ну, Джэк... Что ж ты бездействуешь? Светло-то как, нечего время терять.

2-ой Матрос. Да погоди, Джим. Точки считать всегда поспеем, а в Лондоне, чай, не каждый год бываем.

Торговец (*в сторону матросов*). Честь имею представиться. Старая фирма. В прежнее время торговала старьём-тряпьем, ржавчиной и бумагой, а ныне с Божьей помощью идёт в ногу с веком. Исключительно новенькие вещицы: непришитые пуговки, вставочки, булабочки, нитки с иголки, иголки без ниточки...

1-ый Матрос. Зашей глотку.

- Торговец. Зачем же напрасно материал портить?.. (*Кивает на соседа*). Вот поглядите. Кому не полагается, тот и слова зря не проронит.
- Глухонемой. Мэмэ... ммм...
- Торговец. Совершенно с Вами согласен... А мне сам Бог велел языком работать и товар расхваливать.
- Хозяйка. Мистер Саймон даром что стар, всякого молодого за пояс заткнёт.
- Торговец. Не говорите. В такие жаркие дни, как сегодня, с удовольствием скинул бы десяточек-другой годков. Одним имбирём только и держишься.
- Хозяйка. Прикажете бутылочку?
- 1-ый Матрос. И нам для разнообразия парочку бурых! (*Хозяин хлопчет за стойкой*).
- Торговец. С вашего разрешения! Время нынче бойкое. Как пришёл я в Кенсингтон на угол Принца Альберта блаженной памяти, так и расторговался. Одна беда — констэбли. Не дают на месте постоять. Проходи да проходи...
- Хозяин (*подавая бутылку и стакан и направляясь к матросам*). Жалко им, что ли?
- Торговец (*наливая*). Ничего не жалко. Им-то всё равно, да конкуренция моя их подзуживает. Те, что в Хрустальном Дворце обосновались... А согласитесь, господа, несправедливо ведь (*Пьёт*).
- 1-ый Матрос. Старый человек, а такие глупости говорит. Раз дворец, значит, нашему брату не место (*пьёт и снова наливает*).

(*Хозяин присаживается  
за столик перед стойкой*)

2-ой Матрос (*со стаканом в руке*). За Ваши пуговицы!

Торговец (*наливая себе ещё*). За бухты и заливы, за моря и океаны! (К хозяевам). А что же это не видать милейшей мисс Лили?

- Хозяйка. Отпустили мы её... Туда же, на Выставку.. Пускай девчонка разок погуляет.. Работа у ней тяжёлая. Пока народ посберётся, и она поспеет.
- Торговец. Вот оно какие дела у вас! (*Пьёт*). Народ собирается. (*Пьёт*). То-то смотрю, что вы газом обзавелись... Важнецкое заведение, совсем как на Гай-Маркете.
- 2-ой Матрос. Чуешь, Джим? Весело будет! Заводите, милэди, органчик. За мой счёт..

*(Хозяйка заводит. Глухонемой вытаскивает кошелёк, Торговец поднимается)*

- Торговец. Ну, пора и мне путь продолжать... Как бы гроза в дороге не захватила.
- 1-ый Матрос. Сразу видно, сухопутный человек... Раньше завтрашнего не будет.
- 2-ой Матрос. Верьге Джиму! Он на погоде собаку съел... Как рабометр.

*(Входная дверь медленно приотворяется, блок скрипит, все поворачиваются к двери)*

Глухонемой. Мэ-мэ — Мэ-мэ.

*(По ступенькам медленно спускается Достоевский, оглядывается, кланяется и делает шаг назад)*

### 3. Те же и Достоевский

- Хозяин (*спешит к вошедшему*). Пожалуйста, сэр, пожалуйста-ста... Вот сюда, пожалуйста.
- 2-ой Матрос. А я думал, ихняя красotka.
- Глухонемой (*вставши и делая пальцами знаки*). Мм... м... м.
- Торговец. Мой почтенный сосед уступает Вам место, сэр.
- Достоевский. Зачем же, зачем...

1-ый Матрос. Сразу видать, нездешний.

Хозяйка. Сюда пожалуйста, сэр.

*(Хозяин пододвигает Достоевскому единственный стоящий за стойкой стул, вытирает фартуком второй столик у стойки. Достоевский садится, игравший всё время органчик замолкает)*

2-й Матрос. Музыку дальше!

Хозяйка. Сейчас, голубчик. Что прикажете, сэр? Виски с содой? Шартрезу? Сардины есть свежие, сыр голландский.

Торговец. Сэр уж, наверно, обедал *(снова садится, опускается на свой табурет и Глухонемой)*.

Достоевский. Нет, ещё не обедал.

Хозяйка *(Хозяину)*. Заведи, дружок, машину *(подаёт на стол всякой всячины)*.

Хозяин *(заводя органчик)*. Музыка — лучший друг желудка.

2-ой Матрос. Музыка и джин. Ещё пару беленьких!

Достоевский. Сколько вы мне тут всякого наставили.

Хозяйка. Кушайте, сэр, кушайте. Дорогим гостям всегда рады *(наливает и относит матросам две рюмки)*.

1-ый Матрос. Ишь, и нас не забыла.

Глухонемой. О-о... о-о... *(показывает на стоящие перед Достоевским тарелки)*.

Хозяин. И вы, мистер, аппетитом заразились? А заплатить — простите за нескромный вопрос? *(Делает соответствующий жест пальцами)*.

Глухонемой. А... а... о... о... *(высыпает на стол содержимое кошелька)*.

Хозяин. Это дело другое. По уму встречают, по кошельку провожают *(принимает от Хозяйки блюдо и ставит перед Глухонемым)*.

Торговец. Позвольте и мне ещё бутылочку.

2-ой Матрос *(напевает)*.



Бутылочка, бутылочка,  
Ямайский сладкий ром.  
Люблю тебя, пузатая,  
Всем чревом, всем нутром.

- Хозяин. Вы мешаете, друг мой, сэру музыку слушать.  
Достоевский (*отпивает из рюмки*). Нет, совсем нет. Напротив... пожалуйста...
- 1-ый Матрос. Э, как хвостом повиливает... Тьфу! (*Сплёвывает*).
- 2-ой Матрос. Старый греховодник, за здоровье Вашей красотки.
- Хозяин. Сама придёт, тут с ней и чокайтесь...
- 1-ый Матрос. Что же, Джэк, играть больше не будем?
- 2-ой Матрос. Как не будем? Потерпи, Джим, игра только начинается.

(В подвал вваливается подвыпившая компания:  
1-ый, 2-ой и 3-ий Приказчики).

#### 4. Те же и Приказчики

- Хозяйка. Добро пожаловать, господа негоцианты.
- 1-ый Приказчик. Старой своднице моё нижайшее.
- Хозяйка. Как вы выражаетесь! Не видите, что благородные господа обедают?
- 2-ой Приказчик (*хохочет*). С пьяных глаз не туда, видно, попали... Айда, братцы, надо ретироваться.
- Хозяйка. Да что вы, что вы! Шутки не понимаете?
- 3-ий Приказчик (*покачиваясь, мрачно*). Пусть миссис лучше скажет, где...
- 2-ой Приказчик. Да, где мисс Лили?
- 2-ой Матрос. Держись, Джим, дело будет.
- 1-ый Приказчик (*усаживается за свободный стол рядом с матросами*). Занимай места, братцы... Джину!
- 2-ой Приказчик (*садясь, напевает*).

Где вы были, Лили,  
Три последних дня?  
Неужель остыли,  
Бросили меня?

3-ий Приказчик (*садясь*). Вот именно (*напевает*)

Где вы были, Лили,  
Три последних ночи?  
Где гнездо вы свили  
На манер сорочий?

2-ой и 3-ий Приказчики (*вместе*).

Пропадает Лили  
Вот уж третьи сутки.  
— Нас не разлюбили? —  
Дудки-с, Лили, дудки!

1-ый, 2-ой и 3-ий Приказчики (*хором*).

Дудки-с, Лили, дудки!  
Знаем эти шутки! (*хохочут*).

(*Хозяин ставит на стол бутылку и рюмки*)

- Торговец. Это кто же из мистеров так складно сочинил?  
2-ой Приказчик. Все вместе. У нас для мисс Лили сердца в компании.  
Торговец. Солидный дом, кредитоспособный. (*К Достоевскому*). Не так ли, сэръ?  
Достоевский. Я не всё понял. Я в Англии ещё совсем недавно.  
Торговец. Обращаю Ваше внимание, мистеры. Сэръ из дальних стран.  
2-ой Приказчик. Да здравствует международная торговля! Ура!

(Все пьют)

- Достоевский. Я, собственно, не купец. Я...
- Хозяйка. Гость, сэр, всегда купец. У нас товар, у Вас деньги.
- Торговец. Совершенно справедливо. Не торгует только тот, кому ничего не надо... ангелы в небеси.
- 3-ий Приказчик ...Лили — ангел!
- 2-ой Приказчик ...который торгует...
- 3-ий Приказчик (*ударяет кулаком по столу*). Ещё одно слово, и я тебя...
- 1-ый Приказчик. Ну, братцы, это не годится.
- 2-ой Приказчик....душеспасительными напитками.
- 2-ой Матрос. Давай, Джим, кнастеру. Трубка по дыму соскучилась. (*1-ый Матрос передаёт кисет, 2-ой Матрос закуривает*).
- Глухонемой. О-о-мм (*делает знаки*).
- Хозяин. Понимаю... Понимаю. (*Хозяйке*). Пачку сигарет! Закутил тихий друг наш (*передает пачку*).
- Глухонемой. Мм... ууу (*показывает на лежащие перед ним монеты, делает рукою круговращательное движение*).
- Торговец. Он хочет сказать: не всё только зарабатывать, не грех и потратить. (*Подражая движениям Глухонемого*). Машина, да?
- Глухонемой (*радостно кивая*). О... О... О...
- Торговец. Ясное дело, фабричный. Ловко! Все сословия в сборе, от пролетария до... лэндлорда. Простите, сэр, Вы из какого края будете?
- Достоевский. Какой я лорд! Я не лорд. Я... из России.
- 1-ый Приказчик. Хорошая пенька в России.
- 1-ый Матрос. Как же! Не раз возили. И до войны, и после.
- Достоевский (*поворачиваясь к нему*). И вы воевали?
- 2-ой Матрос. Какое там! Мы под торговым флагом.
- Торговец. И что это люди, как что — бац, бац? Капельку глупости поменьше, всегда сталкивались бы... Вот и теперь...

- Хозяин. Что о войне вспоминать. Не станет Англия больше воевать... Не король у нас, королева.
- Хозяйка. Женщина своё всегда хитростью возьмёт. Сколько ни колоти её, она в накладе никогда не останется.
- Хозяин. Женщине обмануть, что блин испечь.
- 3-ий Приказчик. Мой хозяин говорит: «Кто покупателя обманул, тот перед Богом банкрот».
- 1-ый Матрос. Честный человек так говорить не станет. Богу дела нет до наших проделок. Он только погодой управляет, да и то не управится.
- Торговец. Нехорошо так говорить. Как придётся ко дну итти, поздно будет каяться.
- 1-ый Матрос. Кой чорт ко дну. И так на дне сидим.
- Достоевский (*вздрагивает*). Как так на дне?
- 1-ый Матрос. Ну, в преисподней, как больше нравится.
- 2-ой Приказчик. Эх разговорились! Точно в церкви. Чешите, чешите языки, а я пока сбегая в подворотню... по своей надобности (*направляется к выходу*).
- 3-ий Приказчик. И я за компанию (*выходит*).
- Торговец. Грех, грех так говорить, господин моряк... всегда может быть хуже.
- 1-ый Матрос. Конечно, может. Потому и говорю — у чорта за пазухой. Только и жди худшаго. На повышенье, слышу, и вы не надеетесь.
- Торговец. Я-то уж, пожалуй, пространствую остаток дней сам-друг с коробочкой, а вот внучке моей...
- 1-ый Матрос. Э, почтеннейший, такое и ваш дед вашей бабке на ухо шептал, а ведь соврал старик.
- Торговец. Он-то просчитался, да внучка моя, может, правду скажет.
- Достоевский. Простите, сударь, Вы какой веры будете?
- Торговец. Я? Я... О, я старой, очень старой веры.

*(Дверь с шумом открывается. 2-ой Приказчик тащит за руку Лили, за ними 3-ий Приказчик и скромно одетый молодой человек).*

**5. Те же, Лили и Молодой человек**

2-ой Приказчик. Поймал, поймал!

1-ый Приказчик. Ура, Лили!

2-ой Матрос. Высокочтимой Лили — ура!

Лили (*отбиваясь зонтиком*). Отпустите, сейчас же отпустите.  
Весь буфф помяли.

Хозяйка. Где же ты пропадала?

2-ой Приказчик. Где пропадала! Стоит себе на углу с кавалером, беседует, и хоть бы что.

3-ий Приказчик. А мы ждём-не дождёмся. (*Вместе с 1-ым Приказчиком*)

Пропадает Лили,  
Вот уж третьи сутки...

Лили. Хватит, хватит. Уши прожужжали... «Знаем эти шутки». Я, тётушка, сейчас прямо из...

Хозяйка. Ладно, ладно. Тащи инструмент. Без тебя публика тут совсем соскучилась.

*(Лили уходит через дверь за стойкой. 1-ый и 2-ой приказчики снова занимают свои места. Молодой человек стоит в нерешительности перед третьим пустующим столом у стойки)*

Хозяин. Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

Молодой человек. Спасибо, я пока ничего не хочу.

Хозяин. Пожалуйста, пожалуйста. Мы не торопим.

Глухонемой (*радостно кивает головой*). А... а... о... о... о...

Хозяин. Знакомы, что ли?

Молодой человек (*присаживаясь*). Я прежде служил на том же заводе.

Хозяйка. А теперь на другом?

Молодой человек. Нет, теперь... теперь я...

*(Лили возвращается без шляпы, нарумяненная, с гитарой)*

Лили (*садясь около Молодого человека*). Ну-с, господа, для начала разрешите совсем новенькую. (*Поёт и играет*)

Сидела Мэри за машинкой,  
Машинка, миленький дружок,  
Починку шлёт ей за починкой —  
Ещё стежок, ещё стежок!  
Проходит день, проходит ночь,  
Как рыхлый снег — кругом рубашки,  
Нет, бедной Мэри не помочь,  
Нет, не уйти ей из упряжки!  
Она туда, она сюда,  
За ней — машиночка-плясунья.  
Мелькают дни, идут года,  
И Мэри что? — Горбунья!

(*Молчание*)

- 2-ой Матрос. Bravo, bravo, мисс Лили, только очень уж грустно. Идите к нам. Мы развеселим.
- 3-ий Приказчик. Шалишь, брат. Мы уж вчера весь вечер напрасно прождали.
- 1-ый Матрос. Вчера — день сухопутный. Вчерашним ветром парус не натянешь.
- 3-ий Приказчик. Как бы сегодняшней ветер не прогнал койкого из гавани прочь.
- 1-ый Матрос. Прогнал? Эй, коммерция, говори, да не заговаривайся!
- Хозяйка. Да что вы, господа, точно петухи. Лили и за одним столиком посидит, и за другим не поскучает. Иди, Лили!
- Лили. Сейчас, тётушка, сейчас!
- 2-ий Приказчик. Сначала к нам.
- 2-ой Матрос. Не вы, мы первые пригласили.

2-ой Приказчик. Приличиям, верно, на кочегарке обучали.

1-ый Матрос. Не в мышинном гнезде, под прилавком.

Хозяйка. Иди же, Лили. Приросла, что ли? Вы, молодой человек, что прикажете?

Лили. Мистер Альфред потом...

3-ий Приказчик. Мой хозяин говорит: «Кто честь твою задел...»

2-ой Матрос (*кладёт трубку на стол, прячет руки в карманы, подходит вплотную к 3-ему Приказчику*). Умный хозяин! А кулак у него крепкий?

1-ый Матрос. Пошла — морская кавалерия.

3-ий Приказчик (*поднимаясь и пошатываясь*). Зачем ему кулаки? Кулаки у меня есть.

### 6. Те же и Дама в чёрном

Дама в чёрном (*на пороге с листками в руке*). Добрый вечер, лэди и джентльмэны! (*Выходит на середину*). Извините, что прерву на минутку вашу дружескую беседу. Для каждого из вас у меня важное послание, благая весть. Наша общая мать не забывает детей своих. Она шлёт вам через меня свой материнский привет. Пусть рассеет он, хотя бы на время, ваши повседневные заботы. Кто бы вы ни были, все вы ей одинаково дороги. Обо всех вас она одинаково печётся, всех равно любит, всех равно жалеет. (*Обходит столы и раздаёт листки*). Не оставляйте материнского привет а без внимания. Откликнитесь ему в сердцах ваших. Будьте с нею, как неразлучна она всегда с вами. Добрый вечер, лэди и джентльмэны. (*Направляется к выходу. Торговец складывает листок вчетверо и прячет в карман*).

Глухонемой. Ммм... ммммэ... э

2-ой Матрос (*возвращается на своё место, протягивает стакан с костями 1-му Матросу*). Кажись, твоя очередь, Джим. (*1-ый Матрос неподвижен*).

3-ий Приказчик (*опускаясь на табурет, вполголоса*). Струсил...

1-ый Приказчик. Брось! Не туда метишь... Ты лучше с тем молодчиком поговори.

2-ой Приказчик. Накрыли-то мы её с тем.

Хозяйка (*Молодому человеку*). Не обессудьте, сударь. У нас помещение не даровое, газ тоже деньги стоит.

Молодой человек (*растерянно*). Я... я сейчас уйду.

Лили. Если мистер Альфред уйдёт, я сегодня больше не пою.

Хозяин. Что с тобой, Лили? Не видишь, как тётушка сердится?

Достоевский (*Молодому человеку*). Может быть, Вы пересядете сюда?

Хозяин. Это дело другое. Если русский господин хочет угостить...

Молодой человек. Искренно благодарю. Нет, я...

Хозяйка. Денег нет, а ещё фасон ломает.

Лили. Тётя!

Хозяйка. Цыц!.. Молодой человек, не расстраивайте компанию. Не портите реномэ нашего заведения... Идите, откуда пришли. Когда при деньгах будете, милости просим.

*(Молодой человек поднимается, Лили берёт его за руку)*

Глухонемой (*указывая на свои монеты*). У.. у.. у.. О!

Молодой человек (*высвобождая руку*). Простите, мисс Лили...  
Я только помешал...

3-ий Приказчик. Хватит, хватит, милорд! Честью, кажется, просят!

Лили. Невежа! Грубиян!

3-ий Приказчик (*идёт Молодому человеку наперерез*). Это кто грубиян? Я? Я, кажется, без денег по кабакам не шляюсь. Мой хозяин говорит...

Лили. Альфред!



Хозяйка (*выбегает из-за стойки, преграждает Лили дорогу*).

На место, мерзавка!

3-ий Приказчик (*берёт Молодого человека за ворот*). Будешь науськивать? Будешь? (*С силой отшвыривает его к двери. Молодой человек падает, поднимается, открывает дверь*). Эй, голову забыл! (*Бросает за дверь упавшую на пол шляпу*).

Лили (*жалобно*). Альфред!..

*(Достоевский, дрожа всем телом, встаёт, смотрит широко раскрытыми глазами)*

Хозяйка. Сию же минуту бери инструмент (*суёт Лили гитару*).

3-ий Приказчик (*галантно округляет руку*). Разрешите проводить...

Лили. Прочь, негодяй!

1-ый Матрос. Здорово!

2-ой Матрос. Bravo, Лили, bravo!

*(Достоевский, глубоко опустив голову, направляется к двери)*

Хозяин. Сударь, куда это вы? Под шумок улизнуть вздумали?

*(Достоевский достаёт из жилетного кармана бумажку, передаёт Хозяину)*

Хозяйка. Если ты, потаскушка, сейчас же не сядешь играть, я тебя...

*(Лили отшвыривает гитару в угол, падает на табуретку, громко рыдает)*

Лили. Альфред! Альфред!

Хозяйка. Ах, вот ты как! *(Выхватывает у Хозяина костыль, яростно замахивается на неё).*

Достоевский *(бросается между ней и Лили)*. Как вы смеете? Как вам не стыдно!

Хозяйка *(с занесенным костылём)*. Это ещё что такое? Вам какое дело?

Достоевский. Стыдно бить ребёнка!

*(Все сгрудились вокруг него, кроме 1-го Матроса)*

Хозяйка. Реб-ёё-нка? Не ваш ребёнок! За своих заступайтесь... Попили, поели и ступайте своей дорогой.

2-ой Приказчик. Марш в Россию!

2-ой Матрос. Ну, вы там, полегче *(берёт 2-го Приказчика за плечо)*.

2-ой Приказчик. Руки прочь!

3-ий Приказчик. Здесь Вам не Россия. Нечего командовать! Англия — страна свободная.

2-ой Матрос. К чорту вас, дьяволы! *(Со всего размаха бьёт 2-го Приказчика по лицу, тот падает. Торговец наклоняется над ним, становится на колени. 2-ой Матрос отходит к своему столу)*.

Торговец. Ах, Боже мой, так и убить можно.

Достоевский *(наклоняется над рыдающей Лили)*. Успокойтесь, Бога ради, успокойтесь! *(Лили рыдает ещё громче)*.

Хозяйка. Вон! Сейчас же вон! Как смеешь...

*(Хозяин берёт Достоевского под руку и тянет его к выходу. 1-ый Приказчик подталкивает)*

3-ий Приказчик. Гони, гони его в шею!

Хозяйка *(в полном бешенстве)*. Вон!

*(Дверь за Достоевским закрывается)*

1-ый Приказчик. Пойдите, барон, пойдите (*берёт и комкает оставшуюся на столе шляпу Достоевского*). И вы голову потеряли! (*Бросает шляпу за дверь*).

Глухонемой. Мм... о... о... мммммм...

*Занавес*

---

#### IV. СВЯЩЕННОЕ БЕЗУМИЕ

*(Просторный кабинет, сквозь широкое окно видны грозовые тучи, утренний свет постепенно меркнет)*

##### **1. Герцен, Достоевский**

Герцен *(в кресле перед письменным столом, заваленным бумагами и книгами)*. Нисколько, Фёдор Михайлович, нисколько. Наоборот. Я всегда рано на ногах, а вот Вы — у Вас совсем измученный вид.

Достоевский *(в кресле наискось)*. Да я всю ночь почти глаз не смыкал. Самую маленькую минутку разве, в парке... Только, пожалуйста, Александр Иванович, не обращайтесь внимания. *(Со смешком)*. Такие уж события вышли.

Герцен. Завтракали Вы по крайней мере?

Достоевский. Успею, Александр Иванович, потом успею. Мне бы главное...

Герцен. Нет, уж извините *(дёргает за шнурок у стены)*.

Достоевский. Мне бы главное... Не знаю, с какого конца...

*(Входит Жюль)*

**2. Те же и Жюль**

Герцен. Принесите, пожалуйста, чаю.  
Жюль. Для Вас, мсье, тоже?  
Герцен. Ну да, разумеется.

*(Жюль уходит)*

**3. Герцен, Достоевский**

Герцен. Простите, Фёдор Михайлович, Вы начали с того...

Достоевский *(тяжело переводя дыхание)*. Просто язык заплетается. Хотел бы с главного начать, а может, лучше со второго, со второстепенного...

Герцен. Как Вам самому вернее кажется.

Достоевский. Так вот. На этот счёт, то есть на счёт вчерашнего происшествия, решение моё окончательное, бесповоротное.

Герцен. Вы...

Достоевский. Да, Александр Иванович, драться я с ним не буду, ни за что... Пусть думает обо мне, что хочет.

Герцен. Да ведь еще ничего не произошло. Может быть, он и сам одумался.

Достоевский. А хоть бы и не одумался. Мне всё равно. Вам, Александр Иванович, может, странным покажется.

Герцен. Совсем нет! Поскольку Вы убежденный противник поединка...

Достоевский. И вовсе я не убежденный. Кабы убежденный был, и говорить бы не о чем... Нет, в таких делах случай на случай не похож. Тут что ни случай — особое правило.

**4. Те же и Жюль**

Жюль *(входит, пододвигает столик, ставит на него поднос с чаем, берёт с блюда письмо)*. Мсье, сейчас посылный принёс *(передает Герцену)*.

Герцен. Спасибо, Жюль. И на всякий случай свечи. Экий мрак!

*(Жюль ставит на письменный стол канделябр, уходит)*

### 5. Герцен, Достоевский

Герцен. Что такое?.. Одну секундочку, Фёдор Михайлович! *(Распечатывает письмо, быстро пробегает, улыбается)*. Ну, одним словом, всё к лучшему в этом лучшем из миров! Это сообщение от Мадзини...<sup>28</sup> Впрочем, может быть, Вы сами сначала выскажетесь *(наливает чай в чашки)*.

Достоевский. Случай, говорю, на случай не похож. Был бы не он, а кто другой, хоть бы всё остальное как две капельки, другой оборот могло бы дело принять.

Герцен *(смеясь)*. Вы, значит, не признаёте дуэли именно против Лассаля? Чем же он заслужил, вернее, не заслужил?

Достоевский. Нет, заслужил! Именно заслужил. Тем, Александр Иванович, что он... Боюсь, не поймёте Вы меня. Тем, что он... Авраамова семени.

Герцен. Это оригинально! Неужели Вы разделяете предрассудок? Не достоин сатисфакции?

Достоевский. О нет! Не то, совсем не то, Александр Иванович. Даже наоборот... в известном смысле.

Герцен. Наоборот?

Достоевский. Именно наоборот! На еврея руку поднять, быть может, вдвойне грех, наитягчайший грех. Им завет дан от века... Им жить надо, жить и жить... Вы их, может, мало знаете, а мне приходилось. Везде, где ни повстречаешь, и в Си-

<sup>28</sup> Джузеппе Мадзини (1805–1872) — итальянский публицист и критик, член Общества карбонариев; в 1862 г. приезжал в Лондон с целью сбора средств и вербовки волонтеров для Гарибальди.

- бири они, и в Лондоне, везде они, знай своё твердят... Ждите, мол, верьте и надейтесь! Кажется, в пустоту глядят, ан нет, что-то видят... Не исполнились ещё времена и сроки.
- Герцен. Вот Вы с какой неожиданной стороны! — В таком случае могу сказать лишь одно: долг платежом красен. Вы отклонили бы вызов Лассалья, потому что он из евреев, а он решил не вызывать вас, потому что Вы...
- Достоевский. Русский?
- Герцен. То есть прямо это в письме не сказано, но между строк прочесть можно... Коротко говоря, Мадзини пишет мне, что вчера поздно вечером явился к нему Лассаль, посвятил во всю историю и просил уведомить меня для передачи вам...
- Достоевский. Что со мною дела не желает...
- Герцен ...что по зрелом обсуждении сам винит себя во всём происшедшем. Считаюсь с особенностями характера...
- Достоевский. Так ведь это он не на Россию намекает, а...
- Герцен. По-моему...
- Достоевский. Да нет же, Александр Иванович. Это он на припадки мои, на «священную» мою болезнь намекает.
- Герцен. Священную болезнь?
- Достоевский. Да на падучую!.. Юродивый, мол, невменяемый. Ему, дескать, нельзя каждое лыко в строку.. Подлинно, «благородная личность»... А о ней, о ней, Александр Иванович, о ней ничего нет?
- Герцен. О... Вашей спутнице?
- Достоевский. Бывшей, бывшей... Теперь дороги-то уж разошлись.
- Герцен. Нет, Фёдор Михайлович, о м-ль Полине ни полслова.

- Достоевский. Так и думал. Запретила...
- Герцен. Запретила?! Ну, Фёдор Михайлович, Лассаль, да и Мадзини, не такие люди, чтобы...
- Достоевский. Не знаете Вы её, Александр Иванович, не знаете. Не человек это, вихрь, это ураган. Опрокинет. С ног собьёт. Столетний дуб с корнем вырвет.
- Герцен. Мне думается, вероятнее предположить... (*лёгкий стук в дверь*). Entrez!<sup>29</sup>

(*Входит Натали*).

### 6. Те же и Натали

- Натали (*протягивает руку*). Здравствуйте, Фёдор Михайлович, отлично сделали, что приехали. Не буду, не буду мешать. Мне только с Александром Ивановичем посоветоваться надо по одному... хозяйственному делу.
- Достоевский (*с трудом приподымаясь, пожимая руку*). Доброе утро, Наталья Алексеевна (*снова опускается в кресло*).
- Герцен. Представь себе, Натали, всё идёт лучше, чем мы ожидали.
- Натали. Да? (*Пристально глядя на Достоевского*). Пожалуй, лучше, чем сам Фёдор Михайлович полагает. (*Достоевский удивлённо вскидывает на неё глаза*). Простите же, Фёдор Михайлович, Александр сию минуту вернётся. (*Выходит, за ней Герцен*).

### 7. Достоевский

(*Достоевский провожает их взглядом, в оцепенении смотрит на дверь вдруг обхватывает колени руками и низко, низко опускает голову. Окно освещается далекой зарницей*)

<sup>29</sup> Войдите! (*фр.*) К. Р.



**8. Достоевский, Герцен**

Герцен (*входя, весело*). Ну, Фёдор Михайлович, действительно всё как нельзя лучше.

Достоевский (*быстро выпрямляясь, тихо, почти про себя*) Лучшее...

Герцен. Что бы Вы сказали, если б я...

Достоевский. Мне бы, Александр Иванович, если можно, ещё два слова с Вами с глазу на глаз.

Герцен. Что за вопрос! Разумеется. Я сам с величайшим нетерпением...

Достоевский. О главном, о главном-то ведь я ещё ни слова не сказал... О своём-то личном деле.

Герцен. Вы, право, оригинал!

Достоевский. Уж дозволейте мне со всею откровенностью. Что в прятки играть! Ехал-то я сюда не для одной Выставки, т.е. конечно, и для неё, однако же не ради её одной, не только, чтобы... понюхать, понюхать и уйти...

Герцен. Вот это меня радует!

Достоевский. И Вам ведь известно — как скажешь русскому человеку: Лондон, так в ушах и отзвякнет: Герцен.

Герцен. Ну — это вы...

Достоевский. Право же, так, Александр Иванович. Прислушиваемся мы, очень прислушиваемся, писатели же в особенности. Ну и я в том числе. Сколько это перебрано, сколько передумано, куда я сидел с замком на рту. Теперь-то, слава Богу, уста распечатаны, а что говорить? Какие слова произнести? Звать, звать-то к чему? Неужели только и осталось, что Европа?

Герцен. На мой взгляд, Фёдор Михайлович...

Достоевский. Не пропустил, не пропустил вчерашние слова ваши. И не ожидал другого. Так-то оно и выходит: не нам Европа, а ей одна только Россия осталась, коли воскреснуть хочет.

Герцен. Тут мы с вами, пожалуй, разойдёмся. На мой взгляд... (*Лёгкий стук в дверь*). Да, прошу.

(*Входит Натали*)

### 9. Те же и Натали

Натали (*в дверях, на пол ложится полоса света*). Ты, Александр, уже?..

(*Герцен качает головой. В дверях показывается Полина. Герцен встаёт*)

### 10. Те же и Полина

Полина (*проходит мимо Натали и направляется решительно к Достоевскому*). Доброе утро, Фёдор Михайлович. Куда же это Вы запропалились? Целую ночь в тревоге провела. Нечего сказать, и отличный же вид у Вас. (*Достоевский сидя протягивает ей руку*). Хорошо, что надоумило меня чуть свет сюда ехать. Ну, мы с Вами ещё объяснимся. Писатель, писатель, а ума, что у несмышлёного дитяти. Скоро Вы?

Достоевский (*слабо улыбаясь, Герцену*). Каковы европейцы-то, а?  
Герцен. У тебя, Натали, я вижу, свет. Пожалуй, и нам зажечь. (*Зажигает свечу на столе. В окне яркая зарница*).

Натали. Вы, господа, может, хотели...

Полина. Мы не помешаем. Какие у них секреты. Идёмте сюда, Наталья Алексеевна, на диван. Совсем тихо будем. (*Опускается на диван. Натали садится с ней рядом*).

Герцен (*снова усаживаясь*). Разговор у нас большой. Успеем и после. Лиха беда начало.

Достоевский. Зачем же, зачем? Какие у меня, в самом деле, секреты от... Натальи Алексеевны? Да того и гляди, гроза разыграется.

- Герцен. Что до меня, я с величайшей готовностью.
- Полина. О чём это вы разговаривали? Надеюсь, не о нахале вчерашнем?
- Герцен (*громко смеётся*). Это великолепно! Нет, нет! Вопрос, который у нас возник, это вечно всех нас занимающий вопрос...
- Полина. Ага, Запад! Мы и Запад.
- Достоевский. Я что говорю, Россия, говорю, — вихрь, Россия — ураган, такая сила, которая на пути своём весь мир опрокинуть может. Много, слишком много дано ей. А кому много дано, с того много и спросится. Вы, Александр Иванович, намекнули вчера на эту новую европейскую веру, на коммунизм их, что ли...
- Герцен. Не на коммунизм, а на движение работников.
- Достоевский. Ну да, на работников. Как это говорится? «Что такое третье сословие? Ничто. А чем оно станет? Всем».
- Герцен. Не третье, Фёдор Михайлович. Четвёртое.
- Достоевский. Третье, четвертое... Не в том, не в числе дело. Если четвертое на место третьего сядет — *ôte toi, que je m'y mette*<sup>30</sup> — шире только, прочнее оно усядется, что никому не скovyрнуть, а будет ли толк, будет ли оно хозяином человеческой судьбы своей? Заговорит ли, наконец, человек языком-то человеческим? Сытый волк всё по-звериному, всё по-волчьи воет. Теперь-то оно как? До поры, до времени пролетарий ихний ещё одними нечленораздельными звуками объясняется, точно в пелёнках он... Видел я на другой-то выставке... (*Со смешком, тихо*). Выставили там кой-кого, выставили...
- Полина. Какая такая другая?

<sup>30</sup> «Уходи, чтобы я мог занять твоё место» (*фр.*) — франц. поговорка (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. М., 2001) К. Р.

- Достоевский. Видел, как же. На самое дно нырнул. Есть сердце у него, есть. Слов ещё пока никаких нет, а сердце, сердце есть. Ну, в сердце этом, правда, всякое копошится. Жадности много, подражательности, зависти... Откуда тут просветлению прийти? Как в клетках железных, как в аду люди живут. Серой пахнет, серой и псиной... Моё, мол, моё, не касайся, не тронь, укушу... Однако же...
- Герцен. Но позвольте, Фёдор Михайлович. Вы говорите о мещанах.
- Достоевский. Что пеньку возят, мещане? Что колесо вертят, мещане? Народ как народ. Уж посмотрелся я на своём веку на людей всякого звания. Люди везде люди.
- Герцен. Не могу не прервать Вас, Фёдор Михайлович. Тут какое-то огромное недоразумение. Либо я Вас не понимаю, либо наше расхождение гораздо глубже, чем я полагаю. На мой взгляд, Европа наших дней — это снова Рим, солнце которого на закате. Как восемнадцать веков назад, снова надвигается великое варварство, только ещё более страшное, более опасное. Потому что идёт оно не извне, а изнутри. Спокойное поглощение в стаде, в улье — вот угроза, нависшая над всем. Если народ и в Англии будет побит, как в Германии и Франции, европейский Китай неминуем. Бессмысленные перемены, пустое беспокойство — это тот же азиатский косный покой. Уже сейчас личности в Европе не выступают, оттого что нет достаточного повода. За что или против чего им выступать? (*Встаёт*). Социальный переворот — единственная надежда. Против варварства внутреннего одно средство — варварство внешнее — народ.

Достоевский. Народ, говорите.

Герцен. Да, народ! Он это чувствует. Прежней веры в справедливость или, по крайней мере, в законность того, что делается, нет. Есть страх перед силой и неумение возвести частную боль в общее правило, но слепого доверия уже нет. Надо только от личностей-дифференциалов взять исторический интеграл.

Достоевский. По высшей математике, может, и так. Да как быть тому, кто не уживётся на логарифмах, на этой таблице умножения, кто сейчас дела жаждет?

Герцен. Не понимаю, Фёдор Михайлович.

Достоевский. Вот Вы давеча перебили меня. А я что высказать хотел? Коли, говорю, придут эти варвары новейшие, придут и воссядут, и сами устроятся на старых насиженных местах — не будет, что ли, муравейника? «Рим», — говорите Вы. Не устоял он, что ли, Рим? Правда, христианским стал, да христианство...

Герцен. Стало языческим?

Достоевский. Именно — объязычилось. Как бы и работники Ваши не обуржуазились.

Герцен. Тому порукой — Россия! Очень мы оба спешим высказаться. Я Вас перебил, а Вы меня. Внешние варвары не одни работники, за ними — необъятная, могучая российская стихия. Мы, русские, всё ещё довольствуемся пока одними сенями, потому что история наша ещё только стучится в ворота. Но ворота распахнутся. Народ русский, широко раскинувшийся между Европой и Азией, — какой-то пасынок в семье народов европейских — он один не принимал почти никакого участия в длинной семейной хронике Запада. Теперь слово за ним. Зачем ему наряжаться в блузу, когда есть рубашка с косым воротом.

Достоевский (*порывисто поднявшись*). Здесь Ваша ошибка! Тут Вы сами себе ножку подставляете. Слишком долго Вы на том берегу не были. Быстрее текут теперь наши реки, быстрее, чем Вы думаете. (*Шагает взад и вперёд, размахивая руками*). Своя, говорите, рубашка ближе к телу. То-то и есть, что это ещё под сомнением, под бо-о-льшим сомнением. Очень мы до новенького лакомы, до невиданного, до диковинок. А есть, есть, что им показать на выставках своих, товар лицом показать они умеют. И дворцы у них, и машины, да и могилы, дорогие для сердца русского могилы... Пуще же всего, всего наиглавнее — наука...

Герцен. Наука, положим...

Достоевский. Конечно, конечно, наука науке рознь. У них-то она, может, больше на словах, голая словесность, а наши выученики сразу выводы пойдут делать. По-ихнему там человек от обезьяны произошёл, записал себе в родословную — и баста, а у нас отсюда сразу выведут — все люди братья, и с обезьяной же в образе человеческом брататься пойдут. У них там скажут, положим, социализм воссияет над землёй, как... комета, а у нас, того и гляди, комету за хвост тянуть станут. Тут — чуть-чуть, самую малость в сторону — всё под гору покатится...

Герцен. Потому-то я и думаю, что все мы, мыслящие, должны сообща...

Достоевский. Мыслящие! Какой же я, скажите на милость, мыслящий?.. Это Вы мыслитель, оратор, философ... Я одно лишь знаю — приглядываться, прислушиваться, подсматривать. Сходится ли там счёт с арифметикой — не моё это дело. Как могу я тут по Европам загранич-

ным толковать о вере моей в Россию, когда... когда я веру-то мою, может быть, за эти сутки... утратил.

Герцен. Но ведь Вы сами...

Достоевский. Понятно! Разумеется! Не могу я без этой веры жить, ни минуты жить не могу.. Каждый миг я должен снова и снова убеждаться, что жив Господь на земле русской, что сыны мы Его первородные, что, что бы ни случилось, не пропадем мы... Но не как дурак же я верую... Мне видеть, слышать, мне осязать надо. С народом жить надо. Со своим народом, чтоб учил меня, наставлял, вере моей не дал бы ослабнуть.

Герцен. Значит, Вы всё-таки верите в него.

Достоевский. Я... я хочу, я буду верить. Я боюсь, боюсь не верить... А как тут удержаться, коли поджилки трясутся, когда земля из-под ног уходит, когда видишь, ясно видишь, что и нам дороги этой... этой дороги железной, прямолинейности этой уже никак, никак не избежать... Толпами, несметными толпами, вижу, текут мужички наши в город, заливают мостовые, панели, дворы... Толкаются, жмутся, ругаются... Тесно, проходу нет, скучились, брови насуплены, в глазах огонёк, ох, недобрый огонёк в глазах... (*Вдали глухой гром*). И гул, гул... точно весь народ онемел, оглох... Братцы родимые! (*Порывисто простирает руки, задевает свечу, свеча падает и гаснет*).

Натали. Фёдор Михайлович!..

Герцен. Постой, постой, Натали...

Достоевский. Братцы родимые! Ну, чего вы, чего? Чего стали, чего столпились? Что наболело? Скажитесь, откликнитесь, родимые! — Молчат, молчат. Сами не знают. Только гул рас-

тёт, нарастает. Мммм... мммм... Всё сильнее и сильнее... Языки вспыхивают, красные, огненные... И тихо, тихо. Как вдруг тихо стало!.. Все, все в одну сторонку поворачиваются. Точно магнит потянул. Не шелохнутся. Слушают... Вот он, вот он... Ух, как высоко над народом взобрался! Руки в карманах... глаза ниточкой... усмешка ехидная... «Наука говорит... Марк говорит... я вам говорю... грабь, говорю, грабь награбленное... Бери, жги, руби... Новое, всё новое строить будем... Хрустальные дворец строить будем... Жги, тащи, не жалей, бей, бей...» (С душераздирающим криком). Бе-ей, бе-ей... (Молния и потрясающий удар грома. Достоевский бьётся в конвульсиях на полу).

*(Занавес, слышны удары грома. Когда занавес снова подымается, Достоевский полулежит в кресле с растёгнутым воротом, голова обвязана платком. За креслом Герцен и Натали, перед ним Полина со стаканом в руке. Окно широко раскрыто. Дождь, пронизанный солнечным светом)*

- Полина. Легче? Легче, Фёдор Михайлович?
- Достоевский (с трудом). Спасибо, милая, полегчало... теперь полегчало... (Обводит комнату глазами). А народ, куда народ девался?
- Герцен (наклонившись над ним, ласково). Народ, Фёдор Михайлович, в России, там остался. Вы вернётесь к нему.
- Достоевский (закрывая глаза). Нельзя... нельзя его оставлять. До конца итти с ним надо. Через всё...
- Герцен. И пойдёте, и пойдёте. Его с Вами никто... никакой Маркс не разлучит.
- Достоевский (с закрытыми глазами поворачивает голову к окну, блаженно улыбаясь). Хорошо... Ветер...



Натали. С моря дует. Восточный.  
Достоевский (*почти шопотом*). Восточный... ветер с Восто-  
ка...

### **11. Те же и мисс Сарра**

Сарра (*в дверях*). Кэб у крыльца.

*Конец*

III

ДОСТОЕВСКИЙ  
(1966)

*Перевод с английского Екатерины Рашкиной*

---

## ГЛАВА I. МУЧЕНИК

*В несчастии яснеет истина  
(Достоевский, Письма I, стр. 142)*

Достоевский не был, конечно, святым, но во всей истории европейской мысли и литературы прошлого века нет никого, кто с большим правом мог бы быть причислен к сонму страдальцев, увенчанных ореолом мученичества.

Уже при самом беглом знакомстве с биографией Достоевского поражает тёмный провал, трагически зияющий в самой середине его шестидесятилетней жизни и раскалывающий её на две почти равные части. Первая круто обрывается в 1849 году, когда 28-летний, уже успевший прославиться писатель был осуждён на смертную казнь, затем заменённую четырьмя годами каторги и поселением в Сибири; вторая начинается с 1854-го года и охватывает последние 27 лет его жизни, когда он постепенно заново срастается со своим отсечённым прошлым и становится тем Достоевским, каким его знает мир.

В такой биографической схеме мученичество Достоевского выступает, однако, лишь как обособленный, хронологически точно очерченный эпизод. Впечатление это обманчиво. Мученичество Достоевского не началось привлечением его к суду за антиправительственную деятельность и не закончилось примирением его с правительством либерального императора, Александра II-го, преемника жестокого Николая I-го. Внимательное изучение всего материала, имеющего отношение к происхождению, внешним условиям жизни и в особенности к внутреннему развитию исключительно своеобразной личности Фёдора Михайловича Достоевского не может не привести к заключению, что он был как бы предопределён всю свою жизнь страдать и мучиться — в остроге ли или на воле. И столь же несомненно, что, будь удел его иной, он не оставил бы нам того единственного в своём роде наследия, которым мы обязаны ему как художнику и мыслителю.

Место и время появления Достоевского как нельзя более соответствовали его предназначению поднять искусство и мысль XIX века на ступень страдальческого подвига. Если бы николаевская Россия не была историческим фактом, её надо было бы выдумать, чтобы создать подходящую обстановку для всестороннего проявления творческого гения Достоевского. Где иначе могло бы разгореться таким неугасимым пламенем страстное сострадание Достоевского, если не в стране узаконенного мученичества, которую, по словам его современника, поэта Тютчева, сам Царь Небесный всю «исходил в рабском виде». В какую иную эпоху животворящее воображение Достоевского-художника могло бы быть так безусловно подчинено мучительной работе мысли, как не в тот период истории Российской Империи, когда русская литература в лице Пушкина уже осознала как свою основную задачу «восславления свободы» и вся устремилась к выработке новых начал всенародной жизни.

Год и место рождения Достоевского: Москва, 1821-ый год, как и год и место его кончины: Петербург, 1881-ый год, —

обозначают хронологические и географические полюсы, позволяющие включить всю сферу его индивидуальной жизни целиком в объемлющую её знаменательную эпоху русской истории — от кануна восстания декабристов до убийства Александра II-го. Это было время, когда подземный гул, хотя и глухой, но внятный людям чуткого слуха, то и дело разряжался в катастрофических взрывах и извержениях и когда обе столицы России — Петербург со своим «окном в Европу» и погружённая в самосозерцание Москва — стали открыто соперничать за власть над умами и сердцами народа. Нет ни одного крупного события этого периода русской истории, ни одного из тогдашних умственных течений, которое не отозвалось бы гулко в сердце Достоевского, заставляя его всё снова и снова пересматривать и переоценивать близкие его духу ценности. Если вся Россия расстилалась как бы у подножия пробуждающегося вулкана, то жизненный путь Достоевского проходил около самого его кратера. В вечном смятении, в вечной мучительной тревоге он сознательно отверг все соблазны безмятежной жизни на ровной земле со всеми и как все, и уже очень рано избрал отъединённость.

Биографы Достоевского стараются часто найти ключ к его «сложному характеру» в плоскости общепринятых психологических или психопатологических категорий. Они пользуются при этом свидетельством его современников и собственными его признаниями, но почти всегда оставляют без должного внимания самый важный источник для проникновения в сущность его личности — ту ни с чем не сравнимую исповедь его страстно-чувствительного сердца, которая называется «Полным собранием» его сочинений. Что бы ни учил в них о человеке автор — независимо от его прямых ссылок на собственный опыт — все его писания, хотел ли он того или не хотел, являются одной нескончаемой повестью о самом себе, о неизбежно мучившей его жажде познать самого себя, своё истинное призвание и смысл собственного дела. Обстоятельнее

об этом будет речь в главах о Достоевском-художнике и Достоевском-мыслителе. Но, думается, что и к Достоевскому как к человеку невозможно подойти ближе, не предвосхитив, хотя бы отчасти, результатов изучения его творчества.

Неутолимая жажда самопознания несомненно отличала также немецкого современника Достоевского и в известном смысле его собрата по судьбе, Фридриха Ницше; но, в отличие от Достоевского, скорбный немецкий отшельник рано поддался иллюзии, что «познать самого себя», по завету Сократа, не только должно, но и вполне возможно. Так он с роковой необходимостью погрузился, в конце концов, в непроницаемый мрак безудержного самообожения; Достоевский же, ещё в юные годы, не полных 18 лет от роду, успел открыть, что человек сам для себя неразрешимая загадка. Вот что он пишет в письме к своему старшему брату и другу Михаилу 16-го августа 1839 г. вскоре после смерти их отца: «Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Всё в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну...» И дальше: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и, ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». На самом пороге самостоятельной жизни Достоевский уже ощутил то, что под конец её нашло выражение в его слове о Пушкине: он как бы предчувствовал, что, как Пушкину, так и ему суждено будет унести свою «глубокую тайну» с собой в могилу.

В странствиях Достоевского по лабиринтам собственной души его Вергилием неизменно оставался Пушкин. Непрестанно оглядываясь на его тень, Достоевский стремился постичь его в гармоническом единстве всех его проявлений или как «целостный организм». С таким идеальным воплощением человеческой личности перед умственным взором он воспринимал самого себя как прямую противоположность завершённому, прекрасному образу человека. Самому себе он представлялся лишь как бесформен-

ный материал, из которого он должен был сам себя вылепить. Таким образом, задача самопознания, разгадка собственного существа для Достоевского совпадала с задачей самосоздания, самовоплощения. И хотя такая задача никем не может быть разрешена окончательно, позволительно тем не менее спросить, в какой мере Достоевский приблизился к её разрешению, до какой степени ему удалось овладеть своим первозданным хаосом. Потомству легче ответить на этот вопрос, чем ему самому и его современникам. К ним в данном случае следует причислять и Толстого, который то смотрел на Достоевского как на свою нравственную «опору», то склонялся к взгляду, что его «ум и сердце пропали ни за что». Мы знаем о Достоевском больше, чем он знал о себе сам, хотя бы потому, что располагаем таким чисто произвольным и им самим недооценённым результатом его стремления к самопознанию и самовоплощению, как творения его, канонизированные в истории всемирной литературы.

История литературы XIX века изобилует биографиями людей, которые уже в ранней молодости стали проблемой для самих себя. Но обыкновенно проблематичность эта теряет свою остроту, лишь только загадочная для себя самая личность нащупает, как говорится, свой жизненный путь. Извне глядя, казалось бы, что и Достоевский, довольно рано открывший своё писательское призвание и почти сразу встретивший признание на избранном им поприще, должен был бы без колебания отождествить себя со своей деятельностью. Но это не случилось. Простое предложение: «Я, Фёдор Достоевский, прежде всего русский писатель», — никогда не стало для него самоочевидной истиной. Почти пятидесяти лет от роду, уже после создания «Преступления и наказания», он всё ещё сомневался не только в значительности своих произведений, но даже в том, вправе ли он занимать место в русской литературе (см., напр., письмо от 14-го июля 1870 г. к племяннице С. А. Ивано-



вой)<sup>1</sup>. Иначе говоря, «тайна» его юности никак не находила разгадки.

Правда, Толстой в таком же приблизительно возрасте тоже усомнился в правильности избранного им пути и кончил тем, что осудил без малейшего сомнения — как уже до него Гоголь — свои самые выдающиеся художественные произведения. Но с Толстым (как с Гоголем) это случилось лишь после глубочайшего внутреннего переворота, после знаменитого его «обращения», побудившего его резко изменить основное направление своего жизненного пути. Достоевский же никакой внутренней революции не пережил. Во всей истории его внутреннего развития невозможно открыть какого бы то ни было надлома, не говоря уже о переломе. Жизнь его протекает в непрерывном трепете и волнении, в страстном напряжении и внутренней борьбе, от вихря к вихрю, от водоворота к водовороту, но всё в том же, как бы предначертанном русле. Сопоставление Достоевского с Толстым, его близким соседом в пространстве и во времени, и даже в сфере духа, с которым он, однако, никогда не встретился лицом к лицу, может лучше всего осветить своеобразие индивидуальной судьбы каждого из них: Толстому суждено было уже при жизни стать свидетелем осуществления всех его личных стремлений, между тем как Достоевский у самого края могилы всё ещё терзался вопросом, для чего он явился в мир и что удалось ему сделать. «Реалист» Толстой так прямо и начал с автобиографии, с точного отчёта о своём «Детстве»; летопись жизни Достоевского вся испещрена вопросительными знаками, которые он сам расставлял на полях её и которые он так и не успел расшифро-

---

<sup>1</sup> «Я уже двадцать пять лет литератором и никогда еще не видал, чтоб сам автор шел предлагать книгопродавцам 2-е издание (...) Очень боюсь, что просто не захотят печатать роман мой. Я настоятельно объявлю, что вычеркивать и переправлять не могу. Начал я этот роман, соблазнил он меня, а теперь я раскаялся». *Достоевский*. ПСС. Т. 29. Кн. I. С. 130.

вать — в полном согласии с романтическим открытием его юности, что человеческая индивидуальность сама для себя мистерия.

В противоположность раннему периоду в жизни Толстого, детство, отрочество и юность Достоевского выступают перед нами в туманных расплывчатых очертаниях. Был ли он, осуждённый на пожизненное мученичество, счастлив хотя бы в первые свои годы в родительском доме? Биографы отвечают на этот вопрос отрицательно. В тесной и перенаселённой квартире при Московской больнице для бедных, в которой отец Достоевского служил врачом, царил суровый режим. Мать маленького Феди, кроткая и наивно верующая, старалась смягчить крутой нрав мужа. Но он, сын священника и мелкопоместный дворянин, постоянно раздражался против зажиточной родни жены из купеческого сословия. Он не только считал себя бедным, но и ощущал себя непрерывно бедным родственником, и иногда вымещал свою злобу на крепостных в своём маленьком имении. При анализе характера Достоевского часто подчёркивается его «двойственность», то, что, наряду с высоким благородством и исключительной добротой, в нём уживалась мелочность, грубая расчётливость и даже жестокость. Противоречие это пытаются свести к контрасту характеров отца и матери. Этим же разладом пытаются объяснить проявившуюся уже в раннем детстве душевную неуравновешенность Достоевского, из которой постепенно развилась душевная болезнь. Если верно, что проклятие, нависшее над человеческим существованием вообще, может быть сведено к «бедности» в плане социальном и к «болезни» в плане органическом, то это двойное проклятие, преследовавшее Достоевского почти всю жизнь, настигло его как будто уже в отроческие годы, ещё перед тем, как он распростился с родительским домом и с Москвой. Разительным подтверждением этого предположения является на первый взгляд органическое отвращение Достоевского к своему родному городу. На этом сто-

ит остановиться, тем более, что литература о Достоевском оставила его совсем без внимания.

«Москва..., — восклицает Пушкин в «Евгении Онегине», — как много в этом звуке для сердца русского слылось, как много в нём отозвалось!». Но в несомненно «русском сердце» москвича Достоевского имя это не откликлось дружелюбным эхо. С тех пор как отец взял его на 16-ом году его жизни из московского пансиона, чтобы определить в Инженерное училище в Петербурге, Достоевский никогда больше не возвращался в «первопрестольную столицу» на жительство. Он её явно избегал. При наездах туда старался поскорее уехать, и хотя, мечтая о возвращении в Россию после почти четырёхлетнего пребывания за границей, он в письме к любимой московской племяннице и намекал на возможность поселиться по соседству с ней, но только потому, что и Москва всё же предпочтительнее заграницы (письмо к С. А. Ивановой от 26-го декабря 1869 г.)<sup>2</sup>. Более того, он и в произведениях своих последовательно исключал город, в котором прошли его детство и отрочество, как место действия. Ему не хотелось переноситься туда даже в воображении. Очень показателен в этом отношении зияющий пробел в начале второй части «Идиота»: князь Мышкин уезжает на целых шесть месяцев из Петербурга в Москву. «Но о приключениях князя в Москве и вообще о продолжении его отлучки из Петербурга, — подчёркивает рассказчик, — мы можем сообщить довольно мало сведений». И в ряде других произведений Москва маячит на самом краю горизонта, но читателю не дано в ней очутиться. Над ней явно тяготеет запрет. Это тем примечательнее, что в мировоззрении своём Достоевский был в значительной

---

<sup>2</sup> «Вспоминаю я и думаю о России каждый день до опьянения, хочется воротиться поскорей во что бы то ни стало, а вспоминая о России, я невольно вспоминаю всех вас, весь Верочкин дом, и Вас в особенности». Т.29. Кн. I. С.88. В письме не заметно такого отторжения от Москвы, о котором пишет автор.

мере последователь московского славянофильства и убеждённый противник петербургского западничества и «петербургского периода» русской литературы в целом. А между тем благодаря Достоевскому Петербург стал столь же нагляден для европейского восприятия, как Москва благодаря Толстому. Даже московский климат, несравненно более благоприятный для больных лёгких Достоевского, нежели гнилой климат Петербурга («Петербург — ад для меня», — писал он брату уже в 1846 г.), не мог смягчить его сердца. Такое странное предпочтение Достоевского трудно объяснить иначе, кроме как его сознательным или бессознательным желанием предать забвению значительный этап своего собственного раннего развития.

Его детские годы, детские болезни и первые впечатления от окружающей нужды тут, однако, ни при чём. Те годы, когда мать водила его в церковь, когда она обучала его грамоте по книге «Сто четыре священных истории Ветхого и Нового Завета», упоминаемой в «Братьях Карамазовых» (Книга VI, гл. II, б), когда вокруг него толпились братья и сёстры мал мала меньше, все спаянные нежной любовью — эти годы остались для него навсегда «драгоценными воспоминаниями». «Ибо, — повествует Достоевский устами старца Зосимы, — нет драгоценных воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь и союз». В этот период «первого детства» Москва была для Достоевского ярким праздничным фоном серого родительского дома. «Я происходил из семейства русского и благочестивого, — вспоминает он в 1873 г. — Каждый раз посещение Кремля и Соборов Московских было для меня чем-то торжественным». И он тут же подчёркивает: «С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей» (Ср. «Одна из современных фальшей» в Дневнике писателя за 1873 г). В виду этих и тому подобных свидетельств Достоевского (напр., в письмах к братьям Михаилу и Андрею) невозможно согласиться с тем, что ключ к невероятной

сложности его душевной структуры следует искать в каком-то изначальном семейном конфликте, а не в собственном неповторимом его существовании. Возможно, эта структура объясняет себя, ведь она раскрывается в спонтанных реакциях юного Достоевского на определённые аспекты его внутреннего роста.

Что же такое случилось с ним в Москве? Чем она провинилась перед ним? Думается, что на этот вопрос лучше всего ответить в стиле и духе самого Достоевского. В Москве кончился его «золотой век»; в Москве он был изгнан из своего детского рая; там произошло то «грехопадение», которое он так точно описал около полувека спустя в «Сне смешного человека»: «Причиной [sic!] грехопадения был я... я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю... Научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. (...) Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность» («Дневник писателя», 1877, IV, глава II-ая, V). Так, оглядываясь на своё собственное далёкое безгрешное прошлое, поведал Достоевский о том, во что обратился для него мир, когда в сознании его родилось «я» и началась его нескончаемая мучительная борьба за собственную личность, за самопознание и самовоплощение.

Навряд ли мог Достоевский при критическом переходе от детства к отрочеству сразу разобраться в многосложности того, что он воспринимал как своё «падение». Несомненно лишь, что этот переход стал для него событием, определившим дальнейшее его развитие. Литературная критика уделяет много внимания месту, которое занимают в творчестве Достоевского дети, их невинность, их «ангельский лик» и, в особенности, их страдания, иногда приписывая в связи с этим автору некое «извращение». Редко приходит кому-либо на ум, что говоря о детях, чужих или своих, и создавая детские образы, Достоевский неизменно возвращался к своему собственному «потерянному раю».

Очутившись за его воротами, он стал различать в самом себе добро и зло и стал винить себя за то, что случилось с ним, и, не имея ещё слов для описания своего состояния, стал таиться от других, отъединяться и уже в годы отрочества замкнулся в самом себе. Так он поневоле «научился лгать» и совсем скоро «познал красоту лжи».

Чтобы вполне оценить автобиографическое значение «Сна смешного человека», надо вспомнить, что «смешным» Достоевский осознал себя уже в самый первоначальный период своего литературного творчества, в период «Бедных людей» и «Белых ночей». А что касается «красоты лжи», то её он познал в самом раннем отрочестве, ещё до того, как в нём «родилось сладострастие». В то время как мать Достоевского вводила детей в Священное Писание, отец читал им вслух «Русскую историю» Карамзина и беллетристические произведения разных других русских и иностранных авторов. Особое впечатление производили на незрелое воображение детей фантастические романы Анны Радклиф, разумеется, в русских переводах (ср., напр., письмо от 30-го июля 1861 г. к Я. Р. Полонскому). Наряду с миром реальным перед живым воображением Феде раскрывался мир «красивых» выдумок, обворожительной «лжи», и оба мира столкнулись.

Чем глубже юный Федя погружался в себя и чем острее он стал сознавать свою греховность, тем виднее становилось ему со стороны и зло, царящее в мире внешнем. Как далека была православная Москва от заветов Христа! Как плохо мирилось с ними жестокое обращение с крепостными, хотя бы в их собственном именье. И вот тут-то в юноше зарождается впервые мысль, что единственный выход для него — бегство: бегство из мира действительного в мир фантазий, в мир литературы. Чтобы справиться с дурными наклонностями в себе и с пыткой совести перед лицом беспомощных жертв властвовавшей кругом жестокости, юный Достоевский окружает ореолом святости идеал красоты — не призрачной и обманчивой, а истинной, той, ко-

торая могла бы стать «великой силой» и «спасти мир». Этот символ веры «идиота», князя Мышкина, зародился впервые в сердце подростка, когда он внутренне восстал против нравственного безобразия реальной жизни вокруг него. И когда в начале 1837 г. Пушкин, живое воплощение идеальной красоты в душе Достоевского, был убит на дуэли и почти одновременно иссякла жизнь его матери<sup>3</sup>, породнившей его с образом Христа и христианских страстотерпцев, это совпадение приобрело для юноши символическое значение. Литературная правда, поэзия Пушкина, слилась в его душе с богооткровенной религией страдания. Всего два-три года спустя он стал ставить Шекспира рядом с Моисеем, а Гомера рядом с Христом: «Гомер (баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный богом и к нам посланный), — пишет он брату, — может быть параллелью только Христу... Ведь [...] Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной, и земной жизни совершенно в такой же силе, как Христос новому» (письма к Михаилу от 16-го августа 1839 г. и от 1-го января 1840 г.). Если правильно предположение, что Достоевский поверил в спасительную «организующую» силу литературы ещё до того, как он расстался с Москвой, то вполне естественно, что он уже тогда стал видеть в мире воображаемого не только убежище от своего внутреннего разлада, но и поле приложения для собственных сил. В это время он и его брат Михаил — вспоминал около сорока лет спустя — «мечтали только о поэзии и о поэтах»; брат писал стихи, а сам он «беспрерывно сочинял в уме роман из венецианской жизни» («Дневник писателя», 1876 г., январь, гл. III, 1). Может быть, тут уместно упомянуть также, что под самый конец своей литературной деятельности автор «Братьев Карамазовых» мечтал «написать книгу о Христе». Не был ли уже «роман из венецианской жизни» первым замыслом книги, в кото-

<sup>3</sup> Пушкин умирает 27 января (8 февраля) 1837 года; мать Достоевского, Мария Федоровна Нечаева, — 27 февраля (11 марта).

рой совершенство добра должно было быть противопоставлено уродству зла на сияющем фоне сказочной красоты?

Как бы там ни было, между осуществлением последней мечты Достоевского и первоначальным осознанием его собственного призвания стоял он сам со своими «необъятными силами», и грозно громоздилось мировое зло. В той самой главе своего «Дневника», в которой он вспоминает о первых своих литературных мечтаниях, он даёт не более чем на двух страницах художественно-красочное и в то же время математически-точное не то описание, не то определение того узаконенного мучительства, которое характеризовало народную жизнь в Николаевской России. Вот что случилось в мае 1837 г., когда Достоевский-отец отвозил двоих старших сыновей в Петербург, чтобы определить их в Инженерное училище. По дороге, — рассказывает Достоевский, — он увидел из окна постоялого двора такую картину. Из почтовой станции выскочил фельдъегерь, «чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом, (...) сел в тележку, (...) приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и сверху больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это во все не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, непрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец, нахлестал их до того, что они неслись как угорелые...» Ямщик, — замечает Достоевский, — когда вернётся затем домой, наверное сорвёт свою злобу на жене и прибьёт её, чтобы отомстить за свою боль и унижение. «Эта отвратительная картинка, — так кончает свой рассказ Достоевский, — осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь... картинка эта явля-



лась, так сказать, как эмблема, как нечто чрезвычайно наглядно выставлявшее связь причины с ее последствием. Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку». В этой «эмблеме» Достоевского перед нами вся та «цепь реакций», которая приводила в движение государственный механизм реакционного императора. Самыми прочными звеньями в этой цепи были кулак и кнут. Её начало — жестокая воля самодержца, подхлестывавшая царского слугу, а её конечные жертвы — безответная лошадь и столь же безответная русская женщина. Эту страшную цепь почти автоматически действующего насилия надо было во что бы то ни стало разбить — как мог не почувствовать это юный Достоевский? И становилось очевидным, что «романом из венецианской жизни» горю не пособишь. Ещё прежде чем Достоевский ступил ночью в царскую столицу, он открыл в себе гражданина, и его литературные мечтания приняли новую окраску.

В год гибели величайшего русского поэта не могло быть никакого сомнения, что посвятить себя в России независимой мысли и свободному выражению её равносильно самопожертвованию. Лермонтову, автору поэмы «На смерть Пушкина», суждён был такой же конец, как его герою. Уже раньше среди пяти повешенных декабристов был поэт Рылеев. В своём знаменитом «Памятнике» Александр Пушкин открыто противопоставил своё поэтическое творчество государственным достижениям и победам императора Александра, как бы провозглашая появление в России новой власти, власти вдохновенного слова, более правомерной, нежели власть закона и трона. Не случайно уже упоминавшийся поэт Тютчев назвал убийцу Пушкина «цареубийцей»<sup>4</sup>.

При таких обстоятельствах юный Достоевский не мог не сознавать, что его влечение к литературе и стремление найти

<sup>4</sup> «Из чьей руки свинец смертельный / Поэту сердце растерзал?.. / Будь прав или виновен он / Пред нашей правдою земною, / Навек он вышею рукою / В «цареубийцы» заклеимен». «29-е января 1837 г.»

себя в литературном творчестве несовместимы с государственной службой. Поступив, в согласии с отцовской волей, в школу военных инженеров, он сразу почувствовал, что к внутренним трудностям его прибавились тяжкие испытания заключённого на неопределённый срок узника. Тем не менее, годы, в течение которых он отбывал это первое своё лишение свободы, имели огромное значение для его умственного роста. Соприкосновение с точными науками помогло ему осознать беспомощность рационального знания при разрешении нравственных сомнений и душевных загадок. Здесь, в инженерной школе, он впервые возмутился против необоснованных притязаний «эвклидова ума» и «здорового рассудка». Восклицания «человека из подполья»: «Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два не нравятся?» — звучат как отголосок письма Достоевского к отцу по поводу школьных занятий: «...не терплю математики. Что за странная наука! И что за глупость заниматься ею <...> Математика без приложения чистый 0, и пользы в ней столько же, как в мыльном пузыре» (5-го мая 1839 г.). Но, признаваясь отцу в своей антинаучной ереси, он не делился с ним, как с братом Михаилом, теми огромными открытиями, которые он делал в тайне от школьного начальства в своих самостоятельных исследованиях глубин человеческого духа и собственного сердца.

Руководителями его в этих исследованиях были корифеи всемирной литературы, античной и новой, — кроме русской, английской, немецкой и французской. С Пушкиным, Державиным и Ломоносовым в душе его начинают соперничать Шекспир, Шиллер, Гёте, Виктор Гюго и особенно Бальзак. «Бальзак велик! — восклицает он в письме к брату от 9-го августа 1838 г. — Его характеры — произведение ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека». Независимо от Гёте, и как бы невзначай, он открывает существование и значение «мировой литературы» (Weltliteratur). От Гомера до Бальзака все его предшественники в исследовании че-

ловеческой души для него поэты, и так он открывает «поэта» в самом себе». Ему хотелось бы приобщиться к миру поэзии, уже не только русской, но всечеловеческой, и — что особенно знаменательно — поэзия начинает [сливаться] в уме его с «философией». В том же 1836 году (31-го октября) он пишет брату: «Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестное — природа (...) Заметь, что поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога, след[овательно], исполняет назначенье философии. След[овательно], поэтический восторг есть восторг философии (...) След[овательно], философия есть та же поэзия, только высший градус ее!..» На основании этого и других подобных восторженных заявлений можно сказать без преувеличения, что Достоевский на восемнадцатом году познал в себе одновременно художника и мыслителя, «поэта» и «философа», и что, вместе с тем, тайна собственного существования стала принимать в его сознании религиозно-мистический характер. Паскаль становится важным элементом его образования. Он неудержимо стремится вперёд и быстро обгоняет в своём развитии старшего брата, «дорогого Мишу», учившегося в это время инженерному делу в близком Ревеле и продолжавшего на расстоянии всячески укреплять веру Фёдора в его исключительное предназначение.

Слова «брат» и «братство» остались для Достоевского навсегда священными атрибутами. Брату Михаилу он был беспредельно благодарен за душевную поддержку, которые он получал от него в юности, нежно любил его, жалел, старался в свою очередь помогать ему, сотрудничая после возвращения из Сибири в издаваемых им журналах, и после преждевременной его смерти (1864), сам с величайшим трудом сводя концы с концами, жертвовал последним, чтобы расплатиться с долгами покойного и облегчить нужду его семьи. Глубокое чувство благодарности сохранил он на всю жизнь также к другу своей юности И. Н. Шидловскому (1816-1872), который вселил в родственную ему душу юного Достоевского романтический восторг по отно-

шению к идеалу литературного творчества, осуществляющегося сразу в трёх измерениях — в художественном, философском и религиозном. Шиллер, Гофман и Шекспир стали их общими кумирами, а сам Шидловский стал для Достоевского «прекрасным, возвышенным созданием, правильным очерком человека, который представляли нам и Шекспир, и Шиллер» (письмо от 1-го января 1840 г.). Он, несомненно, очаровывал и внешностью своей. Хотя дружба скоро рассталась навсегда, и извилистый жизненный путь Шидловского привёл его позже в монастырскую обитель, Достоевский, любивший подшучивать над собственной наружностью, ещё десятки лет спустя противопоставлял ей прекрасный облик своего старшего друга. В годы его тесной дружбы с Шидловским окончательно созрело решение Достоевского посвятить себя литературной работе. Он с нетерпением ждал своего «освобождения», и, не желая огорчить отца, тщательно скрывал от него, что, готовясь закончить образование, он одновременно пытается «писать». Трагическая смерть отца, убитого его возмущившимися рабами (в июне 1839 г.), сделала юношу хозяином своего будущего, и уже три месяца спустя, 16-го августа, он в цитированном выше письме к брату точно определил свою цель в жизни как «разгадку тайны человека».

Существует серьёзное предположение, что гибель отца, вместо того, чтобы развязать руки молодому Достоевскому, на самом деле связала его на всю жизнь «чувством вины» и наложила на всё его творчество, вплоть до «Братьев Карамазовых», отпечаток безысходной тоски. Не случайно — подчёркивает Фрейд в своём этюде о Достоевском<sup>5</sup> — кульминационным достижением этого творчества

---

<sup>5</sup> Штейнберг читал английский текст главы «Исповедь Ставрогина» (исключенной цензурой из окончательного варианта «Бесов») в переводе С. С. Котелянского и В. Вульф (1922); в 1947 г. выходит американское переиздание этого перевода, в котором был приведен очерк З. Фрейда «Достоевский и отцеубийство» — *Прим. переводчица.*

является книга об «отцеубийстве», произведение, которое следует причислить, наряду с «Царём Эдипом» и «Гамлетом», к «трём шедеврам всемирной литературы». В согласии со своим учением отец психоанализа старался понять причудливые извилины характера Достоевского, как и основное направление его творчества, в соотношении с рано проявившимся в нём эдиповым комплексом и развившимся на этой почве «неврозом»: подсознательно желая с детских лет смерти отца и чувствуя себя поэтому виновным в ужасном его конце, он стремился искупить своё преступление самоистязанием, полюбил страдания как заслуженное наказание, и в мученичестве своём нашёл неисчерпаемый источник вдохновения. Несмотря на уверенность самого Достоевского и окружавших его, что он — по крайней мере, времени каторги — страдал «священной болезнью», эпилепсией, Фрейд настаивает на правильности своего «посмертного» диагноза и видит в припадках, почти в конце жизни мучивших его «пациента», как и в ряде других болезненных проявлений его загадочной личности, нескончаемую цепь невротических экспериментов в самобичевании. С этим «мазохизмом» Достоевского связан по Фрейду его «садизм», его склонность мучить не только себя, но и других, в частности, своих родителей, а также его «гомосексуальные» наклонности и его маниакальное пристрастие к азартной игре. В итоге перед нами тяжкий случай неизлечённого невроза или лишь «аффективной» эпилепсии, жертва которой, человек с «исключительной способностью к любви, выражавшейся в сверхчеловеческой доброте», стал неизбежно «грешником» и даже потенциальным «преступником».

В наше время игнорировать Фрейда невозможно и приходится считаться с его терминологией<sup>6</sup>. Тем не менее, может быть не слишком фривольно тут заметить, что если бы

<sup>6</sup> Джозеф Кутзее в романе «Осень в Петербурге», наоборот, ближе к фрейдистскому истолкованию комплексов писателя.

Фрейд задумал написать психоаналитическую «Жизнь Иисуса», легко могло бы случиться, что он дал бы нам образ, который напоминал бы его портрет Достоевского. Впрочем, Фрейд сам признаёт, что перед Достоевским «как творческим художником анализ должен, к сожалению, сложить своё оружие». Но если это так, то сам собою возникает вопрос, как вообще возможно постичь «личность» Достоевского, как возможно понять то, что он делал и проделывал над самим собою, если внутренний смысл его произведений остаётся нераскрытым и используются они лишь как клинический материал для подтверждения предвзятого и совершенно безличного диагноза?

Верно, что смерть отца была большим событием в жизни Достоевского, но лишь потому, что с этого момента не было на земле никого, с чьей волей он должен был бы считаться при устройении своей жизни. В этом смысле он стал свободен (ср. письмо к брату от 19-го июля 1840 г.)<sup>7</sup>. Но на что должен был он употребить свою свободу? Может быть, подчиниться всецело воле Отца Небесного и служить своим пером Богу? Если он мог в чём-либо глубоко себя винить в это время, то это были в первую очередь его глубокие религиозные сомнения. Надо вчитаться без предубеждения в «Необходимые объяснения» 18-летнего Ипполита («Идиот», Часть третья, V–VII), сплошь насыщенные автобиографическим материалом, чтобы почувствовать, перед какой «стеной» стоял его автор в 1839 г. Смелый биограф не побоялся бы предположить, что юный Достоевский был тогда близок к самоубийству. Тридцать лет спустя он подарил своему несчастному «сверстнику» Ипполиту своё перо и свою «идею», что «дело — в жизни, в одной жизни, — в открывании ее, непрерывном и вечном, а совсем не в открытии!»; но уже тогда, за тридцать лет до создания «Идиота»,

<sup>7</sup> «Я совершенно свободен, не завишу ни от кого; но наша связь так крепка, мой милый, что я, кажется, сросся с кем-то жизнью». ПСС. Т. 28. Кн. I. С. 76.

его будущий автор ясно ощутил, то есть для него спасение, если он, забыв на время о самом себе, решится стать «Колумбом» — не Нового Света, а Нового Человека, вернувшегося к Христу. А о том, каких страшных мучений стоила ему его «жажда верить», он поведал от собственного имени, когда сам достиг «возраста Христа» (Письмо к Наталии Фонвизиной от февраля 1854 г.)<sup>8</sup>.

Распроставшись в 1843 г. с Инженерным училищем, переведённый на службу в Инженерный корпус, он в следующем году, вопреки воле опекуна, выходит в отставку и вступает на путь профессионального писательства. Накануне 1845 года, — года, когда он был торжественно принят на новую службу, не царю, а народу, отставной поручик Достоевский очутился лицом к лицу с жизнью, привлекавшей и пугавшей его своей величественной загадочностью.

В неравном поединке с ней он надеялся найти меру собственных сил. К этому времени он уже располагал некоторым жизненным опытом, между прочим, и опытом властвования над «подчинёнными» (см. Указ об увольнении от 19-го октября 1844 г.). Но Достоевский стремился служить, а не командовать, и, служа жизни, он на первых порах готов был отдаваться всем её прихотям и соблазнам. Располагая скромным доходом, оставшимся ему по наследству, он стал проектировать всякие издательские предприятия и начал пытаться счастья в азартной игре; ощущая в то же время в своей природе жгучее, «карамазовское», по его позднейшей терминологии, сладострастие, тоже доставшееся ему по наследству, он повёл распутный образ жизни, отголоски которой можно узнать

<sup>8</sup> «Каких страшных мучений стоила и стоит теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим (...) В солдатской шинели я такой же пленник, как и прежде. И как я рад, что в душе моей нахожу еще надолго терпения, что благ земных не желаю и что мне надо только книг, возможности писать и быть каждодневно несколько часов одному». Т. 28. Кн. I. С. 176—177.

в «Записках из подполья». Но, вступив на путь греха и страдая от своей греховности, он стремился уравновесить ее упорным трудом, сделав своё перо оружием в борьбе со злом жизни и внешней, и внутренней.

Однако и литературная работа таила в себе соблазны, не менее опасные для нравственного равновесия писателя, «разгадывающего Бога», чем соблазны плотские. Уже первые литературные опыты его в начале 40-ых годов связывались в его уме с горделивой мечтой занять место во всемирной литературе наряду если не с Шекспиром, то, по крайней мере, с Шиллером. Подзадориваемый ещё ничем не оправданным «честолюбием», он стал сочинять драмы, которые сам тут же уничтожал. «У меня ужасный порок, — писал он в 1846 г. брату, — неограниченное самолюбие и честолюбие». Честолюбивые мечты его всё же имели свои границы. Считая себя «поэтом», он даже и не пытался соперничать с Пушкиным или Лермонтовым и раз и навсегда решил, что он не стихотворец. Зато он с тем большим упорством пустился догонять царившего тогда в русской литературе Гоголя. Он долго и тщательно отделявал свою первую книгу «Бедные люди», и когда рукопись её, наконец, попала в руки Белинского, этот высший судья в тогдашней передовой критике сразу провозгласил её автора дарованием, опередившим Гоголя (письмо Достоевского от 1-го февраля 1846 г.). Впервые Достоевский достиг цели, которую он сам себе поставил; впервые его вера в себя и своё будущее получила блестящее оправдание. «Неужели вправду я так велик? — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда...» (Дневник писателя 1877, I, «Старые воспоминания»). Короче говоря, молодой писатель был счастлив. Но, по слову Пушкина, он не был «создан для блаженства» («Евгений Онегин» IV.14). Он был бы не он, если бы сам тут же не споткнулся об самого себя.

Все соблазны, подстерегающие людей, внезапно прославившихся, возымели своё действие. Горделивое честолюбие



Достоевского быстро выродилось в легко уязвимое самолюбие, в претенциозное тщеславие, в раздражительную заносчивость. Его сограждане по своеобразной республике свободной русской мысли во главе с Белинским стали спрашивать себя, не переоценили ли они Достоевского и стали требовать от него последовательности: если внутренний смысл «Бедных людей» был для них в том, что беднейший из бедных, даже нищий духом, призван быть первым из первых, лишь бы он был поистине «человеком», с человеческими чувствами любви и самоотречения, то автор книги, воплощающей такой идеал, должен стоять на его уровне, принять социалистическую веру в разумное устройство общественной жизни и отказаться от господствующего христианского мракобесия и лицемерия. Так столкновение Достоевского с Белинским и его кружком, к которому примыкали такие писатели, как Некрасов, Григорович и Тургенев, стало неминуемым. Какие дурные инстинкты ни брали бы временно верх в душе Достоевского, единственное, за что он не переставал крепко держаться, была его вера, что вне преклонения перед образом Христа для человечества нет спасения.

Отношение к Белинскому, остававшееся для Достоевского сложной проблемой до конца жизни, характерно для той своеобразной диалектики, которая вообще определяла отношения его и к отдельным людям, и к умственным течениям. Оно обыкновенно начиналось с «тезиса», с положительного утверждения личности или идеи, переходя затем в «антитезис», в резкое их отвержение, чтобы завершиться в некоем «синтезе», в котором отрицание причудливо сплеталось с начальным импульсом утверждения. Что до Виссариона Белинского в частности, то после восторженной признательности ему за лавровый венок, возложенный им на голову безвестного писателя, Достоевского скоро возмутил его «атеизм», то, что он якобы при нём «ругал Христа». Ещё долго-долго после кончины «неистового Виссариона» Достоевский мстил ему в свою

очередь грубейшей руганью в частных письмах, сохраняя в то же время тёплое чувство к нему, которое проявилось с полной ясностью лишь в конце 70-ых годов (ср. с одной стороны письма к поэту А. Н. Майкову от 16-го августа 1867 г. и от 18-го февраля 1868 г., к критику Н. Н. Страхову от 18-го мая 1871 г., а с другой стороны — к вдове Белинского от 5-го января 1863 г. и отзывы о нём в Дневнике писателя за 1876 г., февраль II, март I, июнь I и II). Такая же «диалектическая», волнообразная линия может быть прослежена в отношении Достоевского к Гоголю, Некрасову, Тургеневу, Виктору Гюго, к членам собственной его семьи, к любимым женщинам, но также к православной церкви, к славянофильству и к социализму. В этом сказывалась не поверхностная зыбкость чувства или мысли, а наоборот — изначальная их многосложность, таившая в себе возможность развития в прямо противоположных направлениях<sup>9</sup>. Может быть, именно поэтому каждое новое чувство, зарождавшееся в сердце Достоевского, было для него, прежде всего, новой мукой.

Не иначе обстояло дело с писательской «службой» Достоевского. В основе её лежало его чувство любви к свободной мысли, к свободному слову, к родному языку, к создателю его — русскому народу, и что, может быть, было всего важнее, — к упорному плодотворному труду. Но уже в первый предкаторжный период его творчества любое из его произведений имело свою особую «историю болезни»; каждое из них родилось в муках. Влечение автора к своему сюжету в процессе работы переходило в его пресыщение им, а удовлетворение достигнутым результатом — в полное разочарование. Так было уже с «Бедными людьми» и последовавшим за ними «Двойником», этой первой попыткой автора объективизировать свою собственную раздвоенность; с «Хозяйкой», в которой была предначертана по некоторым

<sup>9</sup> В своих заметках от 28. IV.1963 г. Штейнберг писал: «уйти от николаевщины и преодолеть собственную многосложность».

предположениям программа жизни его друга Шидловского, а вернее всего — общая задача того и другого; и так же — с «Белыми ночами», этим надгробным памятником над «мечтательным» романтизмом и идеализмом его юности. Приняв свою окончательную форму и тем самым прорвавшись от источника вдохновения, из которого оно родилось, каждое произведение Достоевского становилось для него чуждым, и он не гнушался вносить его на литературный рынок для продажи, как если бы дело шло о «товаре», о сгустке затраченной на его произведение энергии. Авторам появившегося в это время на Западе «Коммунистического манифеста» не трудно было бы узнать в Достоевском настоящего «пролетария». И таким осталось его отношение к своим произведениям до самого конца: стремясь к полному осознанию и воплощению своей «целокупной», вечно неуловимой личности, он не мог не видеть даже в самых замечательных своих творческих удачах лишь невнятный намёк на свою высшую цель. Дано ли было ему вообще воплотиться в пределах художественного творчества?

Надо полагать, что именно этого рода сомнения дали толчок к вступлению молодого писателя на путь нелегальной деятельности. Черта, отделявшая в России литературу от «политики», как мы знаем, была вообще крайне расплывчатой. Служение народу пером легко могло перейти в служение ему мечом. От таких воинственных замыслов Достоевский и его единомышленники, собравшиеся во второй половине 40-х годов вокруг М. В. Буташевича-Петрашевского, С. Ф. Дурова и Н. А. Спешнева, жаждавших не только слова, но и дела в активной борьбе с господствующим режимом, были, правда, далеки. Но среди них сохранилась живая память о декабристах, русских революционерах 1825 г., и они были хорошо осведомлены об умственных движениях и о событиях в Западной Европе, связанных с исторической датой 1848. На первых порах они лишь обсуждали программу чаемого освобождения в России, первым пунктом которой было, конечно, освобождение кре-

стьян. Некоторые из них помышляли о борьбе за свободу слова путём создания тайной типографии. Общим источником их вдохновения были учения их старших современников, французских утопических социалистов Сен-Симона, Фурье, Кабэ, но в особенности некоторые из них — и всех больше Достоевский — преклонялись перед гением Жорж Занд и её синтезом социализма и христианства (см. Дневник писателя 1873 «Гражданин», № 50, и 1876, июнь, гл. I). Для политической полиции Николая I-го этого было, однако, достаточно, чтобы беспощадно расправиться с Петрашевским и его друзьями. Ряд членов кружка, в том числе Достоевский, были подвергнуты утончённой пытке: приговорённые к расстрелу, они лишь на эшафоте, прощаясь с жизнью, узнали в последнюю минуту, что казнь заменена каторжными работами (22-го декабря 1849 г.). Что Достоевский пережил в эту последнюю минуту, рассказал нам за него с ужасом и возмущением князь Мышкин («Идиот», I, часть первая, II: «Сильнее этой муки нет на свете»), и нет сомнений, что терн, вонзённый тогда в сердце Достоевского, никогда не был извлечён. Такова была расплата за первый период его служения пером. Жестокий приговор, вынесенный Достоевскому, был как бы преднамеренно связан с именами Гоголя, его первого «соперника» на литературном поприще, и Белинского, посвятившего его на писательское служение: осуждённому вменялось в особую вину чтение в кругу друзей запрещённой статьи покойного Белинского против Гоголя, соблазнившегося реакционным утопизмом. Два дня после издевательства на эшафоте, под самый сочельник, закованный в цепи Достоевский вместе с другими осуждёнными был отправлен на каторгу в Сибирь, а впереди всей санной процессии нёсся «фельдъегер», быть может, тот самый, который за 12 лет до того так ущемил сердце молодого Феди на пути его из Москвы в Петербург (ср. письмо к брату из Омска от 22-го февраля 1854 г.

Чем была для Достоевского каторга, мы знаем прежде всего из его «Записок из Мёртвого дома». Он целых четыре

года провёл в аду. Но самым поразительным при этом является не то, что он пережил свои несказанные мучения, а то, что, подвергаясь им, он ни на миг не переставал жить своей жизнью, что он и в эти страшные годы продолжал идти своим, как бы предначертанным путём. После этого опыта он уже никогда больше не мог усомниться в благодати Провидения. Ещё в юности ему открылось, что «судьба бывает истинным велением Провидения, когда она действует на нас неотразимую силою целой природы нашей» (письмо к брату от 19-го июля 1840 г.). Зависимость его личной судьбы от воли Провидения нашло в его глазах полное подтверждение в Омском остроге. Это оно, благословившее его на удел мученика, сохранило в неприкосновенности его ум и сердце среди разбойников и палачей; это оно, отличившее его способностью смиренно переносить издевательство и унижение, вселило заодно в его душу чувство ответственности за зло, царящее в мире, и готовность принять вину за это на себя. В этом сказалась «сила целой природы» его. «Воистину всякий пред всеми и за всех виноват» — это верование старшего брата старца Зосимы («Братья Карамазовы», I, часть вторая, книга шестая, II, а) стало близким Достоевскому ещё до того, как за ним затворились двери застенка, и на каторге сознание, что он несёт наказание не безвинно — просто за чтение вслух какой-то статьи, — а заслуженно, за свой личный первородный грех, не могло не облегчить бремя его цепей, и звон их отдавался в его ушах как отзвук очистительного гимна. И до, и после Достоевского в России было немало подвижников, которые во имя искупления грехов надевали на себя тяжёлые вериги добровольно.

Но знал ли Достоевский за собою какой-нибудь определённый греховный поступок, который требовал бы такой свирепой очистительной жертвы? Тут уместно коснуться вопроса, который вызывает у проницательных биографов Достоевского столь тягостные недоумения. Существует предположение, что «Исповедь Ставрогина», глава из «Бе-

сов», первоначально отвергнутая издателем за непристойность, является в части, где рассказывается о покушении Николая Ставрогина на невинность маленькой девочки, не признанием вымышленного лица, а исповедью самого Достоевского. Не вдаваясь во все доводы за и против такого предположения, следует обратить внимание на следующие два весьма важных обстоятельства. Во-первых, Ставрогин, по тексту Достоевского, не только лишил свою жертву физической или лишь нравственной невинности, но сознательно, с заранее тонко обдуманной намерением, толкнул соблазненного ребёнка к самоубийству. Иными словами, преступление Ставрогина не изнасилование малолетней или оскорбление её детской невинности, а убийство. А раз это так, согласится ли кто-либо заподозрить Достоевского на основании саморазоблачения созданного им князя бевсов в убийстве невинного ребёнка?

С другой стороны, мы имеем одно в высшей степени знаменательное, хотя и загадочное признание, сделанное Достоевским непосредственно. Вспоминая почти четверть века спустя то, что происходило в душе его, когда он по царскому капризу был поставлен лицом к лицу с «верной смертью», он как бы невзначай замечает, что «в эти последние минуты... инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно свою жизнь», он раскаивался «в иных тяжких делах своих, из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат втайне на совести» (Дневник писателя. 1873. I). Можно ли допускать, что среди «тяжёлых дел», всю жизнь тайно угнетавших совесть Достоевского, были тяжкие преступления — Ставрогин, совершённые будь то до или после каторги? Такое допущение игнорировало бы факт, что на чувствительнейших весах совести Достоевского даже обычные человеческие прегрешения весили часто не меньше, чем пролитие крови, и дурные помыслы или поползновения не меньше, чем умышленное причинение зла. «Я часто бываю очень грустен, — писал он жене из Москвы 29-го декабря 1866 г., — точно я совершил перед кем-нибудь пре-

ступление». До чего обострена была его постоянно мучившая его совесть, об этом свидетельствует природная склонность винить себя за любое несчастье, приключившееся в его окружении. Когда трёхлетняя Соня, его первый ребёнок, умерла от воспаления лёгких, он считал себя виновным и в этом, и писал: «Всё за грехи мои» (письмо от 9-го июня 1868 г.). В этом смысле он, конечно, мог винить себя уже за смерть отца, но тем более за смерть матери, а может быть даже и Пушкина. Совесть совести рознь, и индивидуальность Достоевского заслуживает индивидуального к ней отношения.

При таком невероятно тяжком бремени совести Достоевский не мог очиститься даже каторжными страданиями. Парадоксальным образом физические и нравственные муки, воспринимаемые им как заслуженное наказание, залечивая раны его совести, лишали его тем самым главного источника внутренних терзаний и диалектически превращали самый целительный процесс как бы в новое наказание. Потому что не терзаться Достоевский не могу и не хотел. Он познал в себе мученика и замыслил обнаружить в собственной жизни смысл мученичества, или, применяя к нему самому формулы из его «Сна смешного человека», «он познал скорбь и полюбил скорбь, он жаждал мучения и говорил, что истина достигается лишь мучением». Выйдя из преисподней, он стал даже как будто жалеть о потерянном аде, как жалел он после грехопадения в Москве о потерянном рае. К его удовлетворению, линейный батальон в Семипалатинске, всё в той же Сибири, куда он был переведён из тюрьмы как разжалованный офицер простым рядовым (1854), оказался всего лишь чистилищем, из которого путь легко мог привести его, жаждавшего мучений, снова в какой-нибудь из кругов геенны огненной.

Он скоро набрёл на него. Впервые в жизни 33-летний Достоевский страстно влюбился. Его избранница была Мария Исаева — сама страдалница, хотя и не безгрешная, преклонившаяся перед гением в солдатской шинели, но не от-

вечавшая ему взаимной любовью. После того, как она овдовела, Достоевский женился на ней, и её восьмилетний сын Павел («Паша») стал его сыном, и вместе с тем — новым источником мучительнейших забот и тревог на всю жизнь. История первого брака Достоевского, закончившегося смертью Марии от чахотки (1864), есть история его первого поражения в «поединке роковом», по слову Тютчева, между сынами Адама и дочерьми Евы<sup>10</sup>. «Велика радость любви, — писал он уже в 1856 г., — но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить» (письмо барону Врангелю из Семипалатинска от 23-го марта 1856 г.). Любовь была для Достоевского страстным стремлением преодолеть собственную отъединённость. До тюрьмы он почти не замечал её, и, во всяком случае, мало верил в то, что женщина может быть призвана воссоединить одинокого «мечтателя» с реальной действительностью. Лишь в тюрьме он ясно осознал, что и на воле он, в сущности, был в заключении, отделённый от внешнего мира непроницаемой стеной собственных высоких помыслов и причудливых фантазий. Чтобы пробить брешь в этой стене, надо было отобразить своё «я» в другой абсолютно утверждаемой личности, надо было увидеть себя глазами другого существа, надо было, короче говоря, беззаветно любить и быть столь же беззаветно любимым. Так по необходимости все встречи Достоевского с женщинами лицом к лицу и с глазу на глаз — должны были кончиться мучительным разочарованием.

Чтобы по-настоящему увидеть Достоевского и по-настоящему полюбить его, тщетно силившегося найти и принять самого себя, избранница его сердца и ума должна была бы стать чем-то вроде его двойника, но не просто вторым Достоевским, а как бы сверх-Достоевским. Это было невозможно. И после Марии Сибирской были другие «Ма-

<sup>10</sup> «Любовь, любовь — гласит преданье — / Союз души с душой родной — / Их съединенье, сочетанье, / И роковое их слиянье, / И... поединок роковой...». Ф. И. Тютчев. «Предопределение», 1850.



рии» и «Марфы», которым Достоевский отдавал своё бешено бьющееся сердце, но каждый раз его сближение с ними вызывало в них возмущение против непосильной задачи, которую его любовная тоска задавала им. Его идеал любви был «не от мира сего». Адам нашёл себе помощницу в Эдеме, но нашёл ли бы он её после изгнания из Рая? Вечно тосковавший по Раю Достоевский так до конца и не узнал гармоничной созвучности взаимной любви. Он слишком мало и нерешительно любил самого себя, чтобы внушать любовь к себе земным женщинам. Отвергла его много лет после его кончины даже родная его дочь, которой дано было при рождении имя «Любовь».

Ещё в остроге, затем в годы солдатской службы в Семипалатинске, вплоть до возвращения в Петербург в декабре 1859 г. по милости Александра II-го, Достоевский был одержим мыслью, что ему суждено пережить вторую молодость, лучшую, чем та, которая оборвалась так внезапно в 1849 г.; «лучшую» во всех отношениях: он сам будет светлее, чище и ближе к народу, высокие душевные качества которого открылись ему как раз в наиболее отверженных и угнетённых сынах его, товарищах его по несчастью. Но лучше, яснее, совершеннее — мечталось ему — будут и его произведения, в которых он будет делиться своим возрастающим опытом в исследовании человеческой души, ничего не утаивая ни от себя, ни от других. Строго осудив свою горделивую отъединённость, он опрометчиво решил омолодиться женитьбой, и когда обнаружилось, что это был шаг ложный, он делал сверхчеловеческие усилия, чтобы подавить свою жгучую ревность и сохранить рыцарские чувства к нарушившей верность жене.

Более удачными оказались его первые шаги на вновь открывшемся перед ним литературном поприще. Но и тут на первых порах почва не была тверда под его ногами. Мечтая об омоложении, он как бы откопал источник вдохновения его первой молодости и стал следовать заветам друга своей юности романтика Шидловского: ещё в Семипала-

тинске он погружается в историю религий, включая ислам, и в изучение философии, читает Канта и Гегеля, знакомится с новейшими движениями мысли на Западе и России и замышляет уже не только перегнать Гоголя, как в период «Бедных людей», а навсегда покончить с тем, кого судьба столкнула с Белинским с роковыми последствиями для Достоевского. И действительно, среди произведений «второй молодости» Достоевского видное место занимает наряду с «Униженными и оскорблёнными» повесть «Село Степанчиково», в которой Гоголь выведен в карикатурном образе Фомы не-«неверующего» и «Опискина». В каждом из этих двух произведений легко подметить стрелки, указывающие в двух противоположных направлениях: назад, к начальному периоду авторского служения пером, и вперёд — от «второй молодости» его к заключительным двадцати годам жизни, когда ему почти удалось проявить свои «необъятные силы» во всём их размахе и так довоплотить себя.

Не расставаясь со своей сибирской надеждой увидеть себя снова молодым и полноправным членом нового молодого поколения, Достоевский явился накануне своего сорокалетия в Петербург, как некий Фауст в поисках предназначенной ему непорочной девы Маргариты. Обогащённый горьким опытом с Марией Сибирской, он знал, что самые сокровенные решения могут быть подсказаны ему живущим в нём самом и безжалостно издевающимся над ним Мефистофелем. Тем не менее, он не умел устоять против соблазна «пытать счастье» в любви и с присущим ему азартом страстного игрока раз за разом очертя голову бросался в опасную игру, ставкой в которой был он сам. Впрочем, как знать. Может быть, и тут он жаждал больше всего сладостной муки.

Отчётливые всего его любовная обречённость выступила в его отношениях с Аполлинарией Суловой (в годы 1861—67), которая была на 18 лет моложе его и является прообразом «Полины» в повести «Игрок». В сближении и столкновении с этой убеждённой «нигилисткой», гордой пред-

ставительницей того нового поколения, о слиянии с которым мечтал Достоевский, мученик открыл в себе мучителя. Как говорится в России: «Начальство на начальство наскочило». Молодая женщина, уже успевшая познать горечь страдания, своей властью разоблачила жуткую диалектику сострадания, вдохновлявшую автора «Записок из мёртвого дома» и «Униженных и оскорблённых». Без страдания не было бы повода для сострадания; именно поэтому, — заключала подруга Достоевского, обращавшаяся с ним как равная с равным, — упиваясь своим чувством сострадания, он жадно ищет и набрасывается на всякое проявление человеческого мучительства, любит не только свои, но и чужие страдания; с увлечением изображает их и даже с наслаждением сам их причиняет, как, например, в своей мучительно-подозрительной любви к ней. Старшая сестра Аполлинии прямо поставила Достоевскому вопрос, действительно ли он «любит лакомиться чужими страданиями и слезами», на что он ответил глубоко огорчённый: «Вы видели меня в самые искренние мои мгновения, а потому сами можете судить: люблю ли я питаться чужими страданиями, груб ли я (внутренне), жесток ли я?» (письмо от 19-го апреля 1865 г.). Но огорчаясь и оправдываясь, Достоевский сознавал, что благодаря Сусловой он мог увидеть в себе нечто тёмное и скрытое от него самого, что в этом смысле она могла бы стать истинной «помощницей» ему, и он не переставал тянуться к ней, как ещё до смерти скончавшейся в Москве первой жены, так и после второй своей женитьбы. Но в ней он уже не вызывал ни любви, ни даже жалости, а одну только злобу. (Нечто подобное случилось с Ницше в его столкновении с Lou Salomé, представительницей следующего поколения непреклонных русских женщин).

Но Фауст не сдавался. Превратившись как бы в «рыцаря печального образа» и странствуя за границей, где он искал забвения и новой муки в игорных домах, сотрудничая в журналах брата Михаила и разоблачая тайны своей первой, беспутной молодости в «Записках из подполья», До-

стоевский даже в годы создания своего художественного шедевра «Преступление и наказание», страдая при этом от острой нужды и от участвовавших припадков своей «священной болезни», не расставался с мечтой найти в конце концов свою суженую Маргариту. Двадцатилетние девушки, которым он предлагает в этот период своё сердце, или руку, или то и другое, моложе его приблизительно на 25 лет: Анна Корвин-Круковская родилась в 1847 г., а Софья Ивановна, его родная племянница, которую он восторженно любил до конца жизни «как сестру и дочь» — вернее, как Данте любил Беатриче, — появилась на свет Божий в 1846 г. В этом же 1846-ом году родилась и Анна Сниткина, ставшая в 1867 г. его второй женой. Случайное ли это совпадение, что этот 1846-ой год есть одновременно год появления на свет литературного первенца Достоевского, «Бедных людей»?

Биографы Достоевского называют его второй брак «счастливым». Но положил ли он действительно конец его мученичеству? Да и можно ли себе представить вообще, чтобы мученик жил в «счастливом браке»? Тщательное сопоставление всех известных нам фактов явно противоречит благодушной оценке супружества Федора Михайловича с «Аней». И после женитьбы он не перестал лелеять идеальный образ Маргариты, ставший для него реально недоступным. Второй брак Достоевского был с обеих сторон браком по расчёту — не в грубом смысле, а в том более глубоком смысле, что он был обеим сторонам душевно «выгоден». Молодость и невинность Ани отвечала, хотя и в отвлечённой лишь форме, основным запросам его измученного сердца. Но он и не думал найти в её взоре своё высшее недоовплощённое «я», как это ему мечталось в нежно-восторженной любви к его Беатриче — Софье. Она не стала также судьёй ни его совести, ни его творений, чем могла бы стать для него Аполлинария. Она была и осталась до конца его жизни некритической поклонницей его художественного таланта, его сестрой милосердия, его секретаршей,

управляющей его делами, а под конец даже его издательницей. Для него самого важнее всего было то, что она стала матерью его детей. В этом заключалась огромная «выгода» Достоевского; её же «выгода» заключалась, прежде всего, в том, что она стала женой «великого человека», который, однако, как мы знаем, сам себя «великим» не считал.

Всё это уже с самого начала привело к тому, что к страданиям Достоевского прибавилось новое обострение его чувства одиночества и сознание вины за свою ушербленную любовь. Но он стремился искупить свою вину неустанно разжигаемой страстью, и был бесконечно признателен жене за то, что она сделала его отцом. Однако отцовство его стало для него в свою очередь мучительной страстью, которая, при самой кратковременной разлуке с семьей, обостряла его тоску по дому и вызывала в нём жуткую тревогу за хрупкое благополучие и детей, и жены. Тревога его часто принимала форму кошмарных сновидений. Его вечно преследовал страх, что дети могут понести возмездие за грехи отца, и когда под конец жизни его последний ребёнок, трехлетний Алеша, скоропостижно умер от эпилептического припадка, Достоевский в этом проявлении закона наследственности увидел новое доказательство лежащей на нём вины перед детьми и немедленно отправился в обитель старца Амвросия, ища у него утешения в семейном горе (июнь 1878). Несмотря на то, что Достоевский и в последний период своей жизни не отождествлял своё исповедание христианства с учением государственной православной Церкви, он ради детей и жены охотно исполнял её обряды и от полноты чувства нередко преклонял вместе с ними колени в молитве.

Своё сближение с церковью сам Достоевский объяснял тем, что с годами он стал сознавать себя всё более и более русским. Не преодолев своей отъединённости на путях личных отношений, он тем настойчивее стремился обратиться к сверхличному целому: к русскому народу и его святыням. В этом направлении работали его мысль и его

послушное ей воображение. Без этого стремления ему навряд ли удалось бы достичь той степени самовоплощения, которая характерна для него как художника и мыслителя начиная с середины 60-х гг.

Уже первая его поездка на Запад в начале этого периода и затем его четырёхлетняя жизнь за границей (1867—1871), где он вынужден был скрываться от кредиторов своего скончавшегося нищим брата Михаила, привели его к выводу, что изменившее Христу человечество нуждается в новом освобождающем слове, провозгласить которое может лишь многострадальный и верный заветам Христа русский народ. Но кто призван говорить от его имени? И Достоевский решает: либо надо совсем замолчать, либо взяться самому за неотложную исполинскую задачу. Ей именно посвящены с этих пор все писания его, как художественные, так и публицистические («Дневник писателя», 1873—1880). Вполне естественно поэтому, что служение пером никогда ещё не было для Достоевского так мучительно, как в заключительный период его творчества. Во всех его произведениях — от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых» и Речи о Пушкине — он стремился предстать перед светом, не брезгуя при этом маской занимательного беллетриста, не как проповедник уже воспринятого учения, а как предтеча «Нового человека» и «Нового слова», как прорицатель будущего. Как же мог он при таком замысле находить малейшее удовлетворение в результатах своего труда? Он трудился и мучился, предчувствуя уже во время писания «Идиота», что не позже чем через десять лет смерть оборвёт его на полуслове.

Все превратности судьбы, превратившей жизнь Достоевского в нескончаемую цепь мучительных испытаний: болезни, бедность, каторга и ссылка, неудачи в любви и непризнание в литературе, а больше всего собственный «несносный характер», — не смогли сломить дух мученика и искривить его жизненный путь. С каждым новым испытанием личность его обогащалась, и с её усложнением рос-

ла его уверенность, что ему удастся окончательно побороть в себе всех духов зла. В самые последние годы его жизни это стало видно не только ему самому, но и миру. Молодое поколение начало окружать его любовью и стало прислушиваться к каждому его слову. И в этом оказал ему помощь всё тот же Пушкин, его добрый гений с ранних лет. Бывали моменты во время публичных чтений Достоевского, когда он, произнося стихи Пушкина, до такой степени отождествлял себя с поэтом, что непосредственно чувствовалась теснейшая неразрывная связь между ними. Но в истинный экстаз приводил Достоевский всех вокруг, когда читал стихотворение, в котором сам Пушкин как бы отождествляет себя с библейскими пророками. Тогда, — рассказывает современник, — «слабым своим голосом, который каким-то чудом слышали всегда в самых отдалённых углах огромной залы, Достоевский проникал прямо в сердце...»<sup>11</sup> Невольно зарождалась мысль, что в России появился свой Пророк.

---

<sup>11</sup> Этим «современником» была Елена Андреевна Штакеншнейдер (1836–1897). «Достоевский прочел изумительно «Пророка». Все были потрясены»: [www.fedordostoevsky.ru/around/Shtakenshneider\\_E\\_A](http://www.fedordostoevsky.ru/around/Shtakenshneider_E_A)

---

## II. ХУДОЖНИК

*Чтобы достичь совершенства, надо  
сначала многого не понимать.*

*«Идиот», II*

**В** наше время мало кто сомневается в том, что Достоевский — один из самых выдающихся художников слова и что его произведения включают ряд шедевров всемирной литературы. Слава эта, однако, укрепилась за ним только много лет спустя после его смерти, и то лишь исподволь. При жизни его не только многие общепризнанные мастера и ценители художественного слова, как, например, Толстой, готовы были допустить, что произведения Достоевского не переживут надолго их создателя. Вполне считался с такою возможностью и он сам.

Ныне, сто лет после появления на свет шедевров Достоевского, когда судьба их навсегда связалась с судьбами художественного слова вообще и уже не зависит даже ни от дальнейшего развития русской литературы, ни от будущих судеб самого языка русского, легче понять и простить бли-



зорукость, чтобы не сказать слепоту, критических оценок прошлого века. Главная ответственность за них лежит на самом Достоевском. Подрывая и разбивая общепринятые в его время каноны и нормы литературы, он лишь под самый конец своего творческого пути осознал, что должен высказать «своё слово» не только как мыслитель, но и как художник. Покуда его особая разрушительная задача в искусстве не была ясна ему самому, или, иначе говоря, до тех пор, пока он не воплотил вполне в художественных произведениях своё индивидуальное творческое призвание, свою оригинальную эстетическую волю, произведения эти не могли не отражать произвольные колебания автора между верностью традиции и восстанием против неё, вызвавших в нём самом, как и у его современников, впечатление, что он не в силах справиться со своими художественными задачами. Лишь теперь, в свете прошедшей эволюции мировой литературы, становится ясным, что в художественных «ошибках» произведений Достоевского, как и в «слабости» его художественного таланта, на которую он не уставал жаловаться, проявлялось прежде всего его инстинктивное и неусмиримое стремление перековать художественное слово в новое и более мощное орудие человеческой мысли и воли.

Нагляднее всего обнаруживается это стремление Достоевского в его обращении с унаследованной формой романа. И по сей день Достоевский пользуется признанием, прежде всего, как гениальный «романист». Тем не менее, не один авторитетный знаток литературы, беря в руки объёмные книги Достоевского, невольно задаётся вопросом, не выиграл бы в художественном отношении такой, например, «роман», как «Братья Карамазовы», если бы он был значительно упрощён и урезан. Но есть ли это последнее крупное произведение Достоевского романом в общепринятом смысле? Правда, сам автор так его назвал. Однако непредвзятое изучение его художественного развития обнаруживает, что то были лишь ироничные маски, терминологиче-

ская уступка времени, если не заведомое приспособление к требованиям литературного рынка. Заканчивая в 1875 г. предпоследний свой «роман» в форме записок «Подросток», Достоевский ясно и определенно отграничил себя от современных ему «романистов», в особенности от Толстого.

Заключительные страницы этой книги содержат в виде особого приложения критическую оценку её, в которой подчеркивается, что «Записки» её главного героя никак не могут быть названы «романом» в точном смысле этого слова. Роман, — поясняет старый «воспитатель» юного героя, т.е. сам Достоевский в своей рецензии на собственное произведение, — предполагает наличие «красивых завершённых форм» народной жизни и в первую очередь — существование прочного семейного уклада, красота которого зиждется на «законченных формах чести и долга». Но в России всё это дело прошлого. Старый порядок с его «преданиями русского семейства», по слову Пушкина, превращается в историческое воспоминание. С разложением дворянской России в ней «повсюду летающие щепки, мусор и сор», — материал совершенно непригодный для построения романа. Вот почему в такое переходное время русскому романисту, достойному этого звания, не остаётся ничего другого, как «писать в историческом роде». Так поступает, например, автор «Анны Карениной», даже когда он якобы изображает современность (Ср. разбор «исторических романов» Толстого в «Дневнике Писателя», 1877, июль-август). Как же быть в таком случае писателю, если он отдаёт себе отчёт, что родовитые русские семейства «массами переходят в семейства случайные и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе», как это случилось с родом Версилова, отца «подростка»? «Признаюсь, — восклицает автор, — не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства! Работа неблагодарная и без красивых форм. Да и типы эти, во всяком случае, — ещё дело текущее, а потому и не могут быть художественно законченными. Возможны важные ошибки, возможны преувеличения, недо-

смотрим. Во всяком случае, предстояло бы слишком много угадывать. Но что делать, однако ж, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему? Угадывать и... ошибаться». Вот почему Достоевский не мог не заметить «важных ошибок, преувеличений и недосмотров» также и в двух предшествующих своих «романах», в «Идиоте» и в «Бесах», которыми он был, как свидетельствуют его письма к друзьям, крайне неудовлетворён. Что же касается «Братьев Карамазовых», то в этом случае автор уже вполне сознательно поставил в центре повествования семью, «случайность» которой неизбежно приводит к насильственному ее саморазрушению. Это означает, что под конец своей творческой жизни Достоевскому стало ясно, что как художнику ему уже давно следовало избирать либо обычную форму романа, отказавшись от изображения объёмлющего его хаоса, либо же остаться и в художественном творчестве верным свидетелем своего смутного времени и прослыть неумелым романистом. Хотя сам Достоевский не отдавал себе в этом полного отчёта, он избрал последнее, уже, когда создавал «Преступление и наказание», и даже раньше, в истории своих «Записок из подполья». Пользуясь его словами в послесловии к «Подростку», можно сказать, как бы парадоксально это ни звучало, что в смысле теории искусства пять последних произведений Достоевского, заключительное пятикнижие «романов», посвящено целиком теме «невозможности дальнейшего русского романа». Только ли «романа»? и только ли «русского»? На эти вопросы должен ответить не Достоевский-художник, а Достоевский-мыслитель.

Следует, впрочем, тут же отметить, что Достоевский не только не претендовал на звание «романиста», но не слишком признавал в себе и «художника». Весьма показательным в этом смысле его письмо к поэту А. Н. Майкову (Дрезден, 9/21. X. 1870), полное жалоб на трудности, сопряжённые с писанием «Бесов»: «вообще — нет ничего в свете для меня противнее литературной работы, то есть соб-

ственно писания романов и повестей». Затем, коснувшись вкратце замысла сочиняемой книги, он прибавляет: «Безо всякого сомнения, я напишу плохо; будучи больше поэтом, чем художником, я вечно брал темы не по силам себе. И поэтому испорчу, это наверно. Тема слишком сильна. Но так как еще никто, из всех критиков, судивших обо мне, не отказывал мне в некотором таланте, то, вероятно, и в этом длинном романе будут места недурные. Ну вот и всё». Действительно ли «всё»? Только в том случае, если совершенно понятна эстетическая терминология Достоевского и его противопоставление «художника» и «поэта».

Что такое «художник» в понимании Достоевского? В первую очередь — живописец: Клод-Лоррен, Рафаэль, Гольбейн, — затем композитор: Бетховен, Гендель. Лишь тот писатель, который имеет дарование изображать словами законченные полные жизни картины, где композиция естественно направляет все детали на службу целому, тогда как целое кажется независимым живым организмом, он и только он заслуживает восхищения, которое подобает истинному мастеру. Таким художником пера был, разумеется, Пушкин. В этом отношении каждый его рассказ — шедевр: они не созданы в полётах воображения, не написаны, как басни с моралью, не подражают жизни; это сама жизнь, вечный источник откровения для человеческой души. Достоевский приводит «Пиковую даму» как пример такого установления связи между обыкновенным опытом и «тем светом». Цитируя пушкинскую повесть, он вдохновенно заключает: это «верх искусства» (Письмо от 15 июня 1880). Но соединить поэта и художника в собственном творчестве казалось Достоевскому едва ли достижимым.

Вспоминая свой разговор с Белинским об опасностях, связанных с поэтическим дарованием, Достоевский отмечал, что «поэзия есть, так сказать, внутренний огонь всякого таланта». Любой, кто обладает таким талантом, несёт в себе хотя бы искру поэзии, даже если он столяр («Дневник писателя», 1876, февраль, 2). В свою очередь, «талант»

Достоевский всегда определял как спонтанную своеобразную реакцию разума и чувств на жизненный опыт (ср., например, начало третьей части «Идиота»). С ранней юности сознавал Достоевский своеобразие своей личности и, как следствие, своего художественного таланта. Он точно знал, что его произведения появляются на свет благодаря внутреннему свечению поэтического вдохновения. Но достаточно ли было этого для того, чтобы считать, что его произведения могут быть близки к художественному вдохновению? Достоевский строго судил собственные достижения и утверждал, что его «романы» должны по справедливости называться «стихотворениями», то есть приписывал им форму, которая, по его терминологии, не требовала от автора мастерского владения композицией и искусным представлением о форме. С другой стороны, Достоевский не только себе приписывал статус «поэта»; он с лёгкостью признавал «поэтический» характер произведений многих его современников: не только «исторических романов» Толстого, но и пьес Островского и даже некоторых работ Белинского.

В 1874 г. Достоевский вкратце выразил основы своего представления об отношении между «поэтом» и «художником» в литературе так: «Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В этом дело поэта. Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут уже дело художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в этом, и в другом — в обоих случаях» (черновая тетрадь «Подростка»). Такая формулировка несколько туманна, но письма Достоевского тех же лет проясняют ее. В письме к философу Н. Н. Страхову Достоевский утверждает: «я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам»; как следствие, «множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии» (Письмо

из Дрездена, 23 апреля / 5 мая 1871). Но справедливо ли Достоевский оценивал себя? Действительно ли, как предполагал сам автор и его критики, должен он был писать соответственно с мерой и творить созвучно с установленными правилами гармонии? Как уже было показано, в конце концов Достоевский понял, что должен ответить «нет».

Ещё раньше, формулируя свои эстетические принципы, Достоевский подготовил почву для того, чтобы оправдать себя как художника в столкновении с принятыми стандартами и правилами. В статье « [Вопрос] об искусстве», которую брат Достоевского опубликовал в 1861 г. в своём журнале «Время», Достоевский подчёркивал, что его неприятие теории l'Art pour l'Art<sup>12</sup> не означает согласия с недалёким утилитаризмом. Действительно, искусство служит жизни и играет полезнейшую роль в развитии человечества, но эта польза не заметна мгновенно. Нет надёжной шкалы, по которой можно было бы судить, полезно ли какое-то произведение или бесполезно, и насколько. Следовательно, истинное его значение можно оценить лишь благодаря его внутренним достоинствам. А они определяются тем, насколько ярко конкретные художественные средства воплощают реальность современной жизни. Достоевский категорично утверждает: «Искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать». Но говоря о том, что искусство должно отражать современную действительность, Достоевский не подразумевал, что эта действительность представляет собой беспорядочное нагромождение предметов и событий, заслоняющих художника. Истинной сутью «действительности» на всяком этапе исторического существования будут конфликты и тенденции, устремления и упования, цели и идеалы определённой эпохи. Человечество неустанно стремится представить себя уже в будущем, «бесконечном, вечно зовущем, вечно новом, где тоже есть свой выс-

<sup>12</sup> Искусство ради искусства (фр.) — К. Р.

ший момент». Это безвременное совершенство. Искусство также желает раскрыть «красоту», совершенную гармонию, для которой «время остановилось». На протяжении веков показывает искусство, что высшие цели человечества возможно достичь. Указывать на это, по мнению Достоевского, и есть задача современной ему русской литературы.

Определяя задачи искусства вообще и современной русской литературы в частности, Достоевский составил в эссе 1861 г. рабочую программу для завершающего этапа своего развития. «Потребность красоты, — писал он, — развивается наиболее тогда, когда человек в разладе с действительностью, в негармонии, в борьбе». По мнению Достоевского, современная Россия «наиболее живёт», потому что его эпоха — это «время стремлений, борьбы, колебаний и веры». Так что русская литература обязана была адекватно выразить бури своего века и таким образом помочь современному человеку достичь окончательной цели. «Как, в самом деле, — спрашивает себя Достоевский, — определить, ясно и бесспорно, что именно надо делать, чтоб дойти до идеала всех наших желаний и до всего того, чего желает и к чему стремится всё человечество? Можно угадывать, изобретать, предполагать, изучать, мечтать и рассчитывать, но невозможно рассчитать каждый будущий шаг всего человечества, вроде календаря». В отношении прошлого это ещё более справедливо: «календаря и тут не составим, и история до сих пор не может считаться точной наукой» (наука в смысле французского *science* или немецкого *Wissenschaft*)<sup>13</sup>.

Очевидно, что программа 1861 г. предвосхищает заявление 1875 г. о природе романа, которое можно даже назвать эпиграммой. Однако это раннее описание того, что Достоевский считает своей художественной задачей, кажется бо-

<sup>13</sup> Английское *science* связывается, скорее, не с наукой как специальными законами мышления, а с наукой естественного или точного типа, построенной на технических приёмах. — К. Р.

лее полным, чем позднее. Второе описание затрагивает только одну конкретную область художественной формы, которой занимался Достоевский, а статья 1861 г. показывает, что он считал свою художественную деятельность скорее средством достичь целей сверххудожественных. В самом деле, в начале 1860-х Достоевский рассматривал совершенное искусство как тонкий инструмент человеческого разума, который должен заниматься тайнами исторического существования, которые уже неподвластны чисто теоретическому, понятийному познанию. Такое грандиозное понимание творчества связывало воедино Достоевского-художника и мыслителя.

Достоевский поставил перед собой задачу одновременно изобретать и раскрывать при помощи интеллектуального воображения, или, что более точно, прозревающей мысли. Этот замысел не был результатом внезапного вдохновения. Ещё в молодости, пытаясь нащупать своеобразную форму самовыражения, Достоевский помышлял о том, что его литературное творчество может стать первым образцом нового союза между метафизической мыслью и художественным видением, между абстрактным представлением и конкретным воплощением, короче говоря, между «наукой» в русском её понимании и искусством. Впервые это намерение появилось в связи с alter ego Достоевского, Василием Михайловичем Ордыновым, главным героем повести 1847 г. «Хозяйка» (возможно, прообразом Ордынова послужил друг писателя Шидловский). Как сообщает автор, Ордынова «пожирала страсть самая глубокая, самая ненасытимая, истошающая всю жизнь человека... Эта страсть была — наука». И далее он объясняет: «в душе его уже мало-помалу восставал еще темный, неясный, но как-то дивно-отрадный образ идеи, воплощенной в новую, просветленную форму, и эта форма просилась из души его, терзая эту душу; он еще робко чувствовал оригинальность, истину и самобытность ее: творчество уже сказывалось силам его; оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и созда-



ния был еще далек, может быть, очень далек, может быть, совсем невозможен!» («Хозяйка», I, 1).

«Хозяйка» не имела успеха (Белинский провозгласил эту повесть «нервической чепухой»). Спрятанное внутри её сюжета программное заявление, где Достоевский разъяснял свои сокровеннейшие намерения как мыслитель и художник, не было замечено. И всё-таки эти случайные формулировки указывают не только на своеобразие формы, но даже и на содержание будущей работы автора. Вот что он рассказывает далее об Ордынове, своём брате-близнеце: «всё... вставало перед ним в колоссальных формах и образах... слагались и разрушались в глазах его целые города... приходили, рождались и отживали в глазах его целые племена и народы, как воплощалась, наконец, теперь, вокруг болезненного одра его, каждая мысль его, каждая бесплотная греза, воплощалась почти в миг зарождения; как, наконец, он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями». Отсюда вырос набросок работы по церковной истории, и «самые теплые, горячие убеждения легли под пером его». И рассказчик размышляет: «Может быть, в нем осуществилась бы целая, оригинальная, самобытная идея. Может быть, ему суждено было быть художником в науке» (там же, II, 3).

Если рассматривать весь жизненный путь Достоевского, то станет очевидно, что «наука», в которой он молодым человеком рассчитывал преуспеть, была, прежде всего, философией всеобщей истории, которая объясняла бы появление, упадок и разрушение народов и империй. Художественное воображение с самого начала казалось Достоевскому наиболее полезным инструментом для того, чтобы проникнуть в тайну, ключ к которой могла дать история религии. Да, на первый взгляд может показаться, что все великие книги Достоевского имеют мало общего с какой бы то ни было «наукой», ни с обыкновенной историей, ни с её метафизической интерпретацией. Однако взятые вместе, они предстают сознательной попыткой обратиться к одной

и той же проблеме со многих сторон. Проблема эта была связана со значением исторической жизни, какой она представляла в России современникам Достоевского. По сути своей проблема была теоретическая, но, возникнув из реальности, которую Достоевский в послесловии к «Подростку» определил как историю в плавильном котле, она предполагала новый гибкий метод подхода к материалу и его представления, при котором «научное» расследование уступало первое место художественному прозрению. На этом представлении основан стиль Достоевского, если рассматривать его в широком смысле. Все «отступления» в его «романах», прямо или косвенно связанные с русской, европейской или всеобщей историей, должны, следовательно, читаться как необходимый элемент определённой художественной композиции. Если вспомнить, как часто эти «отступления» имеют отношение к церковной истории, легко согласиться, что их общий характер передаёт рассказанная Иваном Карамазовым «Легенда о Великом Инквизиторе». Легко можно представить, что эта история — завершение прежних мечтаний Ордынова. Но из «Братьев Карамазовых» её можно убрать, только вырезав оттуда самого Ивана.

Теперь нам ясно видно, как стиль Достоевского, если рассматривать его в широком смысле, проявляется в его своеобразных художественных средствах и приёмах. Чтобы связать философскую мысль и воображаемую реальность, Достоевский должен был найти способ изображения, где бы они обе соотносились органично. Он открыл этот способ, создав свой собственный мир, населённый мыслителями, где каждый выражает собственную философию.

Такой мир Достоевского напоминает, хотя это и кажется удивительным, мир диалогов Платона, где «старец» Сократ и его ученики постоянно исследуют проблемы, крайне важные для их эпохи и для всей судьбы эллинистической культуры. Однако философ в Платоне затмил художника, тогда как его далёкому русскому потомку удалось установить баланс между этими двумя силами, чтобы раскрыть

своё дарование и включить философские противоречия в более широкую сферу — в поэтический эпос. Таким образом, Достоевский сумел придать жизненность абстрактным идеям и системам и одновременно с этим создать образы живых людей, чьи судьбы определяли идеи и системы, которых они придерживались. Ядро трагического эпоса Достоевского — столкновения между такими индивидами, которые воплощают противоборствующие философские идеи. Их действия представляют собой последнее развитие их роковых философских маний. Помимо того, все их жизни окрашены тревогой за то, что же произойдёт с Россией и со всей христианской цивилизацией, если события, похожие на те, что описывает Достоевский и его рассказчики, пойдут своим чередом, непонятые и незамеченные.

На первый взгляд, такая книга как, например, «Преступление и наказание», в художественном отношении — самый совершенный «роман» Достоевского, читается как хороший триллер, если не обращать внимания на постоянные «отступления». Однако следует помнить, что литературные вкусы Достоевского развились из библейских историй, которые можно и нужно читать на нескольких уровнях — от уровня мудрых и просвещённых до уровня маленьких детей. Так же построен и подробный рассказ о том, как студент Родион Раскольников, сын богобоязненной матери и брат доброй девушки, дошёл до того, чтобы совершить преднамеренное убийство с ограблением и, в конце концов, впитав идеи Священного Писания, признал свою виновность, был приговорён к каторге и принял страдание как способ очиститься. Но если бы история на этом заканчивалась, мы бы признали, что её автор совершенно мастерски создаёт напряжение, тонко прописывает детали и исключительно сильно трогает читателя, но, несмотря на это, его можно только поставить в один ряд с великими романистами XIX века, с Виктором Гюго или Чарльзом Диккенсом. Его нельзя считать отдельной уникальной величиной. Но Раскольников не похож на других романических героев.

Он даже сделан не из того же теста, что толстовские Пьер Безухов или Константин Левин. Если он совершает убийство, то это не просто образец преступления, которое носит такое имя; и, следовательно, его история не равняется колоссальной басне с моралью в христианском духе. На самом деле, в «Преступлении и наказании» Достоевский вывел ужасные последствия, к которым неизбежно придёт современный индивидуализм, базирующийся на позитивизме. Раскольников — проповедник этой антирелигиозной философии, охваченный демоническим желанием соединить теорию с практикой. Это приводит к катастрофе.

Можно вспомнить, что Раскольников сам написал статью, приведшую его к краху. При помощи такого приёма Достоевский разворачивает перед нашим мысленным взором сложное взаимодействие теории и практики как в жизни, так и в его собственном искусстве. Многие другие выдающиеся личности в мире Достоевского пишут статьи или книги, как Раскольников, создают философские системы или придумывают своеобразные исторические теории. Все они должны своей жизнью ответить на вызов их «оригинальных идей» или добровольно пасть их жертвой. Таковы Свидригайлов (тоже герой «Преступления и наказания»), князь Мышкин (из «Идиота»), Шатов, Кириллов и Ставрогин (из «Бесов»), а более всего — четверо братьев Карамазовых и их отец. Причём двое из четырёх тоже пишут: это не только Иван, но и юный Алёша, который составил жизнеописание старца Зосимы. Их брат Митя может с полным правом заявлять: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди — философы» («Братья Карамазовы», Книга XI, IV). Все отношения этих «философов» с внешним миром, всё, что их разум и чувства отвечают этому миру и другим людям, всё это определяется основным уравнением, прописанным их творцом: человек = идея. Эти герои предстают перед нами не как индивидуальные личности со своими теориями, а как персонафицированные действующие идеи, или, если взять фран-

цузский философский термин, как *idées-forces* (движущие силы (*фр.*), букв. «идейные силы» — прим. перев.). Иначе говоря, если у других романистов этой эпохи интеллектуальная энергия героев — это часть и свойство их естественного психологического склада, то здесь, напротив, их психологическая жизнь оказывается полностью подчинена и приспособлена к какой-то заданной идее. Можно сказать, что весь мир Достоевского — это огромная экспериментально-философская лаборатория.

Но всё же это «мир», соответствующий требованиям литературного реализма, а не фантастический сгусток туманностей, населённых призраками. На каких же основаниях воздвигло этот мир творчество Достоевского?

Эти основания должны быть техническими архитектурными приёмами.

Прежде всего, в соответствие с теорией, которую Достоевский развивал в 1861 г., он позиционирует себя как хрониста своей эпохи. Все странности и ужасы, которые происходят в его книгах, происходят во время правления Александра II и крепко привязаны к этой временной рамке. Достоевский скрупулёзно сохраняет приметы времени и места. Он всё время стремился быть «верным жизни». Прежде чем написать главы, в которых действие разворачивается, скажем, в монастыре, Достоевский внимательно изучал место представляемых событий. Пусть Достоевский-мыслитель сталкивал новые и непривычные идеи — Достоевский-художник заявлял о своей установке на реализм, пусть и «**в более высоком смысле**», и для него всегда было важно наложить новое на уже знакомое старое. В «Преступлении и наказании» Достоевский выводит олицетворение современного индивидуализма, лишённого моральных терзаний, — но Раскольников, несчастный предвестник российского бонапартизма, не показался бы настолько реалистичным, если бы он не был умело противопоставлен умнейшему Порфирию Петровичу, традиционалисту, приверженцу установленных закона и поряд-

ка, который исследует как преступление, так и стоящую за ним преступную идею.

Кроме этого, реалистический эффект, возникающий, когда разыгрываются встречи между этими персонифицированными идеями, усиливается ещё при помощи различия, которое Достоевский нарочно подчёркивал, — различия между автором и многочисленными рассказчиками внутри его произведений. Разумеется, это не новая выдумка. Этот приём известен уже давно; Достоевский в «Бедных людях» воплотил его в серии писем. Однако позднее Достоевский, очевидно, колебался между традиционной техникой письма, при которой автор отождествляет себя со всезнающим повествователем, и другой — намекнуть читателю, что автор передаёт ему слова какого-то третьего лица. «Преступление и наказание» написано в технике всезнающего повествователя и в целом наиболее близко к привычному виду романа, но все более поздние шедевры Достоевского вводят каждый собственного хрониста-рассказчика, который одновременно передаёт и комментирует события. В некоторых случаях, особенно в «Бесах», комментатор скрывается под маской определённого персонажа, причастного к этим событиям. Достоевский вставляет между собой и описываемыми «случаями» никому не известного автора-призрака, что часто не лучшим образом сказывается на композиции. Но этот приём имеет двойную цель: во-первых, плоды умозрительного воображения автора не кажутся теперь уже выдумкой. Во-вторых, когда автор отступает от повествования, появляется возможность добавить туда наблюдения персонажей, которые строят догадки по поводу происшедшего, поклявшись свидетельствовать и выступать непредвзято. Таким образом выстраивается рамка, в которой разворачивается сюжет, как если бы читатель наблюдал за ним глазами рассказчика изнутри повествования. Этот рассказчик, якобы совершенно самостоятельный, раз за разом напоминает о читателю, что перед ним не художественный текст, а действительная жизнь. Достоевский вводит новое

измерение в геометрию созданий своего художественного воображения, усложняет их строение, делая их более реалистичными. Благодаря этому большинство последних произведений Достоевского выглядят как серия рассказов о реально произошедших громких делах.

У мыслителя и художника Достоевского был единственный источник вдохновения. Как уже упоминалось, это были судьба и будущее христианской цивилизации. Так же, как Ордынцов, герой его молодости, Достоевский был погружён в созерцание «целых слов», «целых созданий», стремясь достичь своего идеала и стать «художником в науке», или, говоря точнее, художником в моральной философии, основанной на общей философии истории. Невозможно составить правильное представление о своеобразии творчества Достоевского, если не следить за хронологией появления его работ. Неизменным их предметом был единственный в своём роде вопрос — поиск пути из морального и духовного лабиринта, в который превратилась его эпоха. Для этого следовало ярко обозначить все его грехи и опасности, а затем сопоставить их с менее заметными, но не менее реальными возможностями спасения, которые также заключены в человеке.

Безвременная смерть не дала Достоевскому возможности увенчать свой жизненный труд всеобъемлющим сочинением, которое он уже обдумывал и благодаря которому могла бы разрешиться величайшая проблема художественного сознания писателя: как реалистично показать жизнь «просто хорошего человека». В самом деле, Достоевский ни разу не справился с этим заданием. Блаженный «идиот» ещё до убийства отходит на второй план; старец Зосима при всей своей интуиции не предотвращает убийство Карамазова-отца; наконец, можно только гадать, что же произошло с зосимовым учеником Алёшей, когда тот ступил на скользкие мирские пути. Книга, которая дала бы нам ответ на этот вопрос, которая продолжила бы последнее великое произведение Достоевского, венец его творческой ра-

боты, так и не была написана. Видимо, Достоевский правильно предполагал, что гармоничная композиция — неподходящий инструмент для выражения его творческой установки и задачи.

В результате, в творчестве Достоевского слышен пульс действительной жизни — но этот мир колеблется на грани отчаяния, потому что, как чувствует Достоевский, в самом сердце этого мира коренится жестокая болезнь. Воображение писателя было постоянно приковано к этой действительности, единственной и единой для всех. Это неустойчивый мир, измученный отсутствием духовных ориентиров, мир, которому грозит всеобщее безумие — и где никто не сознаёт, какие опасности лежат впереди. Столкнувшись с такой действительностью, Достоевский понял, что как мыслитель, так и художник в нём должны взяться за лечение века. Произведения Достоевского, как собрание летописей, показывают с разных углов разные стороны этого смутного времени. Их также можно читать как отчёты, написанные кем-то из первооткрывателей социальной психиатрии. Неслучайно многим жителям мира Достоевского легко поставить клинический диагноз, а относительно других (например, Настасьи Филипповны из «Идиота» или Ставрогина из «Бесов») повествователи могут по велению автора сомневаться в том, не стоят ли за их действиями приступы сумасшествия. Это ещё один приём, который Достоевский использовал, чтобы уверить читателя, что созданный им мир не выдуман, а подчиняется реальным законам здравого смысла. Но даже то, что сумасшествие оказывается среди этих законов, подразумевает, что ненормальность — это примета времени, симптом «расстроеного... света»<sup>14</sup>.

Однажды утвердившись на конкретной исторической действительности, Достоевский мог теперь ненавязчиво переплетать конкретное и абстрактное, выстраивая целую

<sup>14</sup> Шекспир В. Гамлет, принц Датский. I:5. Пер. М. Загуляева. — К. Р.



галерею предосудительных философий. Только страстный и бешеный Рогожин (из «Идиота»), убийца, который по хронологии творчества Достоевского стоит близко к Раскольникову, не обременён даром красиво формулировать мысли, но на самом деле он не более чем антагонист Мышкина, бесстрастного «рыцаря бедного». Функция Рогожина в произведении — показывать, что добрым и прекрасным людям угрожают смертельные опасности, если они страдают от бессилия и неспособны решительно действовать. В этом исключительном случае требования реализма заставили Достоевского отказаться от своего любимого идеала, признать своё поражение и смириться с тем, что его герой будет всего лишь размытой тенью, олицетворением идеи добра. Тем более поражает то, как Достоевский атакует в своём творчестве те идеи, которые воплощают, по его мнению, суть зла. Так, образ Раскольникова раскрывает эгоцентрический индивидуализм, а образ Ставрогина, воля ради воли, сурово предупреждает против волюнтаризма нового времени, когда отсутствуют моральные идеалы, так что дело заканчивается пустыми нападками на интеллектуализм и самоубийственным скепсисом. В одном ряду со Ставрогиным стоят другие одержимые персонажи. Они воплощают идеи крайнего атеизма, который обожествляет человека (Кириллов), поклонения силе (Верховенский-младший), безответственного романтизма (Верховенский-старший), языческого племенного национализма (Шатов) или сумасшедшего эгалитаризма (Шигалёв). Чтобы разобраться в подобных системах идей, которые действуют в следующих книгах Достоевского, нужно обратиться к Достоевскому-мыслителю. Но даже без путеводителя-философа сложно потеряться в лабиринте, настолько умно он спланирован. В воздухе витают чарующие загадки, лица людей погружены в рембрандтовские сумерки, их напряжённый, лихорадочный взгляд тревожит и будоражит разум, но ни один из тех, кто сумеет проследовать за автором по тропе несчастий не пожела-

ет, чтобы прекратился этот волшебный, ни на что не похожий путь, пока сам путеводитель не выведет его в привычную жизнь. А потом путешественника охватывает такое чувство, будто бы он только что пробудился от кошмара, или, скорее, вернулся домой из крайне странной экзотической страны.

Действительно ли мир Достоевского напоминает Российскую империю второй половины девятнадцатого века? Иначе говоря, можем ли мы наконец прочитать книги Достоевского, эту выставку кошмаров, как собрание «исторических романов»? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, следует вспомнить, что одной из творческих целей Достоевского всегда было изобразить свой век и таким образом спасти его, показав его отражение в сияющем зеркале искусства. Но следует также помнить и то, что в глазах Достоевского суть его века, как и любого другого, не выражалась в чём-то твёрдом и ясно различимом. Главным в каждой эпохе были те нарождающиеся элементы, которые незаметно зрели в тёмной глубине повседневной жизни. Художник должен был вывести их на свет искусства. Все главные герои Достоевского показывают будущее своего века, дурное или хорошее. Однако эти герои неизбежно оказались бы аллегорическими символами абстрактных философских идей, если бы Достоевский, благодаря своей творческой пронизательности, не окружил их со всех сторон реалистичными персонажами, которые не воплощают ничего, кроме историй их собственной жизни. Между двумя группами персонажей возникает убедительное взаимодействие, и именно благодаря ему складывается общее впечатление того, что мир Достоевского — это настоящая, необработанная историческая действительность.

Среди персонажей «второго класса», если можно их так назвать, выделяется толпа назойливых советников и сплетников, которых писатель создаёт, чтобы сделать сюжетную сетку более густой и представить совпадения как возможные. Эти персонажи любят поговорить и часто носят птичьи фамилии

(например, Лебедев из «Идиота»). Они словно бы парят над происходящим и ведут рассказ о событиях с высоты птичьего полёта. Такие фигуры часто смешны и жалки, но они придают повествованию нотку юмора, иронии и сатирической мудрости. Из этой семьи происходят отец Сонечки (из «Преступления и Наказания») и Карамазов-старший. Но более всего поражает то, что их язык и тон их голоса очень похожи на интонации рассказчиков в тех же произведениях, или даже больше: напоминают собственный стиль автора, который Достоевский использует в нехудожественной прозе (например, в «Дневнике писателя»). Это значит, что, следуя требованиям реалистического искусства, Достоевский не прочь был нарочно смешивать трагедию и комедию. Под маской шута он вводил в хоровые композиции своих работ собственный подсмеивающийся голос.

Отдельный вопрос — это дети и женщины в творчестве Достоевского.

Что касается самых младших его персонажей, то очевидно, что в мире, который очарован будущим, самые юные оказывается самыми важными фигурами. И действительно, в последних работах Достоевского дети оказываются в самом центре событий, так что в конце концов они получают свой апофеоз (в эпилоге «Братьев Карамазовых»). Конечно, культ ребёнка в творчестве Достоевского объясняется и другими соображениями, например, невинностью и чистотой ребёнка, его незащищённостью, тем, как он инстинктивно требует сочувствия. Достоевский превосходно изображал горести мира и более всего — неотомщённое страдание. Поэтому сила его воображения часто сосредотачивалась на ангельских личиках юных детей. При этом решающим здесь оставалось сознание того, что Достоевский изображал переходную эпоху, открывавшую множество возможностей. В любом его произведении дети — это надежда на будущее.

Отдельная тема, и к тому же довольно сложная, — это изображение Достоевским женщин. Ему было невероятно

трудно добиться художественного признания — в том числе, несомненно, потому что он не добавил ни одного шедевра к богатому набору женских образов, созданных русскими писателями, начиная с Пушкина и Лермонтова и заканчивая Тургеневым и Толстым. Среди героев первого плана у Достоевского молодые люди каждый предстают как индивид с собственным характером и задачами, но ни одна женщина, которая соприкасается или, вернее, противостоит им, не несёт знамени «оригинальной идеи». В мире Достоевского идеи обретают тела и сталкиваются насмерть в апокалиптической борьбе, пытаясь одолеть друг друга. Женщины здесь — не более чем вспомогательное средство. То, что они исключены из рядов войск, вполне реалистично. Возлюбленные и любящие, женщины у Достоевского могут быть самое большее катализаторами, раскрывающими внутренне строение мужского разума. Матерей можно хвалить за хорошие инстинкты их сыновей и порицать за плохие. Наиболее сильные женские образы у Достоевского своенравны, влюблены в собственную гордость и не умеют прощать (как Катерина Ивановна из «Братьев Карамазовых»); наиболее привлекательные самоуничижаются, они покорны и похожи на детей (Соня из «Преступления и наказания», Даша из «Бесов» и Аглая из «Идиота»); а если женщина воплощает красоту (не идею красоты, а совершенную красоту как таковую), как избранница «идиота», несчастная Настасья Филипповна, она обречена пасть жертвой или игр своего больного рассудка, или мужского насилия. Что же касается сплетников женского рода, то кажется, будто у Достоевского они бесполы так же, как и их собратья-мужчины, так что вместе они составляют сферу смешного в творчестве мастера.

Однако, если Достоевский обходит женщин вниманием в своём художественном творчестве, это не значит, что мы наблюдаем здесь развитие его женоненавистнической теории. Общее представление Достоевского о современной жизни и её динамике включало в себя идею того, что такая

жизнь несовместима со счастьем или просто стабильностью в человеческих отношениях вообще и в любви в частности. Так как же мог он в этом мире неисполнимой любви произвести женщину в реалистическом смысле, которая, не теряя своего женственного характера, воплощала бы что-то более или менее конкретное, чем томление по безвозвратно потерянному раю любви? Вокруг неё кишели бы «оригиналки», многие из которых нарочно придерживались целибата, так что она показалась бы одинокой, отъединённой и совершенно непредсказуемой. В целом, женщины у Достоевского обозначают природу, преданную и покинутую человеком, оставленную на откуп слепым силам. В человеческой жизни эта сила яростнее всего проявляет себя в недочеловеческом, как бы насекомом сладострастии, увековеченном как фамильная черта Карамазовых.

В этом смысле оказывается важным, что Достоевский почти не обращал внимания на социальную структуру той среды, в которой он предоставлял развиваться своим стремительным сюжетам. Неважно, разворачивается ли действие в Санкт-Петербурге, столице империи, или где-то в провинции, — всюду общественные различия теряют свою значимость. Герои драматических событий существуют и преследуют свои цели в смешанном обществе, где наследственные порядок и иерархия разрушены настолько, что последние легко становятся первыми и наоборот. Воздух здесь пронизан ужасным ощущением грядущей общественной катастрофы. Не зная и совершенно не желая этого, Достоевский дал читателю возможность ощутить гул готовящейся российской революции почти за полвека до того, как она произошла.

Русская критика иногда порицала Достоевского за серость его прозы. Утверждалось, что диалог Достоевского, остов всего повествования, страдает от того, что его участников невозможно отличить друг от друга по их речи. Кажется, будто весь текст представляет собой один бесконечный монолог, который читается голосом и интонаци-

ей автора. Однако любой, кто подходит к Достоевскому без предрассудков, а особенно тот, кто читает художественную прозу Достоевского в оригинале по-русски, пожмёт плечами, услышав такие нелепые заявления. Можно лишь заметить, что предрассудки ведут не только к слепоте, но и к глухоте. Тем не менее, следует задаться вопросом, какая черта художественного стиля Достоевского могла вызвать это впечатление монотонности там, где слышны множество оттенков интонации, манеры и ритма речи. Как, например, можно было не услышать различия между неподражаемым стаккато Кириллова и прыгающим, содрогающимся разговором его собрата по «Бесам», Верховенского-младшего? Кажется, что ошибки чтения и слуха вызваны по большей части тем, что автор обычно позволял темпу и высоте своего личного внутреннего голоса проникать в речь его персонажей: «хронистов», «сплетников» или даже главных героев его труппы. А это кажется лишь очередным проявлением художественного своеобразия Достоевского.

Как все творческие натуры, Достоевский подпитывал своё воображение с помощью опыта. Однако в применении к художественной деятельности слово «опыт» имеет несколько значений. Один художник чаще обращается к внешнему опыту, воображение другого питается главным образом его собственной внутренней жизнью; и только в редких случаях сам процесс художественного творчества оказывается наиболее плодотворной сферой деятельности художника. Но именно так и произошло с Достоевским, художником, который, как сам он считал, сочетал «поэта» с писателем «романов».

Вспомним, как он определял задание поэта: «надо запастись прежде всего, — утверждал Достоевский, — одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно»<sup>15</sup>. Опыт, пришедший из внешнего мира, и глубочайший внутренний отклик на него казались

<sup>15</sup> Из черновиков к «Подростку».

Достоевскому одинаково важными. Но потом «уже дело художника», хотя поэт продолжает трудиться совместно с ним. В этой формуле кратко выражено своеобразное переживание, которое Достоевский испытывал на последних этапах реализации художественного замысла. Поэтическое в нём, источник его необъяснимого вдохновения, не покидал Достоевского до самого конца творческого процесса и непрерывно стимулировал его воображение. При письме Достоевский не срисовывал ряд сцен или образов, которые уже стояли готовыми перед его внутренним взором, как если бы его задачей было только передать их правильным сочетанием слов; во время работы над романом он часто не спал ночами, потому что именно тогда он испытывал важнейшее эстетическое переживание. Во время этого бодрствования воображение писателя часто обретало почти волшебные силы: придуманные ранее сцены представляли перед ним в реальном пространстве и времени; видения сменяли друг друга, отдельные образы собирались, уплотнялись и глядели на своего создателя взором галлюцинаций. Под воздействием этого необыкновенного визионерского переживания, которое искренне описал сам Достоевский, стиралась грань между внешним и внутренним миром. Соединение двух миров — отличительный признак творчества Достоевского.

Как мы видим, творения Достоевского реалистичны, потому что они берут начало в истинном писательском переживании автора. Его персонажи не производят впечатления выдуманных образов или синтетических продуктов, собранных из обрезков опыта, принадлежащего определённому типу людей, потому что они живыми появляются прямо из души своего творца. Прежде чем Достоевский выпустил их из ада своего кабинета или чистилища своих страниц, они уже могли двигаться, разговаривать и свободно действовать. Начальные указания автора не удерживали их твёрдо. И что ещё более важно, в рамках творческого процесса Достоевский как художник и как мыслитель отождествлял себя с каждым своим персонажем. По мере того,

как они органически росли внутри его души, художественная воля писателя всё более отступала перед их внутренней сутью и истиной. Все они живы. Потому что Достоевский оживил их силой своей поэзии и осветил их своим экстатическим светом.

Может быть, уместно будет привести здесь несколько примеров. Как только стала известна «Исповедь» Ставрогина, ненапечатанная глава из «Бесов», возникли слухи, что описанное преступление было совершено самим Достоевским (см. гл. I); главным аргументом в поддержку этой теории был необыкновенный «реализм» описания, якобы указывавший подспудно на события, которые автор действительно пережил. Очевидно, клеветники не приняли в расчёт то, что Достоевский располагал неистощимым источником опыта, совершенно недоступного людям, не наделённым животворящей силой его воображения. Разве менее реалистично описание убийства, совершённого Раскольниковым, и все его жуткие детали? (См. «Преступление и наказание», ч. I, VII). Или же спор между Иваном Карамазовым и его «дьяволом» не вызывает то же волнение, что и реальный диалог? (Кн. XI, IX). Несомненно, всё это отражает действительный опыт автора, но автора такого, который обладал гигантской силой, позволявшей ему отождествить себя с убийцей, занёсшим над жертвой топор, с распутником, соблазняющим маленькую девочку, или с расколотой личностью, такой как Иван, ведущей разговор со своим демоном, — но также и со святыми, с женщинами, детьми, и конечно же, с самим собой.

Но несмотря на непревзойдённую художественную способность безмерно растягивать границы своего личного опыта, Достоевский никогда не встречался с опасностью потерять свою собственную личность. Он оставался сам собой, невзирая на все причуды своей разветвлённой мысли, и до самого конца сохранил целостность союза между художником и мыслителем, воплощённого в его уникальной личности.



---

### III. МЫСЛИТЕЛЬ

*Стыдиться своего идеализма нечего...  
«Дневник писателя», октябрь 1876*

Своеобразие мышления Достоевского было признано позже, чем даже значимость его выдающегося художественного таланта. В обоих случаях признание не приходило так долго во многом потому, что в обществе господствовали принятые стандарты выражения. Художественные произведения Достоевского словно бы пренебрегали минимальными требованиями соответствия традиционной форме романа, а его философская мысль выражалась таким образом, что профессиональным мыслителям той эпохи, по большей части профессорам философии, мышление Достоевского показалось бы расплывчатым и безответственным. Тогда, во второй половине 19-го века, Кьеркегора ещё не открыли, Ницше называли самое большее поэтом, а внутри России Толстого считали скорее проповедником, чем мыслителем.

Однако к концу века слава Достоевского как писателя постепенно укрепилась и стало возможно обратиться, пусть и не совсем уверенно, к тому, чтобы отдать Достоевскому должное и как своеобразному мыслителю. Но тех, кто, как, например, В. В. Розанов, сознавали важность систематизации интеллектуального наследия Достоевского, останавливало то, что сам мыслитель так никогда и не пытался связно представить основные свои философские идеи. Элементы философского мировоззрения Достоевского, по крайней мере, те, что подписаны его собственным именем, разбросаны по его публицистике (статьям и заметкам, которые Достоевский с 1860 г. публиковал в нескольких журналах, включая собственный его ежемесячный «Дневник писателя»), появляются в письмах и записях его личных бесед. Отобрать все важные фрагменты и выстроить из них целую систему было бы нелегко само по себе. Но главной проблемой было то, что мыслитель и художник в Достоевском были неразрывно связаны, так что невозможно понять, где начинается один и заканчивается другой.

Действительно, здесь уже говорилось о том, что художественное творчество Достоевского пропитано философскими размышлениями. Многие из его первостепенных персонажей — это ожившие философии, которые научились дышать, двигаться и действовать. Разве это не означает, что, по крайней мере, некоторые из этих персонажей, поодиночке или вместе, — это рупоры автора, которые выражают мысли, схожие с его собственными? Так действительно думали многие русские и иностранные критики, которые с начала этого века стремились точно оценить достоинства Достоевского-мыслителя. Практически все они занимались тем, что смешивали самые главные черты мировоззренческих позиций, которые выражены в некоторых художественных образах Достоевского (это может быть и «идиот» Мышкин, и святой Зосима, и Шатов, наполовину одержимый его «бесами»), и выдавали его за верное представление собственной авторской «системы», выстроенной

после того, как его творчество было полностью исследовано. Во всех этих случаях считалось, что выбранные персонажи ближе всего сердцу автора, а следовательно, они думают то же, что и он. Очевидно, что такой подход чрезмерно упрощает проблемы.

Без сомнения, убеждения, мысли и высказывания персонажей Достоевского отражают его философские воззрения; но разве возможно отыскать в созданном им мире пусть даже не полный портрет, но хотя бы силуэт Достоевского? Во многих его персонажах можно узнать ту или иную авторскую черту, но их биографии никогда не повторяют его жизненный путь. Большинство персонажей Достоевского сложны и кажутся необъяснимыми, однако сам Достоевский — ещё более сложный характер, ещё большая загадка, даже для него самого. Главной загадкой, конечно, являются те этапы, которые мысль Достоевского прошла в своём развитии. За десять лет до смерти Достоевский провозгласил, что, сколько бы человек ни пытался донести до других какую-нибудь «новую мысль», суть этой «идеи» всегда будет невысказанной, «хотя бы вы исписали целые «томы» и растолковывали вашу мысль тридцать пять лет» (Ср. «Идиот», ч. III, конец гл. V, литературная деятельность Достоевского занимает в точности тридцать пять лет, и задолго до конца он предвидел, что умрёт шестидесяти лет от роду). Следовательно, прежде чем судить о философии Достоевского на основе его художественных произведений, следует остеречься, чтобы избежать упрощения.

Если верно, что Достоевский занимает отдельное место в истории человеческой мысли, то стоит также предположить, что своеобразие его мышления тесно связано с особенностями его творчества. Истинное значение этой связи можно определить, только задавшись вопросом, действительно ли мир, созданный воображением Достоевского, полностью и обязательно соответствует фундаментальным чертам мышления писателя? Кажется, ответ можно найти, если верно оценить своеобразие творчества Достоевского.

Вспомним, что уже в начале своего творческого пути Достоевский выразил глубинное желание стать «художником в науке». «Наукой», которую он стремился развить при помощи художественных средств, была последовательная система моральной философии, основанная на общей философии истории. Окрыленный этой целью, Достоевский сумел обогатить литературу, ввести в неё новый синтез конкретной образности и абстрактной мысли. Так разве не справедливо будет признать, что именно эта характерная черта его творчества позволит объективно воссоздать мировоззренческие теории Достоевского и что его параллельно с развитием его мысли усиливалась активность его воображения? Легко допустить, что по мере того, как идеи Достоевского развивались, он не поверял свои глубинные мысли специально избранным персонажам, а сводил их всех в некое значимое целое, где каждый персонаж соответствовал какому-то аспекту его философской системы. В любом случае, не стоит поспешно отбрасывать такое предположение только потому, что персонажи Достоевского, как кажется, часто воплощают непримиримые точки зрения, противореча друг другу. На вопрос, как идеи одного и того же мыслителя могут представлять, например, все братья Карамазовы, не исключая Смердякова, можно ответить, если допустить, что Достоевский не стремился поверять суть своей «новой мысли» какому-то конкретному персонажу, пусть даже Ивану или Алеше. Тем не менее, эти персонажи были ему нужны, потому что все они представляют различные повороты его диалектического мышления.

В этом смысле полезно будет ещё раз обратиться к сравнению Достоевского и Платона. Как можно понять, кто из персонажей платоновских диалогов выражает мысли автора, а кому назначено играть адвоката дьявола? Всегда ли Сократ, духовный отец Платона, будет тем же самым человеком, что и Сократ, порождённый его разумом и воображением? А Платон — всегда ли его мысли будут озвучивать Сократ, или это будут делать и Горгий, и Протагор, и Пар-

менид? Однако, несмотря на все эти вопросы и сложности, никто не сомневается, что все диалоги отражают философские взгляды Платона и их развитие. Вполне может быть так, что мышление Достоевского так же относится к его художественному творчеству, как мысль Платона к его диалогам? Ясно, что воображение Достоевского подчинено законам симфонической диалектике. Тогда правильно будет сравнить его с дирижёром в оркестре, который сам не играет ни на одном инструменте, но, несмотря на это, поворачивается спиной к публике, взмахивает своей волшебной палочкой и извлекает из каждого инструмента особый присущий только ему звук, часть от общего звучания оркестра. Но даже такое сравнение недостаточно точное. Достоевский создаёт себе оркестр силой своего воображения, так что для этого произведения он одновременно дирижёр и композитор. Следовательно, его личные мысли и особенности его мышления можно понять только по тому, как вся композиция целиком передаётся через индивидуальный стиль дирижёра<sup>16</sup>. Это общее методологическое представление определяет наш последующий анализ.

Первым вопросом будет, хватало ли Достоевскому знаний, чтобы заложить философские основания для своего художественного творчества. На это легко ответить. Мы знаем, что уже в юном возрасте Достоевский интересовался связью между поэзией, философией и религией. Позднее Достоевский внимательно изучал классическую философию; его восхищал немецкий идеализм, особенно система Гегеля. В сибирской ссылке Достоевский даже намеревался перевести некоторые произведения Гегеля на русский.

<sup>16</sup> Образ Достоевского как дирижера оркестра возник у Штейнберга еще в первой книге (ФС. С. 39); он ссылается на него в письме Ф. Каплан в 1965 г.: «Именно потому Достоевский и есть систематик, что в мысли его господствует симфоническая диалектика, что движения его мысли — ритмические взмахи волшебной палочки дирижера: он, как настоящий дирижер, поворачивается спиной к публике и безмолвно повелевает всему многообразию голосов, из них создавая оркестр и хор».

В последние годы жизни Достоевский всегда держал в своей личной библиотеке собрание сочинений Платона. Разумеется, философские занятия Достоевского включали в себя философию истории, но помимо этого Достоевский изучал собственно историю на всех доступных ему языках. Первый его биограф, Н. Н. Страхов, который сам занимался философскими исследованиями, отмечает, что Достоевского всегда привлекали «вопросы касательно сути вещей и пределов знания», и его всегда «радовало», когда ему указывали, что главные его идеи напоминали «различные философские мысли, известные из истории философии». «Оказывалось, — заключает биограф, — что сложно было придумать что-то новое; и Достоевский шутивно убеждался, что мысли его не хуже, чем у каких-нибудь великих философов».

Важно здесь, конечно, не то, что Достоевский-мыслитель наивно стремился «изобрести» что-то совершенно новое, а как раз обратное: что для Достоевского было важно знать, что его интеллектуальная интуиция гармонично сочетается с записанной историей человеческой мысли. Достоевский был хорошо знаком с этой стороной всеобщей истории, а значит, невозможно сомневаться, что его обширные знания сильно повлияли на то, как постепенно оформились его основные философские взгляды. Но можно ли точно установить, какая именно философская традиция определила развитие мысли Достоевского и то, что эта мысль будет главенствовать над его творчеством?

Важное место в произведениях Достоевского занимают «идеи», представленные как реальные сущности. Это явно указывает на то, что Достоевский находился под влиянием платоновской метафизики и в собственных размышлениях исходил из платоновской теории идей. Это подтверждается тем, что во всех своих произведениях, художественных и не только, Достоевский внимательно исследовал само слово «идея», придавая ему собственное значение. Конечно, он часто использует это слово и в более привыч-

ном смысле: как идеал, замысел, принцип или вообще абстрактная мысль; но во всех тех случаях, когда Достоевский хочет сосредоточить внимание на истинной сути отдельного человека, целого народа или духовной традиции, он обязательно использует термин «идея» в метафизическом, платоновском смысле. Поэтому совершенно естественно, что Достоевский определял своё мировоззрение как «идеалистическое», а в сфере искусства этот «идеализм» выступил как философская основа для его «реализма в более высшем смысле».

В тогдашней России, да и во всей Европе позитивистские и материалистические тенденции владели умами, особенно молодёжи. Однако Достоевский неустанно повторял, что «идеализм, в сущности, точно так же реален, как и реализм, и никогда не может исчезнуть из мира». «У идеалиста... и реалиста — объяснял Достоевский, — один и тот же объект — человек, только лишь одни формы представления объекта различные» (Дневник писателя, 1876, июль-август, гл. 2, III). Подобные высказывания часто можно встретить в публицистике Достоевского 1870-х годов; их кульминацией становится «Речь» о Пушкине Достоевского в 1880-м. Однако он и раньше настаивал на значимости идеалистической философии, включая античную метафизику. Весь мир, созданный воображением писателя, функционирует как новая самостоятельная реальность, законы которой естественные науки пока не могут объяснить. Достоевский не отрицает общие принципы, которые регулируют естественный ход вещей, как, например, связь между причиной и следствием. Но в своих художественных произведениях он показал, что между людьми, между человеком и его «идеями», между самими «идеями» существуют совершенно реальные связи, о которых обыкновенная наука ничего не знает и не должна судить. Таким образом, художник ограничил власть, как он сам говорил, «чугунных понятий» и открыл для философии путь, который полностью противоречил всем разновидностям главенствовавшего то-

гда «сциентизма» и был близок, с одной стороны, классическому идеализму, а с другой — христианской традиции.

По Достоевскому, обе традиции сходились в идее бессмертия человеческой души, которую он воспринимал очень лично. «Идея о бессмертии, — писал он в 1876 г., — это сама жизнь, живая жизнь, её окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества». Что бы ни означало это утверждение, оно без сомнения указывает на то главное, что составляет для Достоевского «окончательную формулу» его собственного существования, индивидуальный итог его художественного и философского опыта. Если внимательнее присмотреться к контексту, который окружает цитированное выше предложение, и к другим схожим утверждениям, которые датируются теми же годами, то окажется, что долгие поиски центральной точки в мышлении Достоевского наконец завершились. Достоевский сам нашёл её, определив как «необходимую уверенность», что «бессмертие существует несомненно» (Ср. Дневник [писателя], 1876, октябрь, гл. IV; декабрь, гл. I, III; и письмо Н. А. Озмидову от февраля 1878).

Теперь, когда он обнаружил свою личную «идею», сущность своей души, то есть нерушимость собственной индивидуальной души, Достоевский позволил своему воображению создать странный, едва ли не сверхъестественный мир. Материальный мир был наполнен эфемерными феноменами, ограниченными пространством и временем. Мир произведений Достоевского отличался от мира материального, но он был не менее действителен, чем настоящая реальность, человеческая душа. Отождествляя себя с «идеей бессмертия», Достоевский намеревался доказать это своё глубочайшее убеждение, разворачивая логически связную аргументацию. По-видимому, он собирался использовать некоторые доводы Канта и применить «трансцендентальный метод» дедукции. Однако для Канта одинаково важны были «трансцендентальные идеи» Бога, свободы и бессмертия, а Достоевский выделил одну из них как истинную



основу двух других. По Достоевскому, человек интуитивно сознаёт, что действительно существует бессмертная душа, сущность, нематериальная по определению. Это доказывается также непосредственным опытом. Без этого осознания невозможна вера в существование Бога, и только на его основании приобретает значение истинная свобода человека. В этом отношении мысли Достоевского сходны не столько с критическим идеализмом Канта, сколько с идеями Платона и метафизического реализма вообще.

Как Платон, так и Достоевский под «идеями» понимали реальную вещь, в отличие от теней. Достоевский чётко различал между «идеями» и общими понятиями, полученными в результате обобщения (Ср. «Дневник», 1876, октябрь, гл. I, II). «Идея» для Достоевского была настолько же реальна, как и конкретная человеческая душа. Каждая душа по сути своей уникальна, неделима и единична во множестве своих проявлений. Наиболее ясно и полно душа выражается при помощи идеи, действие которой может осознаваться или не осознаваться. «Есть идеи, писал он в статье о «философии среды», — невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, — до тех пор только и может жить сильнейшею живую жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни» («Дневник», 1873, № 2). Эти несколько строчек ёмко выражают общую теорию идей Достоевского. Как видно из них, в системе Достоевского идеализм был способен разгадать загадки индивидуальной жизни или жизни народа и приоткрыть истинное значение всеобщей истории.

Достоевский сознавал, что его идеалистическое мировоззрение в корне несовместимо с философской ситуацией века. В защиту своих главных идей он разработал ряд отточенных афоризмов, например: «Можно очень много знать

бессознательно», «идеи заразительны», «идеи живут и распространяются по законам, слишком трудно для нас уловимым» или, например «одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку» («Дневник», 1876, декабрь, гл. I, III и март гл. I, IV; 1873 № 2). Из этих утверждений становится ясно, что Достоевский соглашается с Платоном и безусловно верит в существование некоей сферы идей, живущей по собственным «законам», независимо от привычного нам мира и всё-таки в тесной связи с ним, вместе, как душа существует по отношению к телу. Любой вид идеализма, который делит мир на реальную часть и на идеальное «прекрасное и высокое», Достоевский отрицал, считает, что такой космический романтизм обязательно вырождается в безответственный «цинизм» («Дневник», 1876, июль-август. гл. 2).

Но как же описать внутреннее строение царства идей, придуманного Достоевским? Как это царство соотносилось с физическим космосом?

Кажется, что ответом на оба вопроса может стать инстинктивный панпсихизм Достоевского. Вкупе с не менее спонтанным панперсонализмом он пронизывает все творения писателя. Достоевский подсознательно чувствовал, что всё сущее, что выказывает индивидуальный характер, тем самым является одухотворённой сущностью. Главным примером для Достоевского было человеческое тело как обиталище бессмертной души. Эта душа уникальна так же, как индивидуально человеческое лицо, и в её чертах вырезана идея, связывающая её с вечностью. У человеческих общностей, городов и институтов, по Достоевскому, так же можно найти некую «душу», если в процессе истории они раскроют свой индивидуальный характер, который выражается особой «идеей». Эта черта философии Достоевского, несомненно, развилась под влиянием немецкого посткантианского идеализма. Её можно связать не только с философией Гегеля, но и Фихте, и Шеллинга, хотя два по-

следних мыслителя не согласились бы с тем, как их смелый последователь интерпретирует на русской почве их метафизику в гиперреалистическом ключе.

Не страшась того, что современники с научным складом ума обвинят его в увлечении «мистическими» размышлениями, Достоевский ко всей сфере исторической жизни применил то типичное отношение, которое, в соответствии с его общей теорией идей, связывает тело, душу и идею в жизни индивида. По мнению Достоевского, уникальная идея индивида является выражением его души, а душа, в свою очередь, становится началом органического единства живого тела, которое ею движется. Точно так же народ имеет историческую миссию, утверждающую его отдельную «идею», бессмертную душу и тело — т.е. предназначенную ему родину. Говоря о различии между Петербургом и Москвой, Достоевский подчёркивал, что «душа была единая и не только в этих двух городах, но в двух городах и во всей России вместе, так, что везде по всей России, в каждом месте была вся Россия» («Дневник», 1876, май, гл. I, II). Это нечто большее, чем аналогия и уж тем более, чем патриотическая метафора. Точно так же Достоевский определял Италию как физический субстрат «идеи» объединенного рода человеческого, которую Италия сохраняла живой с античных времен; Германию как носителя «идеи» нонконформизма; Европу — как ту часть света, где всё ещё верят в идеал всеобщей христианской цивилизации, той идеи, которую Достоевский собирался сам воплотить, выражая бессмертную душу России; и, наконец, всю Землю, где обитает человечество со своими общими идеями, пока ещё погружёнными в спящую душу нашей уникальной планеты (Ср. «Дневник», 1877, январь, гл. I, I и гл. 3, I; 1876, июнь, гл. 2, IV; 1877, апрель, гл. 2, III). Короче говоря, философия истории Достоевского основывалась на гипотезе о том, что человеческая история приобретает значение благодаря развитию, взаимодействию и столкновению идей, связанных через души исторических народов с физическими условия-

ми, в которых эти народы возникли. Кстати, отсюда же возникает интерес Достоевского к текущим событиям на мировой арене. Он считал, что в них всегда участвуют тело, душа и идея наций.

Исторический панпсихизм Достоевского предполагал также, что идеальный мир у него не отделялся от реально-го, а существовал внутри того же времени и пространства, в той самой вселенной, которой занимаются естественные науки. Поэтому внутреннее строение мира идей у Достоевского во многом напоминало систему взаимоотношений, без которой, как принято считать, не может существовать человеческое общество. Их строение в целом схоже, особенно если вспомнить, что Достоевский придерживается панперсонализма: человеческая душа, по крайней мере, потенциально, — это личность, имеющая собственную идею, душу для своей души.

Достоевский назвал себя «реалистом в более высоком смысле» именно потому, что его творчество опиралось на метафизическую систему. Он не утверждал, что непосредственно знаком с миром чисто духовным, но стремился показать, что истинно реалистическое изображение человеческой природы не может и не должно оставлять без внимания её идеальное измерение. Как ему казалось, все человеческие взаимоотношения в конечном итоге обусловлены прямой связью душ, осознанной, при помощи соответствующих «идей», или неосознанной, например, в отношениях любви между мужчиной и женщиной. Достоевский с лёгкостью объяснял биологические феномены, в том числе наследственность, в свете этого реалистического идеализма.

Детальный анализ расплывчатых описаний «случайных семейств» в романах Достоевского показывает, что отношения между кровными предками и потомками сравнимы для него с процессом порождения идей. К примеру, нельзя с уверенностью, приходился ли Верховенский-младший, циничный и властный герой «Бесов», сыном или племян-

ником своему отцу, если не помнить, что «отец», Верховенский-старший, воплощает собой две идеи-близнеца. Его абстрагирующий псевдо-идеализм тут же порождает свою противоположность, беспредельный цинизм. Порождение этой двойственности, воплощение безмерного цинизма может, следовательно, происходить не только от своего отца, но и — что будет, может быть, более правильно, — от брата-близнеца этого отца, то есть, от собственного «дяди» (Ср. «Бесы», ч. 1, гл. 2, VI, и часть 2, гл. 4, II). Такие ловко скрытые намёки позволяли Достоевскому ввести в тексты своих произведений самую суть своей философской мысли.

Другая, более яркая иллюстрация того, как Достоевский объяснял наследственность при помощи метафизики, — это история семейства Карамазовых. У четырёх сыновей старого Карамазова три матери. Все они в той или иной степени унаследовали особую идею своего отца, которая в целом представляет собой страстное утверждение жизни, иногда рождающее припадки бешеного сладострастия, близкого к животной похоти. Однако каждый из четырёх братьев живёт в соответствии со своей индивидуальной идеей, в которой всепоглощающая жажда жизни, пришедшая от отца, становится лишь одним из составных элементов. Старший, Митя, — сын Карамазова от «дамы горячеей, смелой, смуглой, нетерпеливой, одаренной замечательною физическою силой». Идея жизни ради одной лишь жизни сталкивается здесь с другой живой душой, и известно, что первая жена Фёдора Карамазова была его. Как следствие, идея его первенца — безжалостно подчинить себе свои дикие наклонности; это идея того, что человек по природе своей способен занять главенствующее положение в материальном мире, приручив свои хаотические недочеловеческие инстинкты. Митя — Карамазов, как и его отец, и он воплощает собой восстание человеческой природы против самой себя во имя гуманизма, который при первом своём проявлении не может не быть хаотичным.

По воле судьбы тезис, выражаемый старшим поколением, сталкивается с антитезисом, воплощённым в младшем, и движется дальше к зарождению синтеза, т. е. к идее человеческого совершенства. Две стороны этой идеи, светская и традиционно-христианская, воплощаются в двух младших братьях, Иване и Алёше. Они — дети одной матери, «кроткой, незлобивой и безответной» Софьи, и им предназначено дополнять друг друга. Имя их матери означает «мудрость», ту невыраженную мудрость, которую Россия ещё не знает в себе, но которая медленно зреет в страданиях.

Остаётся ещё четвёртый брат, гадкий Смердяков. Смердяков выбивается из общего ряда, но он тоже несёт в себе особую идею, корни которой уходят в карамазовскую семейную почву, — крайний рационализм, ведущий к триумфу формальной логики. Его существование — побочный продукт безмерной отцовской жажды жизни и силы. Постоянно желая жить и утверждать жизнь, отец Смердякова нашёл наслаждение в том, чтобы овладеть полоумной бродяжкой. В результате, плод их союза выказывает ту идею, что индивидуальное существование, к сожалению, — цепочка случайностей, а значит, им нужно противопоставить рассудок, который безжалостно стирает различия между индивидуальными существованиями. При таком генеалогическом раскладе моральная неразборчивость Смердякова оказывается связана с его извращёнными умствованиями, и становится понятно, что его философия — ужасное заблуждение, которое может превратить в ничто даже самые благородные мечты сводного брата Смердякова Ивана.

Сложное строение карамазовской семьи позволило Достоевскому ввести в переплетения своего повествования множество тонких, едва заметных отсылок, различным образом указывающих на теорию общей генеалогии идей. Эта теория стала для Достоевского основой настоящей философии истории, и, следовательно, базой для реалистичной моральной философии. С начала 1860-х гг. целью его в обоих этих близких друг другу сферах было оценить, чего до-

стигло человечество при постепенном развитии идей от поколения к поколению, и на основании этого понять, насколько возможно морально исцелить человека. С тех пор, как в 1862 г. Достоевский впервые оказался за границей, он был уверен, что наступивший на Западе моральный кризис так же губителен, как и брожения умов и философские выверты среди российской интеллигенции.

Вполне возможно, что концепция генеалогического древа идей родилась у Достоевского в осознанном противостоянии Чарльзу Дарвину. Дарвиновское «Происхождение видов» вышло в печать всего лишь за три года до того, как русский последователь философского спиритуализма ступил на английскую землю. Среди жутких строк «Записок из подполья» можно найти полный рассказ о том, какое впечатление произвела на Достоевского английская цивилизация, ориентированная на технологию, и особенно её гигантская витрина, лондонская Всемирная выставка 1862 г. «Записки...» — это наполовину философское, наполовину художественное исследование, где Достоевский явно пытается поставить свою генеалогию идей как некое противоядие к научному определению места человека в природе. Кроме того, из этого текста понятно, почему Достоевский ограничил поле своего исследования Россией. Воображаемый автор «Записок..», «антигерой», как он себя называет, — это «русский европеец», то есть представитель русской «интеллигенции», которая желает побыстрее приобщиться к самым спелым плодам европейской цивилизации, чтобы одобрять или осуждать их со знанием дела. Иначе говоря, биография «антигероя» Достоевского совпадает с той критической стадией в эволюции идей, когда участие России в переживании европейского наследия стало особенно заметно, и перед русской интеллигенцией встал вопрос: либо присоединиться к основным течениям европейской мысли, либо самостоятельно проложить себе дорогу в будущее. Что касается самого Достоевского, то путешествие за границу определило его выбор. Хотя неверно

было бы отождествлять реального автора «Записок...» с его антигероем, их размышления достаточно схожи. Философские проблемы, терзавшие повествователя «Записок...», преследовали и самого Достоевского до конца его дней. Возможно ли стремление к человеческой свободе под гнетом естественных наук? Если нет, то как может человеческое сознание сохранить свою целостность в современном мире? Вот какие проблемы, в первую очередь, моральные, занимали Достоевского.

И правда, — спрашивал Достоевский, — что значит свобода, если возможен только научный подход к человеческой природе? Естественные науки признают лишь феномены, существующие в пространстве и времени, связанные бесчисленными цепочками причин и следствий, которые так стискивают индивида, что, зная, какова власть науки, он даже не пытается заявить о себе как о субъекте, обладающем свободой действия. Однако, продолжая мысли, возникшие у Достоевского при посещении пышных западных храмов победоносной науки, голос «из подполья» восклицает: «Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления» («Записки...», ч. I, V). Как и его персонаж, Достоевский сознавал, что, помимо бесконечности внешнего материального мира существует ещё одна бесконечность, которая находится внутри человеческого сознания. В этой своей внутренней бесконечности человек должен искать и, возможно, сумеет найти решение главной проблемы: как можно быть свободным в мире, где правит необходимость? На сознание самого себя впервые обратили внимание в западном мире, когда Декарт изрёк: «*Cogito ergo sum*». Но теперь этот мир готов был забыть свою великую философскую традицию ради новых господ — точных наук и законов природы. Для Достоевско-



го это означало, что «русские европейцы», включая его самого, должны были поднять обретенную нить и развить собственную мысль. Вооружившись общей теорией идей и интуитивной уверенностью в бессмертии души, Достоевский в своей творческой лаборатории провёл серию мысленных экспериментов, которые преследовали двойную цель: во-первых, показать несостоятельность псевдофилософских подходов к проблеме свободы, а во-вторых, указать, какое место эта проблема занимает в сознании индивида. Достоевский проявляет себя как великий мыслитель через своё искусство; точно так же его искусство можно точнее и лучше понять, если учитывать его спонтанное мышление.

Проводимые Достоевским эксперименты должны были установить, какими способами и средствами располагает современный человек в борьбе за то, чтобы сохранить свою свободу. Его первый великий опыт описан в истории Раскольникова. В образе Раскольникова показан истинный сын нового времени. Он свободен от так называемых религиозных предрассудков и полностью согласен с современным позитивизмом, который реальность свёл к тому, что знает о ней эмпирическая наука. Но кроме этого, Раскольников «русский европеец», и он не может махнуть рукой на своё собственное размытое сознание и страстное желание абсолютной независимости. Так все его существо охватывает «уникальная идея»: если не существует ничего, кроме простой чистой фактичности, — думает Раскольников, — то откуда вывести критерий различения добра и зла? Достоевский показывает, что последовательный адепт позитивистской философии а priori чувствует, что он будет оправдан, если произвольно перейдёт любую норму поведения, что он совершенно свободен, может обращаться с другими людьми так, как он сам сочтёт нужным, и в целом вести себя как правитель вселенной.

На первый взгляд кажется, что этот чистой воды индивидуализм решает проблемы свободы как минимум для

одного человека. Но Достоевский стремится показать наглядно, что даже это неправда. Цена этой абсолютной свободы — абсолютное одиночество, абсолютная изоляция. Где не существует второго лица, будь то в единственном или во множественном числе, там даже богоподобное первое лицо, возносящееся над добром и злом, когда-нибудь обязательно поймёт, что оно вообще не лицо, а только призрак среди призраков. Позитивистский индивидуализм не решает проблему свободы; он только лишает эту свободу значения и ускоряет разложение индивидуально-го сознания. Апокалиптический сон, который Раскольников видит в сибирской тюрьме, ставит крест на этой философии: он показывает, что «уникальная идея» Раскольникова и вдохновлённое ей преступление — это симптомы общего ментального нездоровья эпохи, и предупреждает, что худшее может быть ещё впереди. Привидевшийся Раскольникову кошмар как бы говорит: если это и подобные ему предупреждения останутся без внимания, то всё человечество будет поглощено всеобщим заразным безумием, которое выльется в войну всех против всех и каждого против каждого. Но и тогда, на грани полного вымирания, заражённые люди будут как никогда раньше полагаться на свой рассудок и опираться на научные выводы. Возможно, спасение будет зависеть от нескольких чистых душ, «предназначенных начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю» («Преступление и наказание», эпилог II). В этом и других похожих мысленных экспериментах Достоевский сводит оспариваемые им положения к абсурду, и противопоставляет их набросанному в общих чертах видению высшей цели своего мышления.

На последней странице «Преступления и наказания» описывается, как преступник воскрес духовно. Читатель встречает утешительные слова: «Вместо диалектики наступила жизнь, и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое». Это предложение показывает, что, по Достоевскому, диалектическое мышление в отрыве

от реальной жизни необходимо соьёт человека с ног. Это одно из тех положений, которыми Достоевский руководствовался во всех своих философских опытах. И для него не было жизни более истинного и высокого вида, чем та, что раскрывается в любви. В любви бессмертная душа приникает непосредственно к сердцевине другого уникального бессмертного существа, и только это может остановить угрозу абсолютной изоляции, которую несёт в себе любая «уникальная идея», восстающая против духовного сообщества идей и пытающаяся самостоятельно нащупать выход из лабиринта диалектики. Интересно, что Достоевский уже выразил своё предупреждение в лаконичном заключении «Записок из подполья». Его антигерой представляет все идеи современного спекулятивного сепаратизма и изоляционизма, и от их имени он говорит: «Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам все более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем родиться как-нибудь от идеи». Уже тогда Достоевский понимал, что генеалогическое древо идей, которое он наложил на смену человеческих поколений, вскоре может быть вырвано с корнем.

Сомнения Достоевского насчёт того, возможно ли «продолжение мировой истории», наиболее ярко отражены в образе одержимого «бесами» Кириллова, желающего убить Бога. Как позднее Иван Карамазов, Кириллов воплощает собой идею человека как соперника с Творцом вселенной. Для них обоих Бог реально существует, но Иван поднимает меч диалектики, чтобы показать, что творение божье морально несостоятельно, а Кириллов хочет вообще отбросить Бога как придуманный людьми образ, гипостазированный страх человека перед болью смерти, чтобы скорее превратить человечество в божественную сущность: Человек станет Богом. Кириллов — типичный «русский европеец»; более того, он успел даже побывать в Америке, и он верит в экспериментальный метод. Кириллов полагает, что если он убьёт себя, единственно чтобы доказать, что чело-

век может освободить себя от губительного страха смерти, то откроется «главная свобода» и сила человека станет безграничной. Держа в уме эту смелую гипердиалектическую идею, Кириллов видит себя сквозь призму своего сознания, как будто он уже обладает силой, способной уничтожить мир и создать его заново, как будто он равен Богу в преддверии творения и выбирает сейчас между божественным «Да будет» и самоуничтожением (ср. «Бесы», I, гл. 3, VIII). Чудовищный образ Бога, помышляющего о самоубийстве, мог возникнуть у Достоевского в противовес позитивизму Огюста Конта, автора «Религии человечества». Опять мы видим, как популярная философская позиция исследуется методом сведения к абсурду.

Однако в самом общем виде кирилловская идея о том, что самоубийство — самый быстрый способ разрешить проблему человеческой свободы, была важна для Достоевского. В трёх последовательных выпусках своего «Дневника» Достоевский подробно обсуждал искушение, преследующее просвещённого атеиста научной эпохи: заявить о свободе воли, перерезав нить собственной жизни («Дневник писателя», 1876, октябрь-декабрь). Всякий случай самоубийства, о котором узнавал Достоевский, поражал его воображение, терзал его разум и подстёгивал его чувство вины. Соблазн самоубийства казался Достоевскому, даже больше, чем неразборчивость в отношении жизни или смерти других существ, логичным следствием популярного мировоззрения, которое отрицало значение духовного и приговаривало человека к одиночному заключению внутри его собственной личности. Раз он знал то, что знал, — шептала Достоевскому его нечистая совесть, — то не нёс ли он личную ответственность за то, что рядом с ним, в собственной его России, происходят жуткие вещи, а он их просто отмечает и анализирует?

При описании системы мышления Достоевского стоит помнить, что сам он был самым строгим судьёй своих метафизических гипотез. Все свои творческие силы Досто-

евский употреблял на то, чтобы испытать их в столкновении с реальной жизнью. Убийство и самоубийство он выделил в воображении как наиболее явственные проявления эгоистической гордости. Но, по мнению Достоевского, роковое самолюбование может так выйти за всякие границы, что гордый сын нового века, чтобы преодолеть своё абсолютное одиночество, будет даже размышлять о создании нового человеческого существа посредством чистой силы воли. Отношение этого существа к самозваному творцу будет то же, что и отношение человека к Богу. Вполне логично, что история такого эксперимента, описанная в рассказе «Кроткая», помещена Достоевским среди размышлений о самоубийстве, потому что в рассматриваемом случае кроткая девушка, рождённая как воплощение «уникальной идеи», не могла удовлетвориться своим искусственным существованием (ср. «Дневник...», 1876, ноябрь).

Возможно, в заключение излишним будет спросить, была ли у Достоевского надежда на то, что тёмные болезни века в будущем окажутся излечены. Вот что мы знаем точно: как мысль Достоевского, так и его искусство, родились из одного и того же болезненного, тревожного стремления не пропустить ту точку, где упадок христианской цивилизации можно остановить, а её падение превратить в новый подъём. Однако, кажется, что единственным лекарством, которым располагал Достоевский, была его уверенность в эффективном воздействии «русской идеи». Как он пылко объяснял в своей речи о Пушкине русский народ, истинно следуя духу христианства, стремился прийти к «всеобщему общечеловеческому воссоединению», то есть непротиворечиво и гармонично соединить все великие идеи, которые оставили свой след в мировой истории, и связать их с безусловной верой народа в то, что русская идея, представляющая собой самую суть христианства, должна покорить всё человечество (ср. «Дневник...», 1880, август, гл. 1–2 II).

Неужели Россия сделала неискренним пророческое послание философии Достоевского? Неужели последующее

развитие российской и всемирной истории показало, что его метафизика — обманы и иллюзии? Достоевский сам мог бы возразить на эти и подобные язвительные вопросы, повторив то, что он написал почти сто лет назад: «выходит, что торжествуют не миллионы людей и не материальные силы, по-видимому, столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная вначале мысль, и часто какого-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего из людей» («Дневник писателя», 1876, декабрь, гл. I, II). Это гордые слова, но они исходят от того, чья скромность была не менее искренней, чем его вера<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> А. Штейнберг должен был уложиться в небольшой объем. Из письма Ф. Каплан: «Книжка о Достоевском дописывается. Закончил главу III «Мыслитель» и занят теперь заключением «Significance» — значением его, т.е. Но места осталось совсем мало, и едва ли удастся высказаться хоть бы надолго «вполне». Подумываю уже о том, на что буду употреблять бумагу, когда Федор Михайлович снова отойдет в сторонку. За эти месяцы я так «обрусел», что невольно соображаю, как все это могло случиться...». ПСФК. 15–16 декабря 1964.

---

#### IV. ЗНАЧЕНИЕ

*...я действительно, пожалуй, философ,  
и кто знает, может, и в самом деле  
мысль имею поучать...  
Князь Мышкин в «Идиоте»*

**В**осход Достоевского на небосклоне мировой литературы последовал вскоре за успехом Тургенева и почти совпал с появлением Толстого. Он отмечает поворот в течении идей, которое в XVIII веке втянуло Россию в орбиту западноевропейской мысли. Пока «русский роман» как оригинальный художественный жанр не был известен западному миру, казалось, что российское искусство будет вечно питаться подарками европейской цивилизации, прилежно стараясь достичь уровня старших творцов из-за границы. Однако к концу XIX века такое мнение уж не было верным. Русская литература вышла за пределы своего языка и с Толстым и Достоевским во главе проникла на Запад. Оказалось, что Россия, эта огромная ближневосточная

колония европейской цивилизации, имеет собственный культурный потенциал, европейский по своим внешним проявлениям, но иной по склонностям и содержанию. Открытие сущностного своеобразия русской литературы отчасти перевернуло общее движение европейской мысли: теперь оно не только шло, как раньше, в одну сторону, с запада на восток; появилось противоположное течение, из России на Запад.

Помимо типичного русского романа («руссана», как французский критик прозвал длинные повествования Толстого и Достоевского)<sup>18</sup>, западный читатель быстро познакомился и со многими другими формами русской литературной продукции: образчиками русского драматического искусства, повестей и рассказов, литературной критики и философских эссе, — пока уверенно растущий интерес к недавно открытой литературной традиции не вывел на обозрение Запада даже русскую поэзию, наименее доступную для иностранца художественную форму. Усвоение русского культурного наследия привело в конце концов к тому, что русский язык вошёл в семейство иностранных языков обучения и общения на Западе. Благодаря ему также возникла тенденция различать более или менее русские вещи и особенно выделять все те, которые на русской почве обрели самостоятельность, неважно, откуда они изначально пришли. Это непростое различие заставило, наконец, читателей осознать, что Достоевский значим сам по себе. Достоевский как писатель важен не только потому, что это один из самых выдающихся русских авторов, сравнимый с Толстым и Тургеневым, или, если брать более далёкие примеры, с Бальзаком и Диккенсом, но, в первую очередь, потому что его творчество — это мощный вызов, брошенный за пределы искусства, заключённого в собственной сфере, потому что его произведения несут особое

<sup>18</sup> Эжен Мельхиор де Воюэ. Русский роман («Le roman russe»). Paris. 1886.



послание — по сути своей, жаркий призыв ко всему человечеству обратить внимание на свои высшие идеалы.

Постепенное восхождение Достоевского к вершине человеческого величия, выдвижение его почти как духовного наставника прекрасно показывает общее изменение в духовных отношениях между Западом и Россией. Но особенно мощно это изменение проявилось в первом десятилетии двадцатого века. «Русский роман» прорвал плотину, и на Запад из России потекли не только эстетические и философские идеи<sup>19</sup>. Усвоенные Западом, они способствовали лучшему пониманию русского характера и своеобразной русской ментальности. Из этого понимания возникло желание подражать русским. Одного примера будет достаточно. В 1912 г. вышел английский перевод «Братьев Карамазовых», и это издание запустило так называемый культ Достоевского, что едва ли могло случиться, если бы сам образ Достоевского не стал для почитателей его произведения подобием иконы, которой надо молиться на русский манер. Это тем более примечательно, что на родине Достоевского его талант ещё не всеми признавался, и его значение не могли оценить полностью.

В течение тридцати трёх лет, которые прошли между смертью Достоевского и началом Первой мировой войны (1881-1914), его «жестокий талант», как выразился один из самых влиятельных критиков того периода, Н. К. Михайловский, заставлял русскую интеллигенцию тянуться вперёд и ввысь, развивать свою литературную, философскую и политическую мысль. В конце 1870-х гг. начал формироваться образ Достоевского-пророка, который вос-

<sup>19</sup> О сверхнациональном значении Достоевского, проявившемся перед революцией, А. Бенуа писал Н. Бацилли: «Достоевский всем своим значением слишком возвышается над вопросом чисто национального характера (...) он характерно национальный художник только в наименее существенных чертах своего творчества» (*Будницкий О., Бернштейн Б.* Письмо Александра Бенуа Николаю де Бацилли // *Диаспора III. Новые материалы.* Париж; СПб., 2002. С. 654).

пламенял многочисленных участников Пушкинских торжеств в Москве в 1880 г. Но этот образ исчез как призрак за несколько лет до смерти Достоевского. Для такого исхода были серьёзные причины. После убийства Александра II-го в марте 1881 г. на престол взошёл его сын Александр III (1881-1894), проводивший безжалостную реакционную политику. Новый царь следовал заветам российского «Великого инквизитора» Победоносцева, который в последние годы жизни Достоевского стал близким другом писателя. Что бы ни означало его имя для большинства просвещённых людей в России, к Достоевскому посмертно пристала слава реакционера, а это мешало оценить глубину его мысли и даже великолепие его искусства.

Важным исключением был философ и поэт Владимир Соловьёв (1853—1900), которого некоторые считают прототипом Ивана Карамазова. Однако влияние Соловьёва на русскую мысль и литературу стало ощутимо лишь к концу века. До этого времени уверения Соловьёва в том, что Достоевский необыкновенно важен для будущего христианства, не находили отклика. Неизвестно даже, был ли Достоевский заново открыт в середине 1890-х гг. благодаря растущей популярности Соловьёва, или наоборот, Соловьёва молодое поколение приняло охотнее благодаря его связи с Достоевским, круг читателей которого постепенно увеличивался сам собой. Как бы то ни было, в начале XX века Достоевский и Соловьёв вместе вышли на передний план. Как два союзника, они практически в один голос призывали русскую интеллигенцию заглянуть в свою душу. Вера Достоевского в то, что «идеи заразительны», что они витают в воздухе, что в идеях есть проникающая сила, оказалась справедлива в его собственном случае.

Однако то, что эти две идеи, «Соловьёв» и «Достоевский», оказались связаны в умах российской элиты, отчасти повредило чёткому пониманию того, что имел в виду Достоевский. Соловьёв был мистиком и визионером в классическом понимании этого слова. Его философская мысль,

равно как и его поэзия и практическая деятельность, развивались под влиянием необыкновенных переживаний. Он боролся за единство христиан, пылко верил в мессианскую роль России, сражался за права угнетённых — всё это возникало у Соловьёва из одного источника, из его ощущения божественного присутствия в своей душе. Его вера опиралась на мистический опыт, который делал её неуязвимой и позволял Соловьёву верить в своё предназначение. С Достоевским дело обстояло иначе. Он так и не избавился от пут сомнения и недоверия к самому себе. По мнению Достоевского, любой человек, даже он сам, — на самом деле неизмеримая загадка. Даже старец Зосима, образ христианского совершенства у Достоевского, должен разделять кантовские взгляды и утверждать, судя по запискам Алёши, что «сущности вещей нельзя постичь на земле». Но всё же, то, что Соловьёв занимался наследием Достоевского и, видимо, был его душеприказчиком, позволяет считать, что оба апостола русского мессианства могут считаться адептами христианского мистицизма. Достоевский не считал мистический опыт, свой или чужой, состоятельным аргументом, но с подачи Соловьёва многие попытки определить значение его мысли и творчества, сначала в России, потом на Западе, были искажены тем, что его заранее считали «мистиком».

В России такой подход связан с именем Мережковского (1865-1941), который особенно подчёркивал мистический характер мировоззрения Достоевского. Из того обстоятельства, что Достоевский считал человека «загадкой»<sup>20</sup>, Мережковский выводил, что мысль Достоевского возникает из сверхъестественного, мистического источника. Однако на этом основании сторонником иррационального мистицизма можно назвать даже Канта, отца немецкого классического идеализма, который показал, что процесс познания отдельных явлений никогда не достигнет завершения.

<sup>20</sup> В англ. тексте — *mystery*, слово, однокоренное с «мистика». — *К. Р.*

Критерий различения между идеализмом и мистицизмом — это как раз понимание того, что абсолютное знание постоянно движет человеком и манит его к себе, но по сути своей оно выходит за пределы своей законной сферы действия. Фактически, идеализм Достоевского роднит его скорее с рационалистом Толстым, чем с небесным мистиком Соловьёвым. Но всё-таки довольно долго, в очень важный период истории русской мысли, Мережковскому никто не возражал. Так возникла его книга «Толстой и Достоевский» (1901–1902), где Мережковский утверждает, что мистицизм Достоевского и рационализм Толстого несовместимы.

В результате этого мыслительного напора русская литературная традиция, идущая от Пушкина, раскололась на две соперничающие ветви, следующие за Толстым и за Достоевским. Тема «Толстой против Достоевского» (или наоборот) стала ярким лейтмотивом русской литературной истории, внося в её течение элемент драмы и поддерживая ощущение конфликта у публики и писателей. Романисты, новеллисты и драматурги во главе с Горьким и его школой, разделявшие конвенции реалистичности, считали своим учителем Толстого, непревзойдённого мастера реалистического искусства. С другой стороны, приверженцы русского символизма (новой школы, которая появилась в 1890-е гг. под французским влиянием) считали, что повседневная жизнь лишь кажется реальной, а на самом деле она указывает на сокрытые метафизические реальности. Они подчёркивали превосходство Достоевского, провозгласившего новую эпоху в жизни и искусстве. Неслучайно основатели новой школы стали известны и как поэты, и как прозаики. Это в некоторой степени относится к Мережковскому, наиболее влиятельному выразителю символистских идей, но больше — к его жене Зинаиде Гиппиус, Вячеславу Иванову и особенно к Фёдору Сологубу, который написал много хороших стихов и роман «Мелкий бес» (1907), шедевр, весь пропитанный почитанием Достоевского. Среди русских символистов как старшего, так и млад-

шего поколения случаи, когда поэт и прозаик соединялись в одной личности, были настолько часты, что вполне понятно, почему они тянулись скорее к Достоевскому, чем к Толстому. Эти сложные творческие натуры тяготели к странному и затейливому более, чем к спокойному и вероятному. Кроме того, все они чаяли духовного избавления и полагали, что они сами и их эпоха смогут обрести себя, лишь превратив окружающую «грубую действительность» в чудесный поэтический миф, где всё сущее наконец преобразится. Считалось, что всё это исходит из чувства общности с Достоевским, так что ему самому приписывалось влияние, затмевавшее его настоящие мысли.

В 1910 г., незадолго до своей смерти, Толстой утверждал, что как моралист он многим обязан автору «Бесов». Даже Горький, полностью отвергавший «идеи» Достоевского, нередко отмечал его гениальность и сказал однажды, что «его талант равен, может быть, только Шекспиру»<sup>21</sup>. Однако противостояние двух течений в русской литературе пережило революцию 1917 г. Даже сегодня оно ощутимо в жизни как русской эмиграции, так и Советского Союза. Этому не помешало то, что советское правительство, ориентируясь в основном на Горького, намеренно вело с Достоевским «идеологическую войну». В 1920-е гг. ко многим его произведениям относились так, будто они были включены в советский список запрещённых книг, тогда как издание Полного собрания сочинений Толстого в 90 томах приветствовалось правительством. Для советского писателя не было лучшего комплимента, чем рецензия, отмечающая толстовский элемент в его произведениях, а хуже всего было, если критики связывали творческий путь автора со школой Достоевского. Под запретом не находились лишь научное исследование жизни Достоевского и анализ его литературного мастерства. Однако если речь

<sup>21</sup> Из доклада на I Всесоюзном съезде советских писателей 17 августа 1934 г.

заходила о мысли Достоевского и о более глубоком значении его наследия, нужно было показывать, что Достоевский — «реакционер», «анархист», а более всего — бесчестный «мистик», который с бесстыдным удовольствием предал социалистические идеи своей юности. С точки зрения главенствующей в СССР марксистской философии, мистицизм был самым серьёзным из обвинений, выдвигаемых против Достоевского. Мистицизм уже включал в себя реакционное мышление, а кроме того, он способствовал развитию крайней формы анархического индивидуализма, который восставал против власти государства и общепринятого порядка.

Конечно, Толстой тоже не признавал верховной власти закона и порядка, основанных на насилии. Однако, в отличие от Достоевского, Толстой обращался к рассудку, а не к какому-то непонятному источнику откровения. Как это ни странно, отрицательное отношение коммунистов к Достоевскому и его творчеству было основано на ошибочном его понимании, которое советские цензура и критика с готовностью переняли у порицаемых ими «декадентов», т. е. Мережковского и его последователей. Этот вопрос всё ещё не прояснён; и отождествление Достоевского и его «реализма в высшем смысле» с доктриной спасения Мережковского, с «мистическим анархизмом» Вячеслава Иванова, или с сологубовской мифологией нанесло его наследию вред, который до сих пор не удалось исправить.

С другой стороны, результатом практически неограниченной свободы исследовательской работы с источниками, относящимся к биографии и особенностям письма Достоевского, стал огромный поток ценных публикаций, включая тщательное издание его переписки (1928, 1934, 1959). Благодаря им историк русской литературу, где бы он ни находился, обеспечен большим количеством надёжной информации и может объективно анализировать материал. Ясно, что такая литература в принципе необъективна, что в ней нужно ещё отделять зерно от плевел, а то, как она описывает «эволюцию»,

или, скорее, «дегенерацию» Достоевского, к сожалению, почти всегда попадают во вторую категорию. Но в целом, то, что таких публикаций становится всё больше, косвенно свидетельствует, что в Советском Союзе всё внимательнее относятся к исключительному творчеству Достоевского, невзирая на официальную политику. Может быть, будущий историк обнаружит, что как Достоевский правильно предвидел ужасы грядущей революции, так и пришедшая после революции советская олигархия правильно видела в Достоевском угрозу для любого режима власти.

Что касается Запада, то здесь советская кампания против взглядов Достоевского скорее способствовала признанию его как философа. Если советская литература только и могла сосредоточиться на детальном анализе текстов Достоевского, их истории создания, композиции и отношении друг к другу, то западные исследователи в основном занимались комментированием и интерпретацией его трудов. Писатели и философы почти единогласно провозгласили Достоевского гениальным творцом и учителем последующих поколений. Современный «философский роман» во многом обязан ему своим существованием. Но сейчас уже не просто точно определить, как именно Достоевский повлиял на литературу и мысль XX века. Единственным исключением является экзистенциализм, поскольку его сторонники сами называют Достоевского своим непосредственным предшественником. В целом можно сказать, что, с тех пор как русская литература прочно вошла в список канонических текстов западного гуманизма, считается, что Достоевский, даже больше чем Толстой, раскрывает её оригинальный характер. Современный мир в целом приобрёл черты, которые можно возвести к Достоевскому (некоторые даже говорят про «вирус достоевщины»). Даже если брать только развитие мировой литературы, можно провести черту между периодами до и после Достоевского, потому что вполне можно утверждать, что современное понимание человека как проблемы всё время развивалось в сумеречном све-

те, или, точнее, в рембрандтовских полутонах, лившихся с Ближнего Востока, и только Достоевский осветил его при помощи своего пророческого дара.

Славу пророка Достоевский приобрёл в России и на Западе во многом благодаря тому, что принято называть его «психологическими открытиями». То, как он изображал индивидуальность, сделало невозможным дальнейшее обращение с конкретными людьми как с суммой застывших арифметических единиц. Задолго до Бергсона Достоевский понял, что закон противоречия не приложим к живой жизни. Эмпирические исследования внутреннего мира человека постепенно превращались в бездушную дисциплину, забывшую, какая проблема лежит в её основе, в «психологию без психики». Те, кто искал душу, пытались теперь обрести её вне научной сферы, прежде всего, в области выразительного искусства. Здесь они наталкивались на Достоевского, который протягивал им навстречу руку. Его творчество превосходно работало как инструмент понимания. От него можно было научиться тому, что исследователь, возможно, уже ощущал инстинктивно; любое человеческое существо уникально и загадочно, человек динамически развивается, хотя это происходит всегда под влиянием конкретной среды и эпохи, и каждый человек может подняться над бытием и встретиться с вечностью. В некотором роде это было не абсолютно новое откровение, а восхождение старой, вечной истины. Но там, где казалось, что душа вот-вот будет утеряна, Достоевский сделал её доступной взору. Он показал, что за плоским двумерным образом человека раскрывается третье измерение, уходящее вертикально вверх, в горние высоты человеческой жизни, и вниз, в её тёмные глубины. Естественно, что современный психоанализ, который стремится дать «научное» понимание глубин человеческого разума, ценит открытия Достоевского.

Но описание значения Достоевского не будет полным, если не упомянуть отдельно о моральном смысле его литературных и философских открытий. Повторимся: он не был «мистиком». Достоевский твёрдо верил в рациональность мо-



ральных принципов, которыми он руководствовался. Обращая внимание на мистический характер человеческого существования, Достоевский хотел придать всем отношениям между конкретными личностями или между личностью и обществом, моральную основу, которую было бы невозможно оспорить. Если другой для меня — такая же «загадка», как я сам для себя, то судить другого я должен, самое меньшее, столь же ответственно, как если бы я разбирался с собственной совестью в поисках смягчающих обстоятельств. Если человек понимает, что он не может знать себя целиком, то он не осудит себя без вопросов. Точно так же человек, уважающий бесчисленное множество возможного, которое таит в себе существование другого, должен снова и снова проверять, как он сам понимает суть этого другого. На самом деле человек остаётся для себя загадкой, потому что Я видит себя как уникальную личность, которую невозможно объяснить при помощи общих абстрактных концепций. Точно так же другой человек — это не шифр, не конкретный представитель какой-то общей группы и не совокупность абстрактных понятий, а совершенно специфическая личность, у которой своё лицо, своя душа и своя судьба.

Теперь панперсонализм Достоевского становится очевидным. Это программа, дающая практические указания, так что, хотя в ней есть утопические черты, жить по ней может каждый, здесь и сейчас. Она обращена к индивидуальному сознанию, которое может согласно отозваться на это обращение или ответить только гневом и раздражением. Неслучайно год за годом Достоевскому приходилось бороться с бурным ветром, который в его родной стране бил ему в лицо. Но важно то, что Достоевский пережил все перипетии новейшей истории как у себя на родине, так и за границей. Идеи Достоевского значимы сегодня так же, как в его время.

IV

А. З. ШТЕЙНБЕРГ В  
ПУШКИНСКОМ КЛУБЕ  
ЛОНДОНА

(1953–1962)



---

## I. Переписка с Пушкинским клубом<sup>1</sup>

### 1.

10 окт. [1953]

Глубокоуважаемый Аарон Захарович, большое Вам спасибо за Ваш щедрый взнос в Клуб — очень добро с Вашей стороны нам помогать, и мы Вам очень благодарны.

Очень грустно, что Вы не сможете у нас говорить в ноябре, но мы мечтаем Вас слышать в другой раз.

Мы очень надеемся, что приедете в воскресенье на собрание о Пушкине; Ваше слово будет чрезвычайно драгоценно.

Искренно Ваша Kitty Hunter Blair

---

<sup>1</sup> Пушкинский Клуб (Дом) в Лондоне был основан кружком единомышленников под руководством Марии Михайловны Кульман, урожденной Зёрновой (1902–1965) 29 января 1954 г. Он стал местом встреч для людей всех национальностей, интересующихся русской культурой. В его работе принимали активное участие сэр Й. Берлин, художник М. В. Добужинский, экономист и историк А. Ф. Мейендорф, балерина Тамара Карсавина, литературовед В. Тышецкий, художественный критик и издатель С. К. Маковский, ученый Д. Д. Оболенский и др. Историк Клуба писала о выступлениях «блестящего докладчика» философа Аарона Штейнберга, а также близких ему А. Л. Векслер и Е. Б. Гурвич. В 1960-е гг. широкими стали «советские контакты» Клуба. Письма печатаются по оригиналам, хранящимся в архиве (P/159 box VIIa); орфография писем оставлена без изменений.

## 2.

11-е октября [1953]

54 Ladbrooke Grove W11

Дорогой д-р Штейнберг,

Мне известно, что мадам Кульман уже просила Вас прочесть лекцию о Пушкине на открытии Пушкинского клуба. Я хочу лишь присоединиться к ее просьбе.

Я уверена, что первая лекция задаст тон всему нашему начинанию, а оно, как мне кажется, очень важно. О России сегодня много говорят, но мало ее понимают. Поэтому мы хотим сделать наш клуб местом, где можно будет услышать рассказы о духе России, о чем-то вечном, что превосходит политические режимы и споры. Мы хотим, чтобы о Пушкине рассказали так, чтобы это было интересно и важно для англичан, а русские слушатели, придерживающиеся разных политических программ и взглядов, поняли, что они могут сойтись вместе хотя бы раз в неделю и забыть свои разногласия.

Это большое дело, и, по нашему мнению, никто, кроме Вас, не сможет с ним справиться или хотя бы направить нас по верному пути. Необходимо, чтобы лектор был русским. Мне кажется, что даже самый подготовленный англичанин не смог бы выступить с такой темой.

Я знаю, что Вам очень сложно найти время, но, если это в пределах человеческих сил, пожалуйста, прочтите эту первую лекцию. Мы будем очень благодарны. Искренне Ваша  
Полина Пипс (секретарь Пушкинского клуба)

## 3.

А. Штейнберг — П. Пипс. 13 окт[ября] 1953

Очень благодарю Вас за любезное примечание офсетного момента, которое достигло меня этим утром.

Позвольте мне только сказать, что я отношусь с искренней симпатией к целям Клуба Пушкина и к духу, в котором эта инициатива была задумана Вами и вашими друзьями. Это действительно счастливая идея сделать Пушкина,

скажем, святым патроном нового клуба. Я уверен, что под этим знаком клуб имеет вечный шанс стать фокусом для всех людей, англичан или русских, для которых название русского поддерживает что-то, простирающееся далеко вне превратностей настоящей фазы в его истории.

После этого эмоционального выражения Вы поймете, как трудно мне не принять большинство заманчивых приглашений, которое Вы столь любезно распространяете на меня. Уже в последний субботний вечер я имел возможность представить нашему дорогому другу, Мм Кульман, причину моего нежелания использовать в своих интересах привилегию обратиться к вашим членам при их первом сборе. Мягкосердечную, как она, дала она мне двухместную карету дней для возможного пересмотра моего расписания в следующем месяце. Позвольте мне сообщить Вам, что после тщательной проверки длинного листа обязанностей здесь и за границей, которые я обязан выполнить до конца года, я не имею шансов, нежели стоять перед твердым фактом, чем я, к сожалению, не способен вставить даже один вечер.

Поверьте мне, дорогая леди Пеппи, что я искренне смущен, что должен написать это, но я надеюсь, что Вы поймете, что обстоятельства уклоняют меня от выполнения этого. Еще раз с большой благодарностью. С уважением к Вам А. Ш.<sup>2</sup>

#### 4.

February 12. 1956

Academy House

Глубокоуважаемый Аарон Захарович, от всей души благодарим Вас за Ваш чудесный доклад, который остался совсем незабываемым для нас всех. Тема сама по себе такая великая, важная, и Вы так красиво высказали свою мысль, что вечер был еще художественное наслаждение. Я сама уже столько раз думала о том, что Вы сказали, и все, которые присутство-

<sup>2</sup> 13 июня 1955 г., судя по черновику, Штейнберг читал в Клубе лекцию «Свобода по Достоевскому» на английском языке.

вали, говорят, что Ваш доклад был бесконечно драгоценный с точки зрения всех свежих вдохновляющих мыслей, которые Вы нам представили. Теперь мы прямо мечтаем, что когда-нибудь Вы придете нам говорить об Equality according to Dostoevsky<sup>3</sup> — пожалуйста, мы очень и очень просим.

Мы глубоко ценим то, что Вы у нас были, Ваши слова про Достоевского действительно будем вспоминать всю жизнь и мы Вам так благодарны за все, что Вы нам дали, что прямо нет слов.

Очень надеюсь, что мы будем иметь удовольствие Вас видеть опять в Клубе в самом скором будущем.

Искренно Ваша Kitty Hunter Blair

## 5.

April 14, 1956

Глубокоуважаемый Аарон Захарович,

Мы так радуемся на Ваш доклад о теме равенства у Достоевского: Ваши доклады всегда вносят такой драгоценный вклад в жизнь нашего клуба, и мы бесконечно ценим всегда основательный и вызывающие темы, которые Вы нам представляете. Мы к Вам обращаемся с большой просьбой говорить у нас 12 июня, во вторник. Мы все прямо мечтаем Вас слышать еще раз, особенно, так как это юбилейный год Достоевского, и мы будем от всей души Вам благодарны, если Вы сможете выступить у нас 12-го.

Пожалуйста, очень кланяйтесь от меня Софию Владимировну.

Искренно Ваша Kitty Hunter Blair.

## 6.

Pushkin House

December 3, 1957

Глубокоуважаемый Аарон Захарович,

---

<sup>3</sup> Равенство по Достоевскому.

Мы Вам очень благодарны за членский взнос. София Владимировна нам так добро послала.

Мы Вам будем глубоко благодарны, если Вы можете нам прочесть свой доклад о теме равенства у Достоевского. Зная, как Вы заняты, мы Вас уже просим заранее: не нашли бы вы возможность у нас выступить 25 февраля, во вторник. Ваши доклады всегда вносят драгоценный вклад в жизнь нашего Клуба, и тема о равенстве в высшей степени интересна.

Глубоко кланяемся Софье Владимировне. Искренне уважающая Вас

Kitty Hunter Blair.



---

## II. Конспект к докладу: Равенство по Достоевскому

Для Пушкинского Клуба 21. II.1961. Штейнберг

I. «Сакраментальные слова» Днев[ник] VI, 76: Жорж Занд<sup>4</sup> — «Главная Свобода» и Братство как общность восхождений.

II. Равенство после Св[ободы] и Бр[атства]. Успехи Равенства: Декларация 1789 г. — «*égalité des droits politiques et sociales de tous les citoyens*»<sup>5</sup> — Перед законом, Избирательное право, женская эмансипация»; «без различия» вероисповедания, происхождения, пола — чуть ли не возраста<sup>6</sup>.

В международной жизни: Декл[арация] прав 10/XII/1949 и Хартия Объединенных наций 26/VI/45<sup>7</sup>. Equality Riths <...> of nations large and small.<sup>8</sup>

Вывод: Р[авенство] — не неравенство! Потому не «да здравствует!»

III. Есть ли положительный смысл? Подобие — Рав[енство] — Тожество: у стоиков (Сенека): *ut, quae alia erant, et*

---

<sup>4</sup> «"Свобода, равенство и братство" оказались лишь громкими фразами и не более (...) Победители произносили или лучше припоминали эти три сакраментальные слова уже насмешливо» (*Достоевский Ф. М. Жорж Занд. Дневник писателя. Июнь 1976. ПСС. Т. 23. С.34*).

<sup>5</sup> «Равенство прав политических и социальных всех граждан». В черновике от 19.2.1961: «Важно для Д[остоевского], его учение насущно для нас».

<sup>6</sup> На полях: Всеобщее равенство. Прямое и тайное, «четырёххвостка»!

<sup>7</sup> Устав Организации Объединенных Наций был подписан 26 июня 1945 г. в г. Сан-Франциско на заключительном заседании Конференции Объединенных Наций.

<sup>8</sup> Равенство...больших и малых народов. На полях: «Reaffirm faith in the dignity and worth of the human person» — Вновь утвердить веру в достоинство и ценность человеческой личности.

dissimilia essent et imparia»<sup>9</sup>. Leibniz, Кант (“Amphilolie der Reflexionsbegriffe”<sup>10</sup>). (Одинаковость) Сходство.

Голосование голосов без тембра, сливаются в шум (Ср. «У наших»<sup>11</sup>) — Volonté générale<sup>12</sup> — Все нули.

Такое равенство по Д[остоевскому]<sup>13</sup> угрожает свободе (свободная конкуренция, состязание, перегонки, равные шансы, общая точка отправления, но не цель — центробежная сила).

IV. Метод Достоевского: Шигалевщина<sup>14</sup>. Система<sup>15</sup>. В ушах его «шумит». Он ослеплен социальной арифметикой, замкнут в квадрате таблицы умножения. Статистика, но он «задумал равенство».

Теория и Практика: Он и Петр Степ[анович]

Неколебимой истине  
Не верю я давно,  
Все гавани, все пристани  
Люблю, люблю равно (В. Я. Брюсов)<sup>16</sup>

<sup>9</sup> «...и равные, и неравные вещи различны». К Луцилию.

<sup>10</sup> «Концепции отражения».

<sup>11</sup> Глава «У наших»: Голосование: «заседание мы или нет», «ничтожество разговоров», но «всякий имеет право голоса наравне с другими» (Достоевский Ф. М. Бесы. Т.10. С.305–310).

<sup>12</sup> «Общая воля» — главное понятие идеала общественного устройства Ж.-Ж. Руссо.

<sup>13</sup> На полях: «Его рассуждение в связи с Жорж Занд (диалектика)».

<sup>14</sup> Присутствовавший на собрании «наших» Шигалев предложил свой план «устройства будущего общества»: разделить человечество на две неравные части. Одна десятая часть получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми, которые должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо». П. С. Верховенский, главный идеолог кружка, разъясняет: «У него каждый член общества смотрит за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны» (Там же. С. 311–312, 322).

<sup>15</sup> На полях: «Светлая личность». «Он обрек себя страданию, казням, пыткам, истязанию. И вешать пошел народам Братство, Равенство, Свободу» [продолжение стихотворения капитана Лебядкина: «Он незнатной был породы, Он возрос среди народа, Но гонимый местью царской, Злобной завистью боярской...»].

<sup>16</sup> Начало стихотворения В. Я. Брюсова «З. Н. Гиппиус». 1901.

Да, говорит Шигалев: все нули.

V. Ради цели — все средства одинаково хороши: Петр Ст[ефанович] — предвещает Великого Инквизитора — «Нигилитина» — Письмо к Победоносцу [еву]<sup>17</sup>

Три искушения: Хлеб — экономическое благополучие, «равный паек» как минимум. Благоустройство.

Чудо — чудеса техники.

Власть — во имя Равновесия.

“Egalité des Droits Sociaux”. Равенство материального благополучия — в этом ли «положительный смысл» Р[авенства]? — «равенство в рабстве», равное «право на бесчестие».

VI. Ответ в “Pro и Contra” — В «Столичном Городе»: «У наших» и у братьев. Парламентская Демократия. Иван и Алеша: Младший становится Старшим.

VII. Учение Старца: «Можно ли быть судьей себе подобных?»

«Не может быть на земле судьи преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и стоящий перед ним...»<sup>18</sup>

Нечто о господах и слугах. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство... Были бы братья, будет и братство, а раньше братство никогда не разделяется.

Итак: истинное положительное равенство: не сверху вниз и не снизу вверх, а самоотождествление с другим в свободном братском союзе. Равенство неравных и неповторимых в подвиге взаимного понимания и любви.

<sup>17</sup> «Мое литературное положение (я Вам никогда не говорил об этом) считаю я почти феноменальным: как человек, пишущий зауряд против европейских начал, компрометировавший себя навеки «Бесами», то есть ретроградством и обскурантизмом, — как этот человек, помимо всех европействующих их журналов, газет, критиков — все-таки признан молодежью нашей, вот эту самую расшатанной молодежью, нигилитиной и проч.» Ф. Достоевский — К. Победоносцеву от 5 сент. 1879 г.

<sup>18</sup> «... как и стоящий перед ним. И что он-то за преступление стоящего перед ним, может, прежде всех и виноват». Т. 14. С. 291.

---

### III. Тезисы к докладу «Достоевский и Пушкин»

6/VI. 1799.

10/II.1837

(46 Ladbroke grove, W11)

Tel.: Park 7696 Вторник, 15/V.62

London

I. Введение. Скромный вклад в чествование по случаю 125-летия (1837–1962)

1. Вспомним место П[ушкина] в творчестве Д[остоевского]
2. Чем является П[ушкин] в мировоззрении [Достоевского]?
3. Можем ли мы принять толкование Д[остоевского]?
4. Значение этого толкования для определения своеобразия духа русской культуры. Тема огромная, попытка наметить решение.

II. Место П[ушкина] в творчестве Д[остоевского]: П[ушкин]ым не только кончается творчество Д[остоевского], но и начинается.

а) «Бедные люди» — «Повести Белкина». Варвара Алекс[еевна] Новоселова

Макар Алекс [еевич] Девушкин

Покупка: «что стоит весь Пушкин»? 11 книг: священный предмет.

«Сам бы так написал» — все объясняет». Встретим и позже: Иван Петрович Белкин для «Подростка» (1845–1875).

б) В «Белых ночах» (1848) Настенька зачитывается Пушкиным.

в) Переходный период (1859) — «Дядюшкин сон» («Полтава», «Онегин» — Зина, Павел Алексеевич)

г) «Идиот» (1870) — «Бедный Рыцарь» (сравнить в «Бедных людях») [Отступление: Вариант в духе «Гаврилиады»]. Не 8, а 14 строф — «Не путем-де волочился он за матушкой Христа».

1873. «Бесы»: Пушкин и Евангелие! «Сколько их, куда их гонят!»

1875. «Подросток»: От Пушкина «Скупой рыцарь» и Белкин!

1873–1881. «Дневник», особенно XII.77 (Некрасов)

Отдельные стихотворения: «Пророк», «Поэту», «Песни Западных славян».

д) «Слово о Пушкине». 8/VI.1880 — «Тайна», но ср. Ленского в «Онегине» — отсюда сам Пушкин к своему «Памятнику»<sup>19</sup>.

Итак, П[ушкин] — «вечный спутник» и вдохновитель Д[остоевско]го.

III. Но что именно вдохновляло, откуда этот восторг, преклонение, обожание?

Идея всеединства России, тела, души и духа, воплощенная в Пушкине.

а) Тезис Д [остоевско] го: в любом месте России — вся Россия; нет центра и окраины; П[ушкин] — собиратель Земли Русской. Бессарабия, Таврида, Кавказ, Донские и Оренбургские степи, Армения, Север-Юг, Запад и Восток. Вспо-

<sup>19</sup> На полях: Отр[ывок] А: Из Онегина: «Его (поэта) страдальческая тень Быть может унесла с собою Святую тайну, и для нас Погиб животворящий глас, И за могильною чертою К ней не домчится гимн времен, Благословение времен». (до 1830). Отр[ывок] Б. Я памятник себе воздвиг... Слух обо мне пройдет по всей Руси великой... (1836).

ним: 1819. Здравствуй, Дон<sup>20</sup> или 1831: От Перми до Тавриды<sup>21</sup> (Ср отрывки А и Б.)

б) Объединяющая стихия языка (Арина Родионовна), а «язык народ» (отр[ывки] Д[остоевского])<sup>22</sup>

в) Власть литературы (против государственной власти — Николай Павлович, общий враг Д[остоевского] и П[ушкина] (ср. отр[ывок] Б.: «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа»)

Уже Ф[едор] Ив[анович] Тютчев (1837) назвал П[ушкина] «царем»<sup>23</sup>.

г) Это определяет для Д[остоевского] величие идеи (?) П[ушкина] — он неотделим от стихии народа, и творчество его — откровение народного духа: Всечеловечность! Отождествление с гением любого другого народа. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо, что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих к всемирности и к всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народ-

<sup>20</sup> На полях: Отр[ывок] В.: «Дон» (1929). «Здравствуй Дон! От сынов твоих далеких Я привез тебе поклон. Как прославленного брата Руки знают тихий Дон, От Аракса и Ефрата я привез тебе поклон».

<sup>21</sup> «Клеветникам России» (1831): «от Перми до Тавриды / От финских хладных скал / До пламенной Колхиды, / От потрясенного Кремля до стен недвижимого Китая... / Стальной щетиною сверкая / Не встанет Русская Земля».

<sup>22</sup> Дневник 1876, VII—VIII. «Язык — народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом глубокая мысль»...

<sup>23</sup> На полях: Ф. Ив. Тютчев (1937). На книгу Пушкина... Навек он Высшею рукою В царевийщы заклеимен... Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет.

ной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк.

д) Прекрасная форма откровения предвосхищает (не только восхищает) мировую гармонию. Д[остоевский] и сам считал себя поэтом<sup>24</sup>. П[ушкин] для Д[остоевского] не только первая, но и последняя любовь. Пушкину все темы были «по силам». «Чего же боле»? — спросим словами Татьяны. В чем же тайна?

IV. Противоречие в самом П[ушкине], окончательно не разрешившееся. Между Д[остоевским] и П[ушкиным] стоит Петр.

а) 1829. «Птенец гнезда Петрова».

1833. У Пушкина: «Полтава» 1929, «Медный всадник», «Пир Петра Великого» 1926, «Стансы»<sup>25</sup>. 200 лет отвычки от дела: схизматик!

б) «Град Петров»: ср. из «Медного всадника»<sup>26</sup> с Д[остоевским]: «Слабое сердце» (1848), но особенно Дневник 1873 г.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Достоевский в письме к Ап. Ник. Майкову (1873): «Будучи больше поэтом, чем художником... я вечно брал темы не по силам себе».

<sup>25</sup> Полтава. 1829. «Полтавский бой»: Выходит Петр. Его глаза сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, он весь, как Божия гроза. «Пир Петра Первого (1935). «Чудотворный исполин». «Стансы» (1926). «В надежде славы и добра Гляжу вперед я без боязни. Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни.... Самодержавною рукой Он смело сеял просвещение».

<sup>26</sup> «Град Петров» Медный всадник (1833): «Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид... Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия».

<sup>27</sup> «...архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования. Характерного в положительного смысле, своего собственного в нем разве только вот эти деревянные гнилые домишки, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах, рядом с громаднейшими домами и вдруг поражающие ваш взгляд, словно куча дров возле мраморного палатца. Что же касается до палатцов, то в них-то именно и отражается вся бесхарактерность города, как он. В архитектурном смысле он — отражение всех архитектур в мире, всех народов и мод». ПСС. Т. 21. С. 106—107.

в) Проблема теодицеи зла и оправдание добра, «Бунт».

1833. «Пиковая Дама» (1833) и «гордые люди», «скитальцы». «Религия» Пушкина — «равнодушная природа»

V. Выводы. Прав ли критик «Слова о Пушкине»? Памятник, воздвигнутый Д[остоевск]им — «реализм в высшем смысле»<sup>28</sup>. Дело Петра переросло Петра и дело Пушкина его самого. Без него не было бы не только Толстого (ср. Дн[евник] 1977 г.)<sup>29</sup>, но и самого Дост[оевского]. Бунтуя против Петра, он хотел поставить Пушкина на его пьедестал, но вместо этого он выдвинул задачу понять как «целокупный организм» и Пушкина, и его самого и в свете их дела самое Россию.

---

<sup>28</sup> Суровой критике подверг «Речь о Пушкине» К. Н. Леонтьев — за отступление от церковных христианских начал и сближение с западным гуманизмом. Высказывались о прозе Достоевского вообще. И. С. Аксаков писал Н. Н. Страхову в 1883: «...проповедуя нравственные высшие начала, он [Достоевский] в изображении безнравственных явлений *излишне реален* и словно *смакует их*... Я сказал, помнится, что высшее искусство требует и в обличении порока целомудренности со стороны художника, и ее у него нет». ПСС. Т. 30. С. 374—345.

<sup>29</sup> На полях: В «Детстве и Отрочестве» изображено «семейство средневысшего дворянского круга, поэтом и историком которого был, по завету Пушкина, вполне и всецело граф Лев Толстой». Ср.: «Онегин»: гл. VIII: «И даль свободного романа / Я сквозь магический кристалл / Еще неясно различал».



**Аарон Штейнберг**

Дневники  
(1909–1971)

**Ф. М. Достоевский**

*Составление, подготовка текста  
и комментарии Нелли Портновой*

**Издатель Модест Колеров**

Москва, Большой Татарский переулок, 3, кв. 16

Подписано в печать 29.11.2016. Формат 60 × 90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ №

**arvato**  
япк

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного  
электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»  
150049 Ярославль, ул. Свободы, 97